



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

1 (25)' 2018

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературоведения
Алёна ЯВОРСКАЯ

Общественный совет:
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),
Андрей Костинский (Харьков), Татьяна Липгута (Одесса),
Марина Матвеева (Симферополь), Александр Петрушкин (Кыштым),
Юрий Работин (Одесса), Олеся Рудягина (Кипшинёв),
Евгений Степанов (Москва), Анна Стреминская (Одесса).

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: aurora_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2018

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Александр Хинт. Дама с единорогом. Мини-роман	4
Одесса – Санкт-Петербург: Ирина Дежева. Приёмный сон. Стихотворения	11
Одесса: Владислава Ильинская. Всё, что убивало и спасало. Стихотворения	17
Одесса: Ирина Дубровская. На человечесем языке. Стихотворения	22
Одесса – Санкт-Петербург: Ксения Александрова. Разлуке понравился мой наряд. Стихотворения	27

ПРОЗА

Одесса: Людмила Шарга. Бажанов ключ. Повесть-сказ в трёх частях	32
--	----

ПОЭЗИЯ

Киев: Елена Лазарева. Ядерный снег на твоих ладонях. Стихотворения	58
Новосибирск: Лада Пузыревская. Трофейный песок. Стихотворения	65
Москва: Арина Грачёва. Будет мир в сухом остатке. Стихотворения	71
Москва: Анна Галанина Только тени не одиноки. Стихотворения	75
Москва: Сергей Мнацаканян. Царапки на мартовской бересте. Стихотворения	79

ПРОЗА

Одесса: Виктория Колтунова. В полночь, в каждую полночь... Рассказы	85
--	----

ПОЭЗИЯ

Одесса – Бат-Ям: Павел Лукаш. В этом личном зоосаде. Стихотворения	99
Одесса – Иерусалим: Пётр Межурицкий. Под сонмом здешних лун. Стихотворения	105
Одесса – Сан-Франциско: Олег Шварц. Весенний луч, похищенный рукой. Стихотворения	109
Одесса – Нью-Йорк: Юрий Бунчик. Маленький принц. Стихотворения	113

ПРОЗА

Одесса: Вадим Ланда. Созвучие. Рассказы	119
--	-----

ПОЭЗИЯ

Кишинёв: Олеся Рудягина. Чудеса голоса ритмы плеск. Стихотворения	123
Единцы: Сергей Пагын. А ты живи в согласии с зимой. Стихотворения	128

ПРОЗА

Москва: Рина Гес. Из книги «Впечатления жизни». Эссе	133
---	-----

ПЕРЕВОДЫ

Стихи польских поэтов о поэзии в переводах Владимира Штокмана (Адам Мицкевич, Александр Мишо, Болеслав Лесьмян, Леопольд Стафф, Антоний Слонимский, Чеслав Милош, Кишиштоф Камиль Бачинский, Тадеуш Ружевич, Роман Сливоник, Станислав Гроховяк)	138
--	-----

ПРОЗА

Симферополь: Марина Матвеева. Махарани. Психологическая новелла по мотивам древнеиндийского эпоса «Махабхарата»	152
--	-----

ПОЭЗИЯ

Алушта: Равиль Валсев. Убежав из сумки чёрта. Стихотворения	170
Щёлкино: Татьяна Савинова. Ни в одном из музеев. Стихотворения	174
Щёлкино: Ирина Коляка. Тишина сторонится меня. Стихотворения	178
Керчь: Валерия Кремлёва. Я, между прочим, тучка. Стихотворения	182
Керчь: Алекс Каспер. Со святой простотою провидца. Стихотворения	185
Керчь: Сергей Олейник. Из одной кружки. Стихотворения	188

«ФОНОГРАФ»

Харьков – Париж: Вадим Козовой. Выйти из пустыни на рассвете. Стихотворения	192
Одесса – Москва: Ирина Ратушинская. Мы словесно непереваемы. Стихотворения	198
Екатеринбург: Юлия Безуглова. Способность во сне собой быть. Стихотворения	204

«ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА»

Москва: Елена Черникова. iМораль. Эссе	209
---	-----

«ШКАФ»

Москва: Андрей Краевский. «Двадцать веков мечтъ». <i>Рецензия на книгу Валерия Байдина «Под бесконечным небом»</i>	213
Москва: Александр Карпенко. Империя любви. <i>Рецензия на книгу Евгения Степанова «Империи»</i>	215
Кипшинёв: Александра Юнко. «Как трещат в печи дрова...». <i>Рецензия на книгу Сергея Пагына «Просто жизнь»</i>	217
Киев: Ефим Гофман. Моментальный снимок. <i>О поэзии Евгения Чигрина</i>	219

АЛЕКСАНДР ХИНТ

ДАМА С ЕДИНОРОГОМ мини-роман

1. Сторож Франсуа

Снег на решётке увяз, как в январском отчёте бухгалтер.
Бледный китайский фонарик плывёт по залу,
символ обмена культур на балансе музея,
два арбалета, мечи, алебарды, доспехи

До Франсуа в коридорах музея Клонии
добрый месье Демолье был вечерний зритель,
он понимал в этом деле, месье Демолье,
и никогда не ответил бы «Разве я сторож?»
Знал пару сотен историй – чего только стоит
соль анекдота: он вытер зелёнку на пальце
об изумрудную воду кувшинок Моне.

«Думаешь, кто-то заметил?» Но это ничто
рядом с его Селестиной: однажды в Оранже
на полуночной гулянке, раздевшись по пояс,
пиво плеснула – и прямо на полотно!
Впрочем, опять же согласно месье Демолье,
фрукты Сезанна от пива улучшили цвет,
стали нагляднее – или он не из Нормандии,
не был в осеннем саду и не видел яблок?

Мысли о ночи длинней, чем любая ночь,
скачут, что та обезьянка во тьме гобелена.
Вход неизменный, а выход – одиннадцать евро

2. Гобелен: Осязание

Тихо, темно, рыба лежит на дне.
Спит Альтаир, небо не прилетело.
Флейта сама не поёт, степь не полёт саней.
Главная тень теперь называется телом.

Ход невпопад или слепой прыжок,
трудно нырять в панцире суеверия.
Мчался, скользил, падал, копьё нашёл.
Памяти нет, только цветы и звери.



Время горит, но – оставляя дым.
 Есть только мир, тающий между мирами.
 Контур лица можно восстановить,
 если искать треснувшими губами,

если её шаг позади на шаг,
 на руднике греческого условия.
 Это душа учится вновь дышать
 или рука держится за соломинку

3. Гобелен: Вкус

...а потом однолетний салат Райские Кушчи,
 запечённый русалочий стон, губы наяд.
 В облака насыпайте с утра манну погуще
 и бросайте тому, кто поёт аллилуйя,
 кто быстрее до конца соберёт кубик Рубик.

По бокалам гуляет вино, белый наркоз.
 Напиши ролевой натюрморт, дедушка Рубенс,
 куропатку, омара, форель, жертвенных коз –
 потому что гурману милы древние льготы,
 вопли устрицы, в пене слюны и трюфелей.
 От рассвета до прайда живёт это филе,
 розовато-железная пыль львиной охоты.

Изнутри вырезая свою банку консервов,
 скажет некто, торжественно, как из-под воды,
 ешьте плоть мою, выпейте кровь Кьянти Ризерва,
 до сухого мерцания глаз, до слепоты

4. Le Intermission

Говорят, истории передаются от очевидцев потомкам
 или, просто, расходятся веером по ноосфере –
 соседям, их жёнам и незаконнорожденным братьям,
 четвёртой любовнице пастора, торговцу повидлом,
 невезучему гостю, что, стоя в одной штанине,
 ищет другую, и потому обречён услышать
 99-ю версию легендарного мифа,
 909-ю вариацию мифологической легенды.
 Так влажная уборка конюшни превращается в подвиг.

Говорят, шпалеры появились совершенно случайно,
 в глухой провинции – найдены амазонкой,
 чьи фантазии на бумаге бредили сообщество,
 чьи мужские наряды раздражали обычай салона,
 чей дуэт с де Мюссе подобен карбиду в росе,
 чья соната для польского Орфея у всех на устах.
 Что сравнится с подобным блюдом? Разве что ассорти
 «Экспедиция Сартра обнаружила музыку Будды».

Говорят, в истории значился ещё академик,
 что вёл переговоры о шести гобеленах,

он имел прямое отношение к музею Клоуни.
 Двадцати двух лет, он придумал театр-мистерию
 и удачно мистифицировал писательский цех.
 К двадцати четырёх разыграл и Пушкина, и Мицкевича.
 Но Пушкина уважал, и, не гнушаясь идеями,
 переплавил Земфиру в роковое испанское имя.

Ещё говорят, гобеленов было не шесть, а восемь,
 потому что так говорила Аврора Дюпен,
 и один из утерянных соткан весьма куртуазно –
 там красавица с парой ласковых единорогов.
 Такое, говорят, случается при мигрени,
 стигматах, змеином укусе, неправильном селфи
 или вследствие эротического самогипноза.
 Что, в случае мадам Дюпен, вполне вероятно.

А один из этих ковров, говорят, перебрался,
 как приданое, но, говорят, несчастливому браку,
 почти на границу Фландрии, к северу от востока,
 юго-восточнее Ипра, где пасутся коровы
 и журчит благодать пасторальная, как говорится

5. Гобелен: Зрение

Дичь выпадает из тучи цвета металлик.
 Дождь расплывается на цветные детали.
 До перелома лучей в зоне хрусталика
 гусь был обычным орлом, а не хрустальным,
 чтобы сканировать день и расстояние,
 злые приметы любви до миллиметра,
 те, что мелькали вдали зайцем желания,
 падать, невидимый им, видимый спектру.

Это обычный напев неба влюблённости –
 в чёрную пору, когда некуда падать,
 платье надень, как тогда, ультразелёное,
 с маленьким чёрным орлом между лопаток.

Впрочем, не всё решено с этими платьями
 и инфракрасной икрой счастья на блюде.
 Если игра – ремесло метagalктики,
 мир это твой окуляр, не правда ли, Гюйгенс?

Где у мольберта висит Млечная радуга,
 глядя в пещеры людей, не ведавших пламени,
 холодно, будто впервые слушали радио,
 их отраженья молчат за зеркалами

6. Гобелен: Обоняние

В бесконечный венок, что завершает зиму,
 белладонну и хмель бережно доплести,
 занести аромат роз из чужой корзины.
 Но цветенье берёт горечью от гвоздик.



Колокольчики пьют дозу большого лета,
 лепестки анемон, мята, шалфей, шалот,
 белый липовый цвет – пчёлы идут по следу
 или путают след, перемещая мёд.

От карьеры листа, вяжущие или клейко
 на наряде лесных фей оставляя шлейф –
 сумасшествие, ад сторожевой ищейки.
 Аллергический рай прочего веселей.

Облепиха и чай, или идея чая,
 разнотравье вещей стелется над головой
 и, не зная вопрос, искренне отвечает:
 облепиха и чай, жимолость, зверобой

7. Le Conversation d'Automne

- Ещё по абсенту, Анри? Ты же знаешь, при смене погоды долой божоле и, тем паче, мадейру.
- Давай. Как звали её, говоришь?
- Клементина Бланшар.
- Прекрасно. Теперь объясни, от начала и внятно.
- Я лечащий врач, а не исповедник.
- Тем более, начинай.
- В тот день, как маэстро Гюго хоронили, под вечер меня позвали на рю Риволи, к вдове бакалейщика.
- Знаешь, где лавка Бланшара?
- Положим. При чём тут моя статья?
- Погоди. Значит, была эта дама вполне себе крепкой, и даже простудой ни разу, а здесь... Повальный отёк и признаки чуть ли не оспы. Но это не оспа.
- Ещё кто-то был при этом?
- Соседка её, сама Клементина жила одиноко. И, значит, осмотр не дал возможности сделать диагноз.
- Но то, что она рассказала...
- При чём здесь моя статья??
- Погоди. На вопрос, случалось ли что необычное днями, она прохрипела: «Ходила в музей у Сорбонны».
- Куда?
- Туда, где твои гобелены.
- Понятно! Диагноз: «Вдова умерла от того, что случайно прочла статью репортёра Боне».
- Глотни-ка абсента, Анри.
- Глотаю абсент.
- Хорошо. Клементина сказала: «Я видела эти ковры. Полвека назад».
- Во сне?
- Не совсем. В родной деревушке, ещё несмышлёной девчонкой.
- И там были эти шпалеры??
- Не так. Там были исполнены эти шпалеры. И, в частности, матерью Клементины.
- О, боги... Мамаше четыреста лет? Поверь, это всё алкоголь.
- Я верю, Анри, ты хотел бы дослушать.
- Глотаю абсент.
- Детей было четверо у Изабель – так звали мать – а выжила лишь Клементина. Отец утонул, едва малышке исполнился год, а мама трудилась на маленькой мануфактуре. Хозяином там оказался незлой человек, потому Изабель брала ребёнка с собой.
- Я плачу от умиления.
- Однажды девчонка попала за дверь, где работала мать, а там... Океан ковров, однородных по виду.
- А это не бред умирающей?
- Рыжая тётка Жанетта носила её на руках, пока Изабель поправляла причёску у льва и другие детали.
- Клементина клянётся, что лично гладила сокола.



- Так.
- И несколько раз приезжал месье благородного вида, и все суетились по этому поводу. Месье подарил Клементине забавную куклу.
- Так. Какой, в итоге, поставлен диагноз?
- В разделе «Причина смерти» указано мной «Пневмония». Но, должен сознаться, причину я так и не понял.
- А, может, какой-нибудь яд?
- Я видел подробно, как действуют яды и прочий мышьяк. Скорее уж я допущу колдовство или порчу.
- А как называлась деревня?
- Вот это, убей, не знаю. Но можно подъехать на кладбище и уточнить у самой Клементины.
- Весёлая шутка.
- Ещё по абсенту, Анри? Погода меняется, значит, долой божоле и, тем паче, мадейру...

8. Гобелен: Слух

Обвал начинается с полуслова,
сказать, что столетние кедровые
под сенью, хранящей следы зверолова,
услышать обратные кедровые Земли.

Она отзывается горной породой,
стальными лианами обезьян,
но если чуть слышная, как на иконах,
задетые пальцами клавикорда,
на дно осыпаются слабые ноты,
цепляясь за плечи воздушных ям.

Волна переносит обрывки мелодии,
бинты и носилки расстрелянных тактов,
минуя и львиное, и антилопье,
рожок обертона плывёт на Итаку.

И мнится, обычная эта песенка,
припевочка вечера, полька, пустышка
швыряет листву с позолоченной лестницы,
по голому нерву сбегая вприпрыжку.

И снова внизу громыхает ключами,
проверить ночами, что было нехолодно,
покуда ещё невозможно молчание –
особенно, если она возвращает
огнями, дыханием, каждому шороху

9. Утерянный гобелен: Дама на троне

Четверть века он украшал фехтовальную залу,
а, верней, крыло галереи в подвале строения.
Когда-то здесь были винные погреба,
томился многолетний мускат, но в природе есть факторы,
что фатально влияют на выдержку и виноградники –
во-первых, засуха, во-вторых, тотальная засуха,
и третье, что много чаще, алкоголизм хозяина.
Именно тут и случилось наследнику рода
ухлопать по пьяни гвардейского офицера.



Так святилище Бахуса стало «фехтовальной залой».
Позже сюда и сослали висеть гобелен.

На столетие Ватерлоо всё имение занял
артиллерийский полк, но – шпацирен зи дойче.
Опять французы и немцы, и вновь англичане.
У Генриха фон Блюменау застарелое кредо,
начищать до прозрачности узкие сапоги,
до зеркальной ясности, до постижения смысла.
И такой же ясности требовать от подчинённых.
У майора фон Блюменау во время осмотра
оружейные части должны сверкать и искриться,
стволы, затворы и прочая амуниция.
А в полку всегда дефицит протирочной ткани.

И, казалось, дама на троне глядит удивлённо –
день ото дня сужается фокус пространства,
избирательно, по лоскуту умирает природа,
не оставляя памяти и потомства.
Вот Фридрих и Ганс откромсали двух радостных зайцев.
Вот капрал Визенхоф утащил половину лисицы...
Но когда половина конечности фон Блюменау,
зеркально сияя, отлетела метров на тридцать,
когда перекрёстный огонь французской бригады
с землёю смешал половины Ганса и Дитриха,
нужда в протирочной ткани напрочь исчезла.

Спустя три года, на койке запятанной больницы,
капрал Визенхоф увидал финальную сцену –
ему улыбалась красотка в львиной накидке,
разделяя последнее зрение на лоскуты.

Фрагмент гобелена спасла экономка Мари.
А внук её, по вечерам проникая в чуланы,
раскладывая на сундуке огрызок материи,
и смотрел зачарованно внук её, Франсуа,
на блистающий трон, что укрыт восхитительной шкурой,
на прекрасную даму, что череп дракона поправ,
сжимает в ладони голову единорога

10. Гобелен: A mon seul desir

Когда-нибудь сны превращаются в недосып,
недовес на Луне, самоварное золото тигров.
Море по графику останавливает песочные часы.
Костями на рельсы ложатся настольные игры,
на лобачевские рельсы, чья память скупа
и не верит Большому Схождению, в точке разбега
отчётливо, как метроном, выпуская пар,
для колеса подбирает новую белку.

Потому февральские сани и разгоняет весна,
въехать тремя рысаками в забытое лето,
до растворения, шестнадцатым чувством узнать
шрамики на фотонах нездешнего света.



Чтобы вновь, идущий с другой стороны моста
в бинтах обратной дороги или сгорбленных латах,
набрёдал на колодец, где ночевала звезда,
терпкая, будто смола на словых лапах.

Возвращается эхо, чтобы с ходу забыть бон,
назло летящим по следу охотничьим горнам
рассказать ущелью, как скользят воробьи
по зимней луже, ломая негромкую корку,
морозящему ветру, берлогам и божьим углам
пару сплетен от нерождённой травы повторяя,
мол, давно уже время накрыть поляну цветам,
довести до кипения котелок молочая.

Но ещё мгновение – и холсты потекут,
и слова палиндрома заменят листву на коренья.
Если «нет» это тень, кружащая по стеклу,
“да” – это временный ад, со скидкой на время.

А времени нет, у речного костра, в тишине
расставаясь со зверем, по капле вползая в завязь,
Блерио без пропеллера – времени больше нет,
ни в обломках формулы, ни уходя рождаясь

11. Сторож Франсуа

Утренний ветер ворует энергию снега,
резко кристаллы ломает, по диагонали.

И Франсуа, завершая последний обход,
шаркая в свой закуток – натереть эликсиром колено,
перед уходом допить эвкалиптовый чай,
думает, надо весной навестить сослуживца
и убедиться, что нет на плите новых трещин.

Он уходил в одиночестве, славный месье Демолье,
в землю зарыв много раньше свою Селестину.
Милый старик заслужил эпитафию вроде:
«Здесь упокоился с миром месье Демолье,
чуткий соавтор Моне, неизменный соратник Сезанна».
Жаль, не поймут... Трафаретны суждения мира.

На угловом гобелене, синхронно с его шагами,
словно крыло или флюгер того, что вернётся,
профиль вослед обращает единорог

ИРИНА ДЕЖЕВА

ПРИЁМНЫЙ СОН

Где *ты* о ты же ты с которым
Ты тобой
И только ты
Твой кнут
Твои заборы
Вод твои киты
И ты в глаза и только
Так глубоко и тонко
Отстраняют
Расстояние в кусты
Придёт
Ты отпусти
Мы незнакомы
Едва ли корчимся в толпе
Ища те наши взгляды
Громкие от чувств и только
Рядом
Так построен сладко-переменный мир
Приёмный сон
Мечта в мечту
Где ты о ты да ты с которым
Прыжок бы в триста неотсиженных
Мольбой ржаною иоаннова дождя
Плевков бы в тридцать три отмазанных
Смолой с мели
О сны-молука – в них и только
Ты
Услышься, примися, окстися, придися
Я жду, как недобитая помётom
Иль чем закрасить серебро?
Иль так
Без рук крестясь
От шага недалёко
Кнут – твой тот же, сойка, дом?
Так встретимся, сэй
Сих сот
По случаю



Конь – ки
 Ты на диване
 Подай - те
 Самсамасумасопешшие
 Т.т.т.е. вне полёта...

I love you
 Скажите по-русски
 Почётче, как правильно, в такт
 Я Вам позволяю
 Одною печальной порою
 Использовать тюркский мат
 Так мать-перемать
 Или матери слово
 И нежных два крепких крыла
 Я верую Вам
 Я летаю
 И мягко спасаюсь в углах
 Я так театрально промокла
 Любви распознав сырый час
 Что скоро в соплях и обломках
 И так на раз два крестясь
 Je t'aime, хбрель мэ дю пасса
 Я очень тебя люблю
 Когда-нибудь в сольном вальсе
 Ваш шёпот и крик прижму...

Опять орда
 Любовников на улицах Парижа
 Бесцветным шлейфом
 Будто проходящих
 По ковру
 То ль жажда, жижа, слепок озаренья
 Прут и слепят
 Как и я
 Портфолио и портупея
 Под мышкой брея
 Сон за времечко дышу
 Необозначен столп
 Несругано молчанье
 Какая-то цепная радость
 Кромка-всхлип в дыру
 На орден или мзду
 Шарахается в темень званье
 Сзади или спереди даётся?
 Опять подкова, пояс, две насечки
 Повод нев и од
 Иль невод дум и Ев



Иль даль и дуа и зуда
 И под и над землёй моей
 Мы стельками от стольких разойдёмся...
 Беги, орда
 Днесь мажинэ Георгий
 Матушка когда приснится
 О...О...О...О...О...О...О...О...О...
 Исправляющ
 Ргуть вернуть
 Позорно
 Без объявленья приговора
 Зависнет...

Не сходятся углы
 И сходятся с углами
 Подохнуть и нельзя, и можно
 Дети мы
 Бог порою разговаривает с нами
 Чистыми людьми – листами
 Которыми прикрыться, отсмеяться
 Так хотелось...
 Не из той ли шайки
 Сошёл воротничок-с
 Как дедушка и паприка
 Штрафной привычкой
 Лотосом прибить к земле
 Мозаикой изгоев
 Веривших по пайке
 Хор не в те ворота
 Наскулили дважды
 Углы сойдя на папёрть
 Готовою таблицей ВСЁ РАВНО!
 Сошлось!
 Навеки Ваша
 Вода пришла – о да!
 Да, о вода пришла
 О да, вода
 Да, о вода!

Тряпьё тебе
 И песен несодужье
 Века в запястье
 Ружей кружева
 Пост атомных предплечий
 Кляча-мир
 И ясел весть
 Не нарушай покой
 Красть воронок и плача
 Дружно
 Ключкою тереть...



ПАЛАТА №7

Кап кап капает капля
 Пепельница тугих вод
 Сплывает боль в катетер
 Собери мой Суд и в ветер
 Сенное сообщение брось
 Сестре авангарда
 Прабабушке в ложе
 Кому он Аполлон?
 Кому ей целиком?
 Лето, я таю как лужа

Вторые века брежу
 Тем похожим с тобой
 Как кап капает 24-й каприз
 Бабье крещендо с бабочкой
 За стеклом Россини, романтизм
 Жизнь на островах
 В компрессионных чулках
 Облысение реальности
 И плафон из сквера Александра
 В нём сто пудов
 На взлёт
 И капнет память
 Окрылённой ругтью
 В палатах осенью похожей
 С Тобою сутью
 Ни на что...

Маме

Память моя
 Рисовая бумага
 Беги по голоду
 Крути как надо
 Тэмпо ли море
 Скажет заложник
 Суть обоймёт запыстье
 Мой хореограф
 Несчастье
 Знает больше о радости
 В горсти
 Оставленной у пра
 Матери
 И память когда моя – рисовая бумага
 То более ничего не надо
 Взгляд Твой
 Из надрезанной груди
 Оттуда глупейшее
 Прости
 Из словес:
 ЖИВИ!



2017

1

В одном не одном
Царстве не царстве
Жили не жили
Царь не царь и царица не царица
И ели они Бог весть что, и пили
И дышать уж порой было нечем
А тут враги не враги
Гости не в гости
Люди не люди
Да и дети непонятные – мальчик? девочка?
И орут: Где рояль? Откуда гитара?
И порешили они не они
Всё не всё
Поменять не поменять...

2

Из города
С острова
С Господа твари одной
Мало и много
С острова аще
Радостно брящется головой
МВД – живы
КГБ – споспешествуют
Война...
Горести-то поделить успеем?
Умеем лишь целовать
Брюквы подсохший плёс
Ух-ты, невидимые собаки
Мы днесь
Исчезаем
Спаси Бо!

И не поэтому
Не потому
В не мой салют
Поэт не омуль
Дзенг иль дрызг
По радостею
Вспрыск
Ходьм, земля
На ассамблею
И первородно потузьм
Помлеем
Острову как палачу
На слов сославши



Портунею брызг
И отблеск
В тент поблеем
Поплещемся под взгляд
На вымя
Расположившесся на лбу
И свет нам грешным
И не поэтому
Не потому...

ВЛАДИСЛАВА ИЛЬИНСКАЯ

ВСЁ, ЧТО УБИВАЛО И СПАСАЛО

СЕЗОННОЕ ОБОСТРЕНИЕ

идiotы держат идиотов за идиотов,
планомерно, вальяжно прогуливаясь по городу...
одноклассик становится самым обычным ботом,
отпустив беззаботно болтаться густую бороду...
ты читаешь ленту – приходит ленность, уходит лето
и летят над твоей головой шрифтовыми стаями
восемнадцать постов на метр и все об этом:
«марафонец достигнет первым последней стадии».
выключай поскорее комп, прогуляйся к пляжу –
наблюдать, как одна за другой, наливаясь памятью,
серебристые волны плетутся в седую пряжу,
соревнуясь за место на жаркой песочной паперти.
ассорти из приезжих всю поглощает свет,
заедая самсой, запивая «мицным черниговским»,
на складной табуретке у пирса сидит поэт,
предлагая приезжим свою юморную книжицу...
упиваясь последним летним солёным днём,
заруби на носу, на подкорке, на веках вырежи –
этот город заиклен настолько, что лето в нём
повторится четырежды.

он уверен, что каждая рыбка стремится к риску,
как маньяк подбирает часами прозрачность лески.
мы когда-то, по пьяни, ловили одну хористку
на тупые и беспонтовые юморески...

это был и забавный и даже полезный опыт,
потому что насколько бы не был твой червь надёжен –
для того чтобы видеть её неземную попу,
приходилось плевать на её восковую рожу.

и, хотя мы давным-давно не в одной с ним лодке,
у меня до сих пор дрожат стволые клетки –
когда он, ухмыляясь, перебирает чётки
и подходит к какой-то очередной кокетке...



эти булки
 ни разу
 самостоятельно
 не сжимались
 нет, бывало, конечно,
 но самую только малость
 (например, неожиданно показалось,
 что вот-вот случится невероятный пук)
 эти белые ручки
 никола
 нищо
 не крали,
 потому что другие лайфхаки у суперкрали
 всё, что может быть нужно в её колесе реалий,
 совершается
 (в целом)
 без помощи этих рук
 эти ночи и дни наполнены позитивом,
 и сплошная вечно манит своим пунктиром...
 дорогие машины,
 бриллиантовые сортиры,
 перспективы,
 активы,
 пассивы –
 холодный душ.
 по коралловой коже,
 нежно, за каплей капля
 подбирается вечность
 с мыльным своим спектаклем
 – улыбайся, красавица,
 времени нет, не так ли?
 я тебя
 ещё
 немножечко
 подожду

она бывает слаще,
 чем опиум и кэш,
 и розовые чащи
 в мозгу латают брешь.

она бывает жарче,
 чем сам её язык,
 старательный пиарщик,
 забывший про азы.

она бывает строже,
 чем хвост её потерь
 и копь не уничтожит –
 заставит попотеть.



она бывает жёстче,
чем пуля у виска,
и мальчики – на площадь,
держаться за АК.

она бывает древней,
как синий кашалот,
мочили всей деревней –
вовски не помрёт.

она бывает разной,
как вантуз и конверт,
как бублики в маразме
и мумзики в мове...

она едва сутула.
она всегда одна...
принцесса Манипула –
любимая жена.

послевкусие рубля
в оцинкованной сберкассе...
ленно тянет ноту ля
Леся в музыкальном классе.
и пока она в строю
тянет партиту свою,
окружная вырастает
из тропинки в колею.
в леденеющем ДК,
вопреки всему на свете,
дети пляшут гопака –
ведь на то они и дети...
только краток детства миг –
растворился, как возник,
и под ними вырастает
настоящий броневик!
но не сцена ведь – земля –
не выдерживает веса
и огрубевает ля
от глубоких интересов;
загоняет в ногу гвоздь
малахольный мальчик Вова,
гвоздь пройдёт его насквозь,
чтобы в пол вернуться снова.
и опять, на полпути
(безотходная прости),
вырастаем из ботинок,
а куда ещё расти?



СИРЕНЬ

плывёт по небу календарный день,
 плывёт на модном свитере олень,
 плывёт в канализации сирень,
 отдаться поскорей в объятия газа...
 плывёт листок (на нём плывёт печать),
 где ясно было сказано – «молчать.
 твою очеловеченную часть
 на хлеб себе никто ещё не мазал».
 а ты сидишь на крыше февраля
 и слушаешь извечное ляля...
 и не покинуть лоно корабля,
 не залепить пробоины соплями...
 такая уж тебе досталась днесь –
 молчать, чтоб просто оставаться здесь...
 молчания токсическая взвесь
 повесилась над минными полями...
 молчания высокий пируэт
 отдай им на обет и на обед,
 оставь себе – лишь музыку и свет,
 струящийся из-за небесной двери.
 молчание – питательная блажь.
 молчание – сильней, чем отчепаш:
 хоть ешь его, хоть пей его, хоть мажь,
 хоть удавись им – каждому по вере...

ICHTHUS

сигареты вымывают кальций,
 воздух переварен и ворсист.
 время, искривляясь, режет пальцы
 о пространства акварельный лист.
 не мертвы лежат они, не живы,
 извиваясь в бежевом песке...
 как, скажи, попробовать наживу,
 чтоб не очутиться на крючке?
 будет тина упиваться пеной,
 будут чайки дронами пасти,
 вымывают волны постепенно
 фосфор из божественной кости...
 но по синусоиде нисана –
 даже через пару тысяч лет –
 всё, что убивало и спасало,
 непременно, обратится в свет.

такие чудеса
 смущаются в тени,
 такая благодать
 томится у порога...



открой свои глаза
и руку протяни –
и тут же очутись
за пазухой у бога.
там пахнет очагом
шершавая зима,
пекочется и жжёт,
наваристая юшка...
там царствует лишь то,
что я тебе впотьмах
все зимы до того
нашептывал на ушко.
но восемь тридцать три!
но восемь тридцать три!
но скоро тридцать три!
орёт тебе будильник.
открой свои глаза
и просто посмотри,
как полон небосклон,
как строен холодильник;
ажурно декольте,
пристёгнуты ремни –
души моя душа,
шипованным опшем –
ведь, что не говори
и, как не заверни –
чем беспощадней ночь
тем утро хорошее.

так невагомо, як немов би
ти здав усі свої бажання
і щось умовно невимовне
тепер мерцем тебе вважає
ти зачиняєшся у скрині,
ти зачиняєшся у скроні
ніщо тепер на тебе вплине
ніщо тепер тебе боронить
ніщо тебе тримає міцно
ніщо тебе кидає долу
і ти наповнюєшся змістом,
так неврятовно,
так чудово

ИРИНА ДУБРОВСКАЯ

НА ЧЕЛОВЕЧЬЕМ ЯЗЫКЕ

ВРЕМЯ ВЗРОСЛЫХ

Птичьи звонкие кочевья
Молчаливы и пусты.
Пожелтевшие деревья,
Облетевшие кусты.

Поздней осени картина,
Невесёлая краса!
Только лампа Аладдина
Обещает чудеса.

На страницах детской сказки,
Что читает мой сосед,
Блещут солнечные краски,
Те, которых в жизни нет.

Может, памятью последней
Всех моих прошедших дней
Будет мальчик пятилетний
С пёстрой книжкой своей.

В этих утрах предморозных
Задержишься, не уходи,
Осень, осень, время взрослых
С детской сказкою в груди.

ГЛАВНЫЕ ВЕЩИ

Поезд жизни проносится. В нём
Останутся лишь главные вещи.
День вчерашний уж сделался сном,
Но ещё, угасая, трепещет.

Будто вовсе и не было их,
Тех, кто тряса с тобою в вагоне.
Выжат сок, и безжизненный жмых
Блёклой горсткой лежит на ладони.



Стынет речь, замерев на губах,
Ей помехою гнёт и усталость.
Неужели всё кануло в прах
И нетленной лишь память осталась?

Но найдёшь и в глухой черноте
Тех зияющих в сердце пробоях
Бескорыстную верность мечте,
Как звезде, что горит над тобою.

ПОРТРЕТ

Меня один художник рисовал –
Когда-то, я была ещё красива.
Он тайное страданье утадал
И трещину душевного надрыва.

И вечную иронию мою,
Которой не единожды спасалась.
Мы оба с ним стояли на краю
Земли, что так стремительно вращалась,

Так бешено крутилась на оси,
Что не было ни дня на передышку.
И под молитву «Господи, спаси!»
Стихи уже укладывались в книжку.

Ещё прозренья срок не наступил
И не прошла пора очарований...
Меня на стул художник усадил,
Как собственность свою, без колебаний.

«Сиди ровней, спокойнее дыши», –
Сказал – и к цели двинулся желанной:
Запечатлеть взросление души
И путь её по жизни этой странной.

ОДЕССКАЯ НОТА

Хоть порою и жить неохота,
А смеюсь откровенно и всласть.
Это значит, одесская нота
Не заглохла во мне, не сдалась!

Многозвучна она, многогранна:
Как зальётся, нутро бередя,
Так посыплются строчки нежданно,
Словно струи слепого дождя.

Повелось так ещё с малолетства,
Под опекой лучистой звезды:
Смех сквозь слёзы – от узости средство
И от мутной стоячей воды.



И какая б ни висла забота
Над поникшей моей головой,
Смех сквозь слёзы, одесская нота, –
Вот рецепт, как остаться живой.

НЕ КО ВРЕМЕНИ

Время пришло утешаться малым,
Остыв от былой чрезмерности
И чувствуя себя отработанным материалом,
Негодным для современности.

Но если волна набежит, нагрянет,
Взволнует кровь не ко времени,
То сразу как-то теплее станет
Где-то в районе темени.

Как в растревоженном муравейнике,
Мысли роятся-маются.
И, как бывалые корабейники
По морю в путь пускаются,

Так выхожу я на строчный промысел,
Слово со словом вяжется.
Всё остальное – пустяк и домысел,
Так в тот момент мне кажется.

СТАРЫЙ МИР

Ах, если бы жизнь, как дуб в романе Толстого,
состарясь к зиме, весной опять расцвела!
Но жизнь отцветает,
ничто в ней уже не ново.
Мир – старый циник
с душой, сожжённой дотла.

А старые циники, ушлые постмодернисты,
они лишь распутничают,
путают карты, брюзжат.
И пачкают всё, что свято ещё и чисто.
А всё перепачкав и всех совратив,
спускаются в ад.

БЛИЖЕ К НОЯБРЮ

Шепчет краткое мгновенье:
– Скоро догорю...
Всё сильнее запах тленья
Ближе к ноябрю.



За окном темнеет рано,
Дождь стучит в стекло.
Жизнь всё длится? Это странно.
Просто повезло,

Что в такую непогоду
Мы ещё с тобой
Помирать не взяли моду.
Купол голубой

Затуманился не в меру
И навис, как меч.
Сохранить бы только веру
Да любовь сберечь,

Чтоб, когда минует смута,
Буря сбавит прыть,
Нам хотя б ещё минуту
На земле пожить.

ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ

– Знаешь, – вздохнул он, – живы мы или нет,
Пишем или не пишем, – кому есть дело?
Время придёт на тот перебраться свет –
Тихо зароют в землю два мёртвых тела, –

Вот и конец, такой же, как все концы.
И не надейся, мир равнодушен к слову!
– Так же, как к человеку...
Но пусть творцы
Всё же творят, всё же хотят иного,

Лучшего мира, – я говорю ему, –
Чтоб не хирел от праздности певчий орган!
Я не могу, не хочу уходить во тьму,
Зная, что дар отпущенный мной не отдан.

СВИДЕТЕЛИ

Не то чтобы край придёт
Под видом огня и шквала,
А просто тихо умрёт
Мыслящее начало.

Рассыплются в прах столпы
И птицы падут на взлёте.
Останется рёв толпы
И зов одичалой плоти.

И, в душных парах тшцеты,
В базарах, кошмарах, бреднях,
Останемся я и ты,
Свидетели дней последних.



НА ЧЕЛОВЕЧЬЕМ ЯЗЫКЕ

Кто я – поэт? свидетель? имярек,
 Владующий ритмической речью?
 В поэзии я только человек,
 Я просто говорю – по-человечьи.

Когда весь мир повис на волоске
 И пали с лиц привычные личины,
 Хочу на человеческом языке
 Сказать своё и выяснить причины.

Высоких не изыскивая слов,
 Не прячась за лирическим героем,
 Хочу сама добраться до основ
 И свой ковчег построить вслед за Ноем.

Его живым дыханьем населить –
 И пусть плывёт, Создателем хранимый,
 Чтоб Слово как начало сохранить
 В духовной купине неопалимой.

ТВОРЧЕСТВО

Взволнованной крови брожение,
 Раздумья о личной судьбе.
 И творчество как выражение
 Того, что ты слышишь в себе.
 Дерзанье твоё и взросленье,
 Души круглосуточный труд.
 И творчество как осмысленье
 Того, что ты видишь вокруг.
 Гармониям высшим служенье,
 Земной одоление тщеты.
 И творчество как постижение
 Того, что не ведаешь ты.
 Всё то, что предчувствуешь только,
 Чем грезишь, боишься чего,
 Исполнено смысла и толка
 Как творчества суть твоего.
 Но чтобы высокие речи
 Струили живое тепло,
 Язык сохрани человеческий,
 Как плотник хранит ремесло.
 Как образ любимой лелеет
 Влюблённое сердце певца...
 Ну, разве само охладает,
 Истратив себя до конца.
 Ну, разве само истощится,
 Утратит черты бытия.
 Но это, коль скоро случится,
 Забота уже не твоя.

КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА

РАЗЛУКЕ ПОНРАВИЛСЯ МОЙ НАРЯД

Хочешь уплыть – плыви, хочешь сбежать – беги.
Нет здесь твоей ноги, чтобы надеть хрусталь,
И не видать ни зги на берегу реки,
Берег мой береги – он оберегом стал.

Хочешь сбежать – беги, полночь спит на бегу,
Я сохранить смогу, но удержать – увы.
Помнят на берегу звёзды, что вечно лгут,
От поцелуя губ горечь ночной травы.

Хочешь уплыть – плыви, время – лихой пловец,
Гребень, как бубенец, спрятался в волосах.
Сказка – всему венец, сердце – пустой ларец,
Выпущу, наконец, туфельку в небеса.

Там, за горной грядой, по-прежнему молодой,
За сухим родником, за мёртвой его водой,
За широкой рекой, в которой таятся ложь,
Там, где даже чужие мысли – почти ножи,
Мудрый старец живёт, что скажет, как ты умрёшь.
Или может, зачем ты жив.

Я ступаю легко, я кровь, но и молоко,
По воде, что была отравлена родником,
По траве, бывшей лесом, той, что не помнит гор,
По распухшей от сожалений земле скользя.
У меня два вопроса, каждый – важнее всего,
Только оба спросить нельзя.

Я почти не боюсь, пускай всё забуду, пусть
Затеряюсь в лесу, что выучен наизусть,
Пусть в ненужное место или неверный час
Попаду, как чужие сны попадают в клеть.
Но пока я иду, все травы вокруг молчат,
И все птицы боятся петь.



Что ж, уже за рекой, куда мне подать рукой,
Разливается дым, в котором дрожит покой.
Там старик у костра, чуть мирта и чабреца
Нужно бросить в огонь, пока он начертит круг.
Я к нему подхожу, найдя в себе храбреца,
Но не выпустив трав из рук...

И теперь всё – вода, в ней чьи-то текут года,
За спиною у гостя горная спит гряда.
Говорю ему, что в запасе пятнадцать лет,
А затем станет чей-то нож чересчур остёр.
И пока я черчу свой круг на густой золе,
Он бросает чабрец в костёр.

Это позднее лето и небо, приставленное к виску.
Я ужасно рискую, а ты, пожалуйста, не рискуй.

Слишком много для вдоха, на выдох уже не хватает сил,
Мир безумно прекрасен, но тем сильнее невыносим.

Невозможно коснуться – вселенная замерла, не дыша.
Я ужасно рискую, и ты, пожалуйста, не мешай.

Нам весна по размеру, а позднее лето чуть жмёт в плечах.
Я когда-нибудь пожалею об этом.
Но не сейчас.

Выросло семя, но обернулось бременем,
Плохо со временем – меньше всегда, чем нужно.
В следующей жизни, слышишь, я стану семечком
В яблочном сердце, что прорастёт наружу.

Выросло семя, стало побегом из дому,
Видятся издали вещи ясней и проще.
В следующей жизни лягу корою на изгородь,
Буду смотреть, как листья летят на площадь.

Выросло семя, стало волшебной яблоней –
Горькие яблоки лечат не плоть, но душу.
В следующей жизни слишком уж скоро я буду,
Плохо со временем – меньше всегда, чем нужно.

У старухи в шатре пахнет ладаном даже дым,
Ведьма знает, что дальше случится почти с любим,
У неё есть холодное солнце и горький мёд,
Мы с сестрою пришли, чтоб узнать, как она поёт.



У сестры моей мир качается на руках,
У неё даже вздох точней, чем моя строка,
У меня не слова – венки из засохших фраз,
А сестре моей жизнь к лицу, но и смерть как раз.

У старухи в шатре пахнет ладаном, прелым мхом,
Она вовсе не хочет рассказывать о плохом,
Говорит, будет сын красив и спокоен брак,
Вот и всё про меня, дальше слушать иди, сестра.

У сестры моей рукава зеленой травы,
Станут скоро правы кричащие – головы
Не сносить на плечах в безжалостный майский зной,
Чтоб лежать на полу, застеленном тишиной.

У старухи в шатре... Впрочем, где теперь тот шатёр –
В нём одна из сестер (но которая из сестёр?)
В одряхлевших руках держит солнце и горький мёд
И поёт, но сама не знает, о чем поёт:

У сестры моей под ногами дрожит земля,
Я красивей, она упрямее короля.
Пахнут жжёной травой и ладаном две свечи.
Песня кончилась, Анна, что же ты так кричишь?

Что осталось от лета – лишь запах сырой земли,
Лишь угли под дождём, во рту кисловатый вкус.
Мы могли быть богами, бессмертными – не могли,
Ты поэтому всё заучивал наизусть,
Я поэтому знала, прожитое – сплошь долги,
И мы вряд ли сумеем в плюс

Выйти так, чтоб один в поле воин, а два – отряд,
Остальное уже неважно, причём вдвойне.
Говорят, что разлуке понравился мой наряд,
Говорят, ты не смог бы выжить на той войне,
Говорят, время – яд, впрочем, многое говорят,
Но, поверь, я умею не

Замечать эту реку, что там, за моей спиной,
Где плывущим в награду – запах сырой земли.
Говорят, ты хотел, чтобы я не была одной,
Говорят, будто лучше вычеркнуть, обнулить.
Я молчу, чтобы Лета вернула тебя домой.
Да, туда, где давно угли.



Страшное дело – к такому привыкнуть, но мы привыкли же,
 Жутковато, конечно, но, в общем-то, так, ничего особого,
 Время залечит раны, как кот свою кожу вылизает.
 Мы готовы жалеть больного, помогать убогому,
 Можем прославить любого бездаря.

Но в понедельник у города было кесарево,
 А у жителей его – богово.

Собираешься рано утром
 Как в бордель и в библиотеку
 Как в кино, а потом в больницу
 На обратном пути за хлебом
 И рождается во вселенной
 Нет, ни улица, ни аптека
 Хоть и лучше б аптека, всё же
 Только небо, да, только небо

Собираешься на работу
 Надеваешь пиджак на платье
 Или может быть одеваешь
 Тело в эту свою одежду
 Чтоб идти по дорогам гордо
 Ям и рытвин среди не плакать
 И на ровном асфальте тоже
 Если встретится где-то между

Собираешь потом в маршрутке
 В горсть ревнивые взгляды женщин
 Тех, что спят на своих сиденьях
 Никуда и не смотрят вовсе
 А снаружи собачий холод
 Да такой, что легко обжечься
 Так красиво о том и скажешь
 Если кто-то случайно спросит

Соберись лучше спать с обеда
 Или прямо с утра напиться
 Ведь приятное всё, конечно
 Неполезно и неприлично
 Там – в борделе, в библиотеке
 В магазине, в кино, в больнице
 Я смотрю, как живое небо
 Окружает забор кирпичный

И люблю тебя, только это
 Не испортилось, став привычкой



Я хотел написать,
Чтоб соврать, что совсем не страшно,
Когда время от манной каши,
От детсадовской манной каши
До предсмертной простуды с кашлем
Расползается на слои...

...Я проспал всю войну,
Победили опять не наши,
Впрочем, ладно, конечно, наши,
Да, теперь-то уж точно наши,
Да, уже навсегда – свои.

ЛЮДМИЛА ШАРГА

БАЖАНОВ КЛЮЧ повесть-сказ в трёх частях

Старую бабушку звали Милица, молодую – Екатерина. Милица жила на самой окраине посёлка, где кончалась длинная улица, которую с незапамятных времён все называли Кулига. Сразу – за садом и огородом – на пригорке – колодец, а за ним бор, и на него смотрело одно из окошек небольшой избы, выросшей в землю на два венца. Старая бабушка Милица приходила каждый день, помогала молодой бабушке словом и делом, опекала её всячески. Бабушка Екатерина приходилась ей падчерицей, но была роднее самой родной дочери. Лицо Милицы казалось тёмным, восковым, морщин не было вовсе, только когда улыбалась, от глаз расходились лучики-морщинки, а глаза были синими, молодыми, словно у бабки Синюшки из бажовских сказов. Незадолго до Спожинок принесла бабушка Милица Екатерине маленькую колыбель – тёмно-золотую, лубяную, с резным изголовьем и тремя полустёртыми символами на левой стороне лубяного бочка.

– Огнём очистила, водой из Бажанова ключа окатила, словом омыла. Держи, Катерина. Роженицу-то когда ждёшь?

– Так ведь со дня на день, матушка Милица.

– Как назовёте?

– Молодые решили: девочка народится – быть ей Мариной, а мальчик – Юрием.

– Так-так... Мариной... Юрием.

Промельк синего пламени осветил тёмное лицо под низко повязанным белым платком.

– Девочка будет, не сомневайтесь. С именем пусть не спешат, Катерина. Непростое это дело – правильным именем чадо наректи.

– Так-то оно так, матушка Милица, да ведь сама знаешь, нынче молодые всё решают. Вот и колыбельку эту, боюсь, не возьмут – кроватку детскую купили, в город ездил зять и накупил одёжек разных, специальных, ситчику на пелёнки да байки.

– У тебя холст есть, Катерина. Как раз на пелёнки хватит. А рубашку детскую сохранила ли?

– Как не сохранить.

Бабушка Екатерина открыла сундук, тёмный от времени, достала что-то, завернутое в рядно и перевязанное бечёвкой.

– Вот, матушка Милица, тут и рубашечка и плат с оберегами по краям, и рушник... Поясок девичий, венки. Всё в сохранности. Старшая дочка ничего взять не захотела, да и далеко она замуж вышла, там и рожала – две доченьки у неё, две внученьки наши растут. Средняя – не замужем пока, тоже далеко, да и вряд ли захочет приданое такое взять. Одна только надежда на Олесю, младшую. Так ты говоришь, что девочка народится?

– Не сомневайся, Катерина. Седмица осталась – и на утренней зорьке разрешится дочка от бремени. А это всё и колыбелька пусть в доме хранятся – без них не обойтись. До срока дней чадо чужим не показывать. И своим не шибко волю давать.

Ровно через неделю у бабушки Екатерины родилась внучка – беленькая, синеглазая. А ещё через неделю вся семья собралась дома, за празднично накрытым столом. Чужих не приглашали, памятью древний обычай, но под вечер заглянули соседи, потом коллеги по работе... Как ни старалась бабушка Екатерина, а всё же не углядела: вынесла Олесю спящую малышку на смотрины.

– Молоко-то есть? – шёпотом поинтересовалась подружка.

– Есть, – кивнула Олеся, смутившись. – Через две недели сессия – уезжать. Как быть, не знаю: жалко от груди отнимать так рано, маленькая она, слабая.



– Может, кто поделится из кормящих мамочек... узнай в больнице.

– И правда! Там же мамочки с детками грудными лежат.

– Ну а назвали-то как?

– Марина. Муж захотел. Очень ему Марина Влади нравится, да и я, вроде бы, чем-то на неё похожа.

– На матушку Милицу ты похожа. На молодую. Хоть и не родня она нам по крови, а вот, поди ж ты... – вмешалась в разговор бабушка Екатерина.

Через две недели автобус увёз Олеся в город – на сессию. Всё было спокойно, с девочкой оставались бабушка и Екатерина и Олег, поочерёдно ходили за грудным молоком на другой конец посёлка к женщине, родившей полгода назад мальчика, и с малышки глаз не спускали. На автобусной остановке никого, кроме неведомо откуда взявшейся бабушки Милицы.

– Здравствуй, матушка Милица, – Олеся поклонилась, пряча глаза.

– Грудь-то не перевязала? Смотри, опасно это. Не застудись и не запусти. А-то, вернулась бы. Ты нужна. Никто, кроме тебя.

– Не могу. Сессия у меня.

– Дочка у тебя, Олеся. Маленькая и слабая. Да что говорить...

Посмотрела, словно полоснула синим лезвием, и ушла.

Прошло три дня. Под вечер налетел холодный ветер, принёс дождь, и стало понятно, что бабье лето кончилось. Этой же ночью в окно Милицы постучали. Во всём посёлке только её окно и светилось желтоватым светом – как от свечи. Она открыла, не спрашивая, кто – словно знала всё заранее.

– Беда у нас, матушка Милица, – задыхаясь от быстрой ходьбы, прошептала бабушка Екатерина. – Мариночка захворала. Жар сильный.

– Иди к ней. Я сейчас. В колыбель переложу, да рубашку свою надень. Покупное всё сними.

Метнулась на Бажанов ключ, зачерпнула воды колодезной – всегда выручала здешняя вода, поможет и на этот раз.

До утра не выходила из горенки Милица, шептала что-то над маленьким, почти бездыханным тельцем, охваченным жаром, переливала воду над крошечной светлой головкой, открывала окно – выплёскивала – и снова переливала, и накрывала платком с вышитыми по краям ладинцами-оберегами.

– Сколько можно... – не выдержал Олег. – Я за врачом. Устроили тут средневековье.

Екатерина ничего в ответ не сказала, только заплакала.

Из горенки вышла Милица, рукой махнула:

– Собирайтесь. Теперь донесём до врача девочку.

В осенних сумерках здание больницы казалось тёмным и мрачным.

За окнами приёмного покоя виднелось странное дерево, ни листочка на нём – тогда как все остальные деревья стояли в багряных и золотых уборах.

– Что это? У неё, что родителей нет?

Врач с удивлением рассматривала ветхую полотняную рубашечку, в которую была завернута малышка.

– Есть родители, – выступила вперёд матушка Милица. – Рубашку снимать не надо. Так смотри.

Что-то такое было во взгляде этой статной старухи... Что-то такое, чему люди повиновались беспрекосовно.

– Всё нормально, – облегчённо вздохнула врач. – Сердечко ровное, жара нет. Но малышка останется здесь – под моим наблюдением. Где мать? Кормить будете?

– Будем, – коротко ответила Милица и посмотрела в сторону Олега. – Мать приедет сегодня к вечеру.

– Завтра, – шепнул Олег. – Последний день сессии...

– Сегодня.

Вечерним автобусом приехала заплаканная Олеся и, не заходя домой, отправилась в больницу. Было уже далеко за полночь, когда дежурная медсестра заглянула в палату, где кроме спящей светловолосой малышки в длинной полотняной рубашечке и её молоденькой мамы никого не было.

– Скажите имя ребёнка. Дату рождения, имя, мне надо историю болезни заполнить. Ваш муж говорил, что девочку назвали Мариной, кажется?

Олеся посмотрела в окно. В ночном небе полыхали зарницы, то алые сполохи, то лазоревые, а по верх – синий промельк – взгляд старой бабушки Милицы.

– Мы ещё не регистрировали её. Не успели. Завтра ей исполняется месяц. Запишите, что зовут её Мила. Милица. Только не в истории болезни, а в истории исцеления.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МИЛИЦА

Звали её Милица.

Люди, привыкшие к другим именам, дивились и переспрашивали: как, как... Милица?

– Милица, – качала она русокозой головой.

– Что за имя такое... птичьё, милица-синица, – судачили и смотрели вслед, – глаз не оторвать от пришедшей отроковицы: статная, синеглазая, с длинной русой косой и, словно выписанным тонкой кистью, лицом, в котором ничего птичьего не было, а если и было, то от сказочных – Алконоста да Сиррина, и раннее – до восхода солнца – пробуждение, да прогулки по лесу, который стал ей вторым домом, после заброшенной избы на окраине посёлка, где поселились они с дедом с разрешения посёлкового старосты.

Не так давно это было, но ни староста – ни кто другой не могли вспомнить, когда именно появились в посёлке дед Бажан и его внучка Милица.

Пришли они в самом начале Осенин – в тёплые, по-летнему, дни и ночи.

Дед поправил забор, переложил печь, чтоб не дымила, подлатал крышу и даже колодец выкопал.

Дивились люди – ну откуда, скажите на милость, взялась вода в этих местах. Водяная жила проходила далеко, на другом краю посёлка – в низине, там и копали колодцы испокон веков.

А здесь – пригорок, сплошь папоротью да рогозом заросший.

Но лишь только зачастили осенние туманы, сделал Бажан отметку, где первый туман лёг. Там и стал копать. К вечеру яма наполнилась мутной водой, невесть откуда взявшейся. Через три дня на пригорочке – за домом – появился сруб колодца-журавля, и вода в нём была особенная – ключевая.

Как Бажан на ключи подземные вышел, да за две ночи сруб и журавль установил – никто понять не мог. Только с той осени стали со всего посёлка – даже с низины – по воду ходить на Бажанов ключ.

Первое время опасались, что осерчает Бажан: как работать – так один, а как водички испить – так все. Придут девушки с вёдрами, станут и ждут, пока дед на крыльце не появится.

– Доброго дня, дядя Бажан, мы на твой колодец – за водой. Дозволишь?

– На здоровье, пользуйте, – отвечал Бажан. – Только за водой никогда не ходите. Уведёт вода за собой – обратный путь не отыщите. По воду ходите, красуни, по воду.

И вот уже несут деревянные узорчатые вёдра на резных коромыслах девушки, одна другой краше, и парни им вслед глядят – не наглядятся. По воду на Бажанов ключ сходить – не просто на задний двор к колодцу выйти. Сарафан новый надеть, очелье цветистое. Где ещё покрасоваться – как не у колодца на пригорочке.

Бажан со всеми делами справлялся сам, но никому в помощи не отказывал, вот и шли к нему с окрестных сёл, не только из посёлка. Платили, кто чем может, кроме денег, знали, что деньги дед не очень-то жалует, но низко кланяется за муку, мёд, холст да шерсть.

А Милица – даром, что маленькая – по хозяйству хлопотала, цветы из лесу пересаживала в палисадник.

Смеялись люди: отродясь не бывало такого, чтобы лесные цветы в саду росли.

Ранней весной, едва-едва сошёл снег под окном, выходящим на дорогу, расцвела сон-трава, открылись звёздочки гусиного лука, ландыши выбросили свои нежные стрелки, усыпанные крохотными душистыми колокольчиками; купальница просыпалась нехотя и лениво, но раньше положенного срока, да и привычная в здешних краях черёмуха, распускалась у Милицы до первых рябиновых ночей, первых летних холодов. А ближе к осени наступало время ятрышника, который девочка называла не иначе как кукушкиными слёзками, и дрёмы, известной здесь как кипрей. До первого снега цвели покровки, и как всегда – не ко времени – после первых морозов и снега – радовал яркими цветками безвременник.

ЯРИНА

Мать Милица почти не помнила.

Детская рубашечка, вышитая красными оберегами-ладинцами у ворота и по низу подола, поясок, сплетённый из разноцветного бисера, платок из белёного льна, с такой же вышивкой на кончиках, – всё, что осталось от матери.



Была ещё колыбелька из золотистого тёмного дуба, с выдавленными кругляшами на левой стороне, с маленьким серебряным крестиком, привязанным к изголовью, там, где чем-то острым было нацарапано: Ярина.

От имени этого делалось тепло и спокойно, обрывки воспоминаний о далёком доме, где было много света, согревали Милицу в здепнем холодном краю: прикосновение рук ласковых и нежных, в бело-снежных рукавах, расшитых гроздьями алых ягод на зелёных листьях.

Ни лица, ни взгляда – только руки и голос и тихая песня.

*Полетів бим на край світа,
Як тот птах, що в гори літа,
Гей, в Гамерицкій край.*

....

Лем жаль мі тя, моя хижо
Лем жаль мі тя, моя хижо
Солом'яна, жаль
Солом'яна, жаль...
Солом'яна, жаль.*

Милица, играя, укладывала в колыбельку-зыбку своих тряпичных кукол: Олесю – с пуговицами-глазами и мотанку – без глаз – Ярину, с которой не расставалась, всюду носила с собой, благо, маленькая мотанка легко умещалась в карман её – Милицы – передника.

Засыпая, она переключивала куклу поближе, и откуда-то выплывал женский голос, печальный и ласковый, и в каплях дождя за окном слышалась песня...

*Ой жаль мі вас, сойки сиви,
Штом вас плекав без три зими,
Гей, ой жаль мі вас, жаль...*

*Солом'яна, жаль...
Солом'яна, жаль.*

Из скупых рассказов деда она знала, что мать её была русинкой и померла, когда Милице было всего три года. Богдан – старший сын Бажана, отец Милицы, отправился на заработки в город и пропал там. Вот и свела тоска в могилу чернокошую, синеглазую красавицу Ярину, а маленькая дочка осталась на попечении деда. Что заставило его бросить дом и уйти из родного села, никто не знал. Правда, дед не раз говорил, что место, в которое они приехали, и есть его родная земля, и родиной называл посёлок Избужье, поскольку род его происходил от улличей – людей с Южного Буга.

Он научил Милицу различать травы, когда и где собирать и от какой хвори пользоваться.

Шить да вышивать научилась она у соседских девочек.

Вот только в церковь дед не ходил, да и внучку отпускал неохотно, лишь по двенадцатым праздникам, на престольный – на Покрова, да в школу – по воскресеньям.

Когда Милице исполнилось шестнадцать, дед Бажан как-то за одну зиму одряхлел и умер весной, на Радуницу.

Жалели люди Милицу – одна осталась, как теперь со всем справится...

А она справлялась. Весной, летом да осенью собирала травы, ягоды да коренья, а зимой вышивала рушники, вязала рукавицы, и зелье целебное из трав варила. Теперь уже не к деду Бажану, а к ней шли за лекарственными снадобьями, и вскоре слух о том, что живёт в Избужье молодая знахарка, разнёсся по всей округе и дошёл до уездного города.

Парни хоть и смотрели в её сторону – красивая, близко не подходили – боялись и только уважительно кланялись. Лишь Кирилл, племянник соседки Агафьи, не боялся – приходил каждый вечер, но всё больше молчал, смотрел, как ловко управляется с травами да кореньями Милица.

Судачили люди: приворожила молодая знахарка парня, худой стал, на других девок не смотрит, сохнет на глазах.

* Здесь и далее в тексте: русинская (лемковская) народная песня «Гамерицкій край».



На Покров Кирилл пришёл, как обычно, под вечер, и остался до утра, а потом исчез.

Шептались, что мол, отвадила парня тётка Агафья от молодой знахарки и чуть ли не насильно женила на хорошей девушке-сироте из соседнего села, и денег на покупку избы дала. Там молодые и поселились.

В жизни Милицы, казалось, ничего не изменилось, да и ничего уже не могло измениться.

Вечерами, распуская косу, подолгу стояла она с зажжённой свечой у окна, словно поджидала кого. Дорогу освещала, чтобы не сбился с пути, не заблукнул, и напевала тихо-тихо, так что не разобрать, дождь это стучит за окном или голос далёкий слышится.

*Кой в нас превелика біда,
Не можна заробиць хліба,
Гей, мушу їхати в даль.
Лем жаль мі вас, мої верхи,
Лем жаль мі вас, мої верхи,
Зеленій, жаль...*

КИРИЛЛ

Минуло четыре лета. Пришёл страшный четырнадцатый год.

Война подошла совсем близко, проступала хмурыми лицами, увечьями калек, вернувшихся с фронта, горькими слезами солдаток, чёрными вдовьими платками.

Поздним вечером, в аккурат под самый Покров, в дверь Милицы постучали. На пороге стоял Кирилл, держа за руку девочку лет трёх, черноволосяю и черноглазую.

– Возьми мою дочку, Милица. На войну иду. Мать её померла прошлой зимой. Застудилась.

– Что ж не позвали? Спасла бы жену твою.

– Побоялся. Думал, обиду держишь. Прости, Милица, я...

– Звать как дочку?

– Катерина. Так возьмёшь?

– Возьму.

– Тут денег немного... Кольца венчальные наши. Метрики. – Он протянул бумажный конверт. – Одежки у неё мало, а из обуви только лапти. Не обессудь.

– Деньги оставь себе. Кольца сохраню. Вернёшься – в помощь будут, а нет – дочке в приданое останутся.

– А Горушку можно взять? – выглянула и тут же спряталась за отца Катерина, – я его от кошки спасла давеча.

Из пакета с тряпьем выпрыгнул растрёпанный чёрный грачонок-птенец и стал тереться о ноги Милицы, словно котёнок.

– Можно, – улыбнулась Милица, – куда ж нам без Горушки.

Девочка и птенец скрылись в сених.

– Постой, Милица, – осторожно коснулся её руки Кирилл.

– Не волнуйся. Всё хорошо будет с дочкой.

– Постой, Милица. И теперь во сне вижу, как косу тебе расплетал. Было ведь, наяву было – не во сне. Только я спал. Вернись живым, пойдёшь за меня, Милица? Что молчишь?

Полыхнуло в осеннем сумраке синее пламя на миг и погасло. Отняла руку и, привстав на цыпочки, коснулась губами его лба.

– Ступай с богом. Возвращайся живым.

Где-то рядом вспыхнула на миг узкая огненная полоска, как от ночного солнца, и в полоске той комья грязи, рваная в клочья шинель и запекавшаяся тёмная струйка в уголке пересохших, растрескавшихся губ.

КАТЕРИНА

Наутро Милица встала как всегда – до восхода, и с удивлением увидела, что Катерина не спит. Сидит на лавке у окна, птицу хлебными крошками кормит.

– Доброе утро, матушка Милица.



- Это кто ж тебе велел так меня величать?
- Никто, я сама.
- Что ж, давай тесто ставить – Покрова сегодня. Будем с тобой, Катерина, углы запекать.
- Я не умею, – растерялась девочка.
- Да тут уметь нечего, смотри.

Вот уже и огонь пляшет в печи, и тесто дышит на тёплой загнетке – любое дело спорится в руках матушки Милицы. И Катерина тут же, вся в муке, слушает, ни словечка не пропуская, и Горушка – на шестке – весь мучной пылью покрыт.

– Печём первую оладью, делим на четыре угла – на четыре стороны света, кладём в каждый угол, чтоб тихо было в избе зимой, чтобы ветры студёные дедушку-хозяина не будили, тепло не выхолащивали, с собой не уносили.

Во все глаза смотрела Катерина, как росли золотистые оладьи на сковородке, ходила по пятам за матушкой Милицей от одного угла – к другому, слушала странные слова, вроде и знакомые, но совсем непонятные.

- Дедушка-хозяин, это кто?
- Домовой. Он нынче спать ложится на всю зиму.
- А если мышка оладушек утащит, он не осерчает?
- Нет, он всякую живность любит.

Ночью Милица проснулась от громкого всхлипывания.

В красном углу, в том самом, куда положили они самый первый уголок оладьи, красивый и румяный, сидела Катерина и горько плакала. Рядом с ней сидел Горушка и спокойно клевал остатки оладьи.

– Что теперь делать, матушка Милица? Холодно будет зимой в избе?

– Не плачь, Катерина. Это обряд такой давний, обычай. А зимой холодно в избе, если не печь не топить. Будет у нас тепло – не сомневайся, вон сколько дров и хворосту в клети – не на одну зиму хватит. И хорошо, что Горушка оладью склевал – значит и дедушке домовому они по вкусу пришлись.

- Он что, с ним поделился?
- Поделился.

Горушка забрался в крайнюю, полюбившуюся ему, тёплую печурку, почистил клюв и пёрышки и уснул.

Так и перезимовали они втроём. И зима была не сильно лютая, и в избе было тепло.

В марте, когда пришла пора печь и выпускать жаворонков, Катерина, послушавшись, выбежала на улицу без тёплого платка и к вечеру слегла с простудой.

Сбив жар травяным отваром, Милица укрыла её лёгким домотканым покрывалом и заметила, что из разжавшегося кулачка выпал кусочек сахара.

Милица положила сахар на стол, пригрозив пальцем Горушке.

Наутро сахара как ни бывало.

А ещё через два дня выздоровевшая Катерина, виновато потупясь, протянула сахар Милице.

- Угощение. Нет, гостинец. Нет... Забыла, как правильно.
- Правильно – не брать ничего у чужих, – нахмурилась Милица.
- Это тётя Агафья дала и сказала, что она мне родня. И ещё сказала, что я сиротка жалкая.
- Какая ж ты сиротка. У тебя отец есть и тётя Агафья, вот, говорит, что не ты ей родня. Давай-ка молоко топлёное пить. Самое время. С угощением да с гостинцем.

Милица вытянула из печки крынку с тёмно-коричневой пенкой и аккуратно утопила пенку в густом горячем молоке.

- Оно топлёное, потому что пенки в нём топят?
- Потому что пенки топят и всё лишнее вытапливают.
- Что же остаётся?
- Толк да польза.

Наполнив до краёв чашку Катерины коричневатым душистым молоком, она отколола от сахара несколько кусочков и положила рядом с блюдцем.

- А ты, матушка Милица, что не угощаешься?
- Позже угощусь.

Милица выпла из дому и направилась к дому Агафьи. Та, словно ждала – сидела на крылечке, сумерничала.



– Вечер добрый, тётя Агафья, – только голову и склонила Милица, а Агафья уже шла навстречу, к калитке.

– Неужто с Катериной что? Выглядываю её этими днями – не видать.

– Ничего с ней худого не приключится, пока я жива. Запомни это. И всем скажи. И ещё... Не сиротка она. Это тоже запомни. И отвар из берёзовых почек пей – дышишь тяжело.

Повернулась, прислонившись на миг к шаткой, покосившейся ограде – Агафья два года, как овдовела, и поправить забор было некому.

– Милица... Постой. Постой, Христа ради. Не могу быстро, правда твоя, задыхаюсь. От Кирилла-то есть известия? Не сердчай, позволь девчоночке хоть иногда заходить ко мне – всё живая душа, да и не чужая.

– Я не запрещаю. А от Кирилла нет вестей. Значит, есть надежда, что живой. Дурные вести доходят быстрее добрых.

Милица остановилась на миг – не оборачиваясь, вздохнула тяжело и пошла к маленькой избе на окраине – на самой опушке леса, на неровный желтоватый свет окна, выходявшего на дорогу.

Через три года пришла бумага старосте: пропал без вести Кирилл. Оставалась ещё надежда, что он в плену, и рано или поздно как-то даст о себе знать.

НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТ

Тем утром Милица собирала травы в лесу, неподалёку, услышала, как тревожно кричит Горушка и почувствовала чужую тяжёлую поступь.

Человек в чёрной рясе – местный священник, протянул руку, но Милица и не думала целовать её.

– Креста на тебе нет.

Узловатый жёлтый палец уткнулся прямо в её лоб. Милица поморщилась от боли.

– Есть на мне крест, неправда ваша, отец Никодим.

И вытянула наружу шнурок с маленьким нательным крестиком, который стала носить после смерти Бажана.

Батюшка сорвал крест с Милицы.

– Не тебе крест носить... Исповедаться сперва надобно, покаяться. Жену в могилу свела, опосля и мужа. Знаю дело – полюбовницей была. Ведьма.

Шнурок взрезал нежную кожу на шее до крови и упал в траву.

Милица побледнела, но ни слова в ответ не сказала. С тех пор в церкви её никто не видел.

К концу восемнадцатого года докатились и до Избужья перемены: приехал из уездного города уполномоченный, собрал жителей посёлка, рассказал, что власть теперь народная и надо этой власти помочь, кто чем может – посылно, но лучше бы зерном. Люди отдавали хлеб неохотно, а местные пьяницы да лодыри обирали крестьян до нитки, многое из отобранного оставляя себе – на пропой души. К Милице никто не пришёл, дом её по-прежнему обходили за версту, обращались только в случае болезни, да по воду – на Бажанов ключ. Да и знали – брать у нищей девки-знахарки, кроме сухих трав да кореньев – нечего. Ещё и с приёмышем.

Весну и ждали и не ждали: сеять было нечем.

Милица с Катериной всю осень из земли выкапывали и сушили съедобные корешки. Мука из корней рогоза, смешанная с сушёным рогульником, травами и ягодами, спасала от голодной смерти – из неё Милица пекла хлеб. Кормил и спасал людей от голода и холода лес: грибы, ягоды, мёд, орехи.

Редко кто теперь, обращаясь за помощью, приносил что съестное.

Милица не отказывала никому: лечила, отпивала, отчитывала, вправляла вывихи, и настойкой трав целебных одаривала – уж их-то у неё было много заготовлено, от всяких хворей и напастей.

Весной – перед самой Пасхой – в посёлке на общем собрании постановили все церковные ценности отдать в помощь народной власти. Когда пришли выносить церковную утварь, батюшка воспротивился, за что жестоко поплатился: забили его нагайками до полусмерти. Старший сын хотел, было, вступить за отца, но получил пулю в живот.

Дождавшись темноты, попадья привезла полуживого, без кровинки в лице, умирающего сына к Милице.

– Спаси чадо моё. Всё, что хочешь, проси... Всё сделаю.

– За водой иди – к колодезю, – протянула бабью Милица.



Огонь в печи уже плясал во всю силу, трижды вскипала вода в чане и трижды Милица бросала в неё травы и корешки, дух от которых плыл по избе, кружил голову и убаюкивал, утишал беду, навевал сладкую дрему.

Катерина смотрела на всё происходящее с печки и даже дышать боялась, а попадьё сморил сон.

Проснувшись она, когда начало светать, от лёгкого дуновения у лица. Отшатнулась от нестерпимо синего взгляда и, вспомнив, рванулась с криком:

– Преставился...!? Уморила ребёнка, ведьма! Поквиталась...

Осеклась от синего взгляда, полоснувшего, словно лезвием, осмотрелась. На широкой лежанке у печки лежал старшенький её и крепко спал. Дыхание было ровным, щёки розовели.

Таисия упала в ноги знахарке.

– Матушка... Милица, спаси Христос. Век не забуду. Тут золото с оклада иконного. И серебро. Возьми, возьми...

Шептала бессвязно, трясущимися руками лезла за пазуху, протягивала что-то связанное в узелок.

– Будешь менять повязку, смачивать и прикладывать десять дней. Спину мужу этим же настоем смазывай, – отвела руку попадьё Милица, протянула крынку с отваром и бровью не повела, и не взглянула даже, что там, в узелке. – Уехать вам надобно, схорониться, пока уляжется всё. Ступай, собирайся, а как стемнеет, за сыном придёшь. Он к тому времени как раз проснётся.

Больше семью священника в посёлке никто не видел.

Лет десять спустя, когда история эта почти забылась, почтальон из уездного города привёз посылку для Милицы.

– Нет ли здесь ошибки какой? Отродясь в Москве не была.

– Тебе, матушка Милица, тебе. Ошибки быть не может, всё правильно. Распишись в получении.

Скользнула из-под крышки пшаль павловопосадская, узорчатая, дивная, с шёлковой бахромой, а под ней – мешочек с белыми сухарями, отливающая синевой, сахарная голова в серой бумаге, ладан александрийский ароматный в баночке жестяной. А на самом дне – маленький нательный крестик на тонкой серебряной цепочке.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МОРОК

Високосная весна выдалась норовистая, неровная.

«Так-так...», – отсчитывала минуты мартовская капель.

«Тонк-тонк...», – ломались, всхлипывая, сосульки, падали на взвзвинуящуюся ледяной корочкой землю, рассыпались игольчатыми льдинками.

«Тик-так...», – размеренно равнодушно, соглашаясь со всем и со всеми, шли ходики, и птичка-кукушечка вылетала из домика без опозданий и куковала каждый час.

Поначалу Агафья, слыша механическое «ку-ку», просыпалась ночью, но со временем привыкла.

Часы привёз постоялец – уполномоченный из уезда. Багаж его состоял из часов, отвратительно смердящей на всю избу собачьей дохи да кожаного потёртого портфеля, в котором кроме круглой печати и пачки грязновато-жёлтой бумаги ничего не было. С портфелем уполномоченный не расставался даже ночью – лаал под подушку.

Днём он пропадал в поселковом совете, а за ежевечерней скляницей самогона выпытывал у Агафьи все новости: кто о чём говорит, кто чем живёт, кто чем дышит.

Был он молод, неказист – с рябым, одуловатым от пьянства лицом, в любую погоду носил высокие щёгольские сапоги, галифе, гимнастёрку да кожанку со значком ГПУ. По приезду снял угол на месяц, да потом так и остался жить – видать, по нраву самогончика Агафьи пришлось.

– Что ж родичка-то твоя так в колхоз и не пошла?

– Какая она мне родичка... Худо ей живётся разве?

Агафья не только гнала, но и сама давно пила горькую, а как постоялец пьющий поселился, то и во все в раж вошла – дня не проходило без чарки.

– С каких это барышей? На травках да корешках?

– Ты думаешь, девчонку-то она даром взяла? Денег Кирилл дал – точно тебе говорю. Если мне дал, то уж ей-то подавно не пожалел.



– Ты же говорила, что он сирота. Откуда деньги? Да и что нынче на них купишь. Так, бумага бесполезная.

– Так это когда было-то... Ещё николаевские рубли да *синицы* ходили – а они силу имели. Избу-то он продал соседям.

– Зайти бы надо, потолковать с бабкой.

– Какая она бабка...

– Ну, не молодница ведь?

– Не молодница. Но и не бабка – ей и сорока-то ещё нет. Присмотрись. Иная девка супротив неё скорее бабкой окажется.

– Что ж вы её матушкой величаете да кланяетесь в ноги?

– Потому как знахарка. Случится хворь какая – к кому первым делом бежать, как не к ней. И докторица в посёлке есть, а всё одно к Милице идут. Она, вишь, без порошков да микстур врачует, травами да кореньями на ноги подымает. Уважительно с ней за то и обращаются. Да и она безотказная, всем помогает. Кто даст что, а кто с пустыми руками приходит – всё одно врачует. Ночью ли, днём ли – без разницы.

– Задарма врачует?

– Говорю ж тебе: кто что даст – тем и довольствуется. Дед Бажан, тот тоже денег не брал. А он многим помог: кому крышу перекрыть, кому забор поправить, а кому и другое что... Колодец выкопал – ключ нашёл, да какой. Вода в нём целебная, живая.

– Что ж ты, змеюка подколодная, хаешь её?

Захмелевший уполномоченный стукнул кулаком по столу.

У Агафьи со страху и хмель пропал. Кинулась в ноги, задрожала, запричитала.

– Что ты, батюшка Василь Алексенч, что ты... Я не хаю, это так – к слову пришлось. Ты бы ложился уже, целый день на ногах – уморился, поди... Такой ты человек золотой, уж как я тебе обязана – по гроб, и на том свете молить за тебя буду.

– Нутро твоё гнилое, Агафья. Простить не можешь, что племянник девчонку ей отдал – не тебе. Ты ж пьяница, куда тебе дитё доверить. Молчи, сам знаю, что делать.

Отпихнул испуганную Агафью ногой и пошёл, шатаясь, к своей лежанке. Постоял, покачиваясь, рухнул лицом в подушку, не раздеваясь – как был – в кожанке да в сапогах.

– Много ты понимаешь, – Агафья, глотая пьяные слёзы, стаскивала с постояльца грязные сапоги. – Много ты, волчья твоя душа, понимаешь... Могу я простить, али не могу – не твоего ума это дело. Извела она всю семью нашу, и я вот, горькую пью из-за неё. Катерина-то счастливо за мужем живёт, в достатке. Дочка у них – Полюшка – уж так на мою сестру-покойницу похожа. Одного роду-племени, да не одна семья. Как праздник какой – так к ней – к знахарке идут, со мной даже здороваться брезгуют. Много ты понимаешь, казённая твоя душа... Бобылём жил, бобылём помрёшь. Ни кола – ни двора. А у меня семья была, две сестрички нас у родителей, две ясочки ясноглазые: Агаша да Грушенька.

Насилу справившись с сапогами, Агафья бросила их в угол около порога и полезла в голбец – за очередной склянницей, да так и уснула, прислонившись щекой к тёплой печке.

ДОРОГА

Милица раннему теплу не верила и всем, кто спрашивал о погоде, отвечала:

– Евдоху ждите, тогда и тепло настанет надёжное, верное. Да и март ещё не начинался по-старому. На бумаге да на словах мели всё, что вздумается, а на деле – природа своё возьмёт. Не бывало так, чтобы она с новым временем стала вдруг заодно. Ей никто не указ, ни старая власть – ни новая.

Снег той весной сошёл ещё в начале марта, но вскоре ударил мороз, а на Евдоху заснежило, замело, будто и не было оттепели.

На лесной опушке стыл на ветру одинокий куст. Ни листочка – ни почечки, одни колючки.

Милица остановилась у странного куста. Покачивалась на тонкой шипастой ветке тоненькая верёвница. Протянула руку, дёрнула – на безымянном пальце выступила кровь, а в руке осталась суровая нитка, потемневшая от крови, дождей да ветров. Куда приведёт ниточка, кто знает, а в том, что приведёт, Милица уже не сомневалась.

Весной куст приоделся, зазеленел – скрылись шипы да колючки.

В Духов день Милица задержалась в лесу дольше обычного – нетронутую полянку земляники отыскала – полный туюсок набрала целебной душистой ягоды.



Уже у колодца почувствовала что-то неладное.

Несколько десятков шагов до избы дались труднее, чем обычно.

В сенях стоял резкий запах сивухи и сыромятной кожи. У окна темнел силуэт человека.

– Кто здесь? – спросила, хотя и так знала, кто в избу вошёл непрошеным.

– Ну что, бабка, пришёл твой черёд, собирайся, – повернулся незванный гость. – Да и не бабка ты, как я погляжу. Давно за тобой наблюдаю. На что живёшь – неизвестно. Единоличница, оно и понятно, вроде хозяйства большого нет. Толку от тебя в колхозе никакого. С другой стороны – лишняя пара рук – не помешала бы в наше трудное время. А в посёлке – вред один.

– Чем же я навредила и кому?

– Людей смущаешь разговорами. Власть новая тебе не нравится и законы этой властью установленные. Не посмотрю, что Катерина твоя замужем за сыном председателя. И не родная она тебе, к тому же. У неё теперь – случись что – муж, да и тётка родная имеется. Собирайся, в уезд поедешь. Пусть там с тобой разбираются. Полчаса на сборы тебе.

Ничего не ответила Милица. Сложила небольшой дорожный мешок, дедову баклажку с полки сняла – деревянную, им самим выточенную, переобулась, отсыпала немного ягоды в круглую жестянку и оставила туесок с краю – на лавке.

Уполномоченный, проходя мимо, не выдержал – запустил пятерню в самую гущу тёмных сочных ягод да в рот отправил – сбил оскомину, а туесок перевернул.

Рассыпалась земляника, словно капли загустевшей крови растекались по полу – крупные, тяжёлые. Шёл уполномоченный по ним, давил грязными сапогами и глаз не мог отвести от ладного, точно девичьего стана, от высокой груди. Плавил кровь морок, жаром обадал, ноги делались ватными – ни шага ступить – ни полшага. Вспомнилось, как на Купалин день прятался за стогом сена у реки, высматривал, как купалась незнакомая девка. Волосы распущены, на голове венок – чисто русалка. Не поселковая, видать, иначе узнал бы. Таковую паву – да не узнать. Плыли огненные круги перед глазами, кипела дурная кровь. Потерял сознание не то от самогонки, не то от солнца горячего летнего. Очнулся там же – в стогу. Река, знай себе – течёт, и никого вокруг. Привиделось – не иначе.

Но с того дня мерещился наяву и во сне девичий стан в брызгах радужных. Манил, будто призрак, в лес – на другой берег – папоротью поросший, Белый яр. В каждом сне бродил по лесу, под ногами папороть колыхалась как от ветра, вспыхивали там и тут искорки малые. Больше всего боялся на них наступить, потому как знал – жар-цвет это, папороть цветёт, наступишь – встанешь наутро с огневицей на устах и в крови. Наклонялся, чтобы сорвать хоть одну – всё чернело, превращалось в болотную жижу, затягивающую, зловонную.

Одно было спасение от морока – первач.

Понял он, вдруг, что за призрак его манил, что за девку видел Купалиным днём на реке...

– Милица... слышь, стой, – прохрипел, задыхаясь, и осёкся от полного ненависти синего взгляда, полоснувшего по протянутой руке. Жар сменился ледяным ознобом, захлестнула разум чёрная звериная ярость.

– Погоди, скоро по-другому смотреть станешь. Прямо иди.

– Воды на дорогу набрать хочу.

Не обернувшись, не дожидаясь ответа, Милица свернула к Бажанову ключу, и уполномоченный, зайдя от злобы, понял, что не имеет над ней ни силы, ни власти.

Вытащи он сейчас наган и начини стрелять, она не обернётся и всё одно – не покорится, потому как не боится его, да и никого на свете, видать, не боится. Молча дождался, втянул голову в плечи, избегая ещё раз встретиться взглядом, и больше не проронил ни слова.

Этим же вечером сам – на подводе – отвёз Милицу и подкулачника Крутишина в уезд – в особый отдел.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

Шептались люди, судачили.

Слух полз от двора – к двору, от избы – к избе: из-за Агафьи – давно обиду таила, из-за Кирилла всё да из-за Катерины.

Молчала Агафья. Со двора не выходила, платок низко – до бровей – повязала, от прохожих в избе пряталась.



Молчала Милица – ни слова не проронила, ни в камере, ни на допросе.

Через неделю привели её к начальнику уездного отдела ОГПУ. Тот дела арестованных просматривал и папку с делом Милицы в сторонку отложил. Пуста была папка. Один донос в ней хранился, написанный на серо-жёлтом листе.

– Недовольна, значит, новой властью, гражданка?

– Всем довольна.

– Вот здесь записано: недовольна. Разговоры ведёте всякие.

– Какие разговоры?

– Против власти. Записано со слов односельчан. Ещё один сигнал и сошлют, а то и в расход пустят – как враждебный элемент.

Говоря это, он подходил всё ближе и ближе, и вдруг спросил тихо:

– Не узнаёшь, матушка Милица?

– Нет.

Голос её был похож на треск сухой, надломившейся под ногами ветки.

На миг из-под низко повязанного чёрного платка метнулся синий взгляд и погас.

Он приподнял край гимнастёрки, обнажив старый, затянувшийся след от ранения в живот. – Может, теперь вспомнишь?

– Многих я врачевала. Всех упомянешь разве... – отвела глаза в сторону Милица. Сквозь густую завесу сизого табачного дыма проступило бледное обескровленное мальчишеское лицо. – Вот куда ниточка привела... Что родители, живы?

– Нет связи у меня с родителями бывшими. Враги они классовые.

– Отрёкся, стало быть...

– И не жалею.

– Ты-то не жалеешь... Тебя впору пожалеть, горькая головушка. На словах да на бумаге оно легко. Кровь не сменить. Не бывает родителей бывших, Илья свет-Никодимович.

– Узнала. Ты вот что, матушка Милица... Ты ступай. Я всё, что нужно, сейчас напишу. Справку дам – мол, ошибка вышла. Что оговорили тебя, возвели напраслину. Что мы всё проверили и подтверждения не нашли. Но впредь, смотри – не попадайся. Жизнью тебе обязан, потому и отпускаю. Долг платежом красен.

– Долг у тебя перед отцом да перед матерью. Платить до конца дней – не расплатиться. Отпускаешь – спасибо. А о родителях ты подумай. Самое время поспешить в город Серeda.

– Что за город такой?

– В Ивановской губернии. Найдёшь там старый погост, спросишь сторожа. Поспеши, – поклонилась на прощанье Милица и пять вёрст до Избужья шла пешком, не шла – летела, сливаясь душой с тёплой летней ночью, и задолго до полуночи вошла в свою избу.

Вставила лучину в светец, зажгла, осмотрелась: на столе – под полотняным рушником – коврига житного хлеба, на берестяном решете ягода рассыпана для сушки, пол вымыт, на загнетке крынка с топлёным молоком.

Прислонила ладонь к печке – тёплая. Знать – истопили недавно. Катерина разве что забегала – кто бы ещё мог здесь похозяйничать.

Не успела подумать – а она уже обнимала её, плача:

– Матушка Милица, родная моя, жива, жива...

– Жива, конечно, что ты Катюша.

– Уж как боялась, что не увижу тебя больше. Каждый вечер прибежала, убирала, молочка приносила, хлебушка свежего. Этот-то ирод зубами скрипит, да шипит вслед: не дождёшься мачехи своей, не дождёшься. На неделе в уезд поедем – всё напишем – как есть.

Иду – не оборачиваюсь, а у самой слёзы глаза застыт...

– Беги-ка ты домой, егoза. Полношка спит уже, поди. Стосковалась я, Катя.

– А уж мы как стосковались... Придём завтра. А может, всё же, к нам переберёшься? Изба просторная, места всем хватит.

– Говорили уже... Не могу я. Люди ко мне, Катя, ходят и днём и ночью. Беспокойство вам от меня выйдет. Да и колодец здесь и изба – как оставлю?

Убежала Катерина.

Тихо стало в избе.



Просунула Милица руку в крайнюю печурку, свинула кирпич, вытянула полотняный мешочек да куклу-мотанку Ярину.

Всю ночь просидела, держа в руке два венчальных кольца червонного золота: широкое – мужское, и тоненькое – женское.

Когда начало светать, достала из сундука чистую сорочку и простыню, в сенях сняла с крючка серп и пошла на Бажанов ключ.

Распустила косу, расчесала и заново заплела, серпом взмахнула – обрезала под самый затылок.

Разделась донага, окатила себя три раза ключевой водой, закуталась в простыню и долго стояла, согреваясь и чувствуя, как оживает кровь.

Одежду, в которой была всё это время, и обрезанную косу сложила невдалеке, укрыла сухим рогозом, чиркнула спичкой – занялся рогоз и всё, что под ним.

Той же ночью Агафья и её постоялец испустили дух, – уснули, не вставая из-за стола, не увидев тёмно-зелёного спасительного дна скляницы, да так и не проснулись – опились первачом.

ПАМЯТЬ

Четыре лета тому назад, високосной весной Милица возвращалась из лесу с журавлиной-веснянкой – только по весне и брала её, летом да осенью других ягод было в избытке.

В дверях её чуть с ног не сбила Катерина.

– Погоди, егоза. Вижу, торопишься, и вижу к кому.

– Карагод собирается, – смутилась Катерина.

– Карагод – дело хорошее. Успеется. Сядь.

Катерина села на краешек широкой лавки, крытой рядом, уронила безвольно руки.

– Что говорит Павел, что сулит?

– Замуж зовёт, – зарделась Катерина. – Да ведь без приданого я, вот и тяну с ответом.

– Ну, положим, приданое за тобой есть. Да только не приданое в жёны берут, Катя, человека. Ты, вот что, зови Павла в гости. Пускай с родителями говорит.

– Говорил уж... Робеет. Да и я робею. Вдруг осерчаешь.

– С чего бы? Годы твои вышли – что ж тут такого, – отвечала спокойно, а у самой сердце так и рвалось наружу.

– Когда же звать, матушка Милица? На Масленой?

– Можно и на Масленой. Напечём блинов, самовар поставим.

– Гречаных...

– Гречаных – муки ещё маленько есть в запасе.

Давно вернулась Катерина, и уже спала крепко, обняв подушку, а к Милице сон не шёл.

То ли раздумья о скорой разлуке встревожили, то ли далёкая песня напомнила о юности, которой, будто и не было.

Звонко выводил девичий голос за околицей:

Русая головка,

Думы без конца...

И слышался ей другой голос и другая песня.

Хлопотной выдалась неделя перед Масленицей, а уж последний день – особенно.

Милица и не заметила, как стемнело. В сенях послышался смех. В избу вбежала Катерина, раскрасневшаяся, лучистая. Следом – Павел. Остановился там, где сверху темнела широкая старая матица, словно отделяла вход от пространства избы. Преграда была невидимой, но люди её чувствовали и дальше положенного без приглашения не шли.

– Что ж ты, входи, – бросила насмешливый взгляд Катерина, и Павел осторожно переступил невидимую грань.

– Проходите, – поклонилась Милица, – проходите, садитесь.

Сели рядышком – у окна, рука об руку.

– Стало быть, обручиться надумали? – Милица собирала травы для отвара – вечером столетних деда Пекунка и бабку Пекунешку надо бы проведать, свежий отвар отнести.



– Отдадите Катерину за меня? – встал с лавки Павел. – Не бойтесь, я её в обиду не дам.

– Да она сама кого хочешь обидит, – она посмотрела, наконец, на Павла, и тот поразился, до чего молодым и синим был её взгляд.

– Едем учиться, матушка Милица. Колхоз направляет. Вместе вот хотели...

– Когда?

– Ближе к осени.

– Что ж. Учёба – дело нужное. Да и обручиться к осени можно. Присылай сватов, Павел Николаевич. Милица протянула Катерине маленький полотняный мешочек.

– Возьми, Катя. От отца – память.

Два венчалых кольца червонного золота: широкое мужское и тоненькое – женское, легли на скатерть.

– От кого? – переспросил Павел шёпотом, глядя, как Катерина осторожно надевает маленькое кольцо на безымянный палец. – Разве твой отец жив?

– Без вести пропал в германскую.

– На империалистической, – поправил Павел. – Как же тогда...

– Я сохранила.

Милица спокойно смотрела, как Павел менялся в лице, словно знала, что так и должно быть.

– Они церковные. Не станем же мы венчаться, Катюша?

Катерина будто не слышала – как завороженная разглядывала тоненький золотой ободок.

– Венчаться вас никто не заставляет, да и где: церкви порушены да разорены. А кольца возьмите.

Приданое это.

Накануне отъезда Катерину и Павла расписали в поселковом совете. Стол для родни председатель накрыл. Да и как не накрыть – единственный сын женился.

Через неделю молодые уезжали в город – учиться, чтобы потом вернуться в родной посёлок. Катерина – учительницей, Павел – агрономом в колхоз.

– Матушка Милица... Увидят, спрашивать станут. Что скажу? Лучше, чем ты – никто не сохранит.

С учёбы вернёмся, заберу. А пока пусть у тебя будут. Побежали мы... Гости заждались.

Катерина виновато уткнулась в плечо Милицы, и та, как в детстве, погладила её по голове.

– Идите, я позже приду.

– Придёшь?

– Приду.

Милица занесла отвар старичкам Пекунешкам и пришла к дому председателя, когда уже совсем стемнело. Остановилась. Посмотрела на красавицу Катерину с короной кос на маленькой точёной головке, на Павла счастливого и немного растерянного, постояла ещё немного, полюбовалась молодой парой и ушла.

СХРОН

В печурке, которую облюбывал когда-то давно Горюшка, выдвигался нижний, неплотно прилегающий кирпич. Под ним был схрон: небольшая – с ладошку – пустота. В тёмном теле русской печи хранился полотняный мешочек с кольцами, детская ветхая рубашечка с вышитыми по подолу ладницами-оберегами, две куклы-мотанки, одна из которых звалась Яриной. Берестяная зыбка-колыбелька, наполненная доверху сухим мхом – снадобьем от кашля и от долго не рубящихся ран, стояла с краю – на печи.

Милица хлопотала по дому, думала да распутывала узелки, выпрямляла ниточки.

Недавнее озарение неожиданной птицей стучало в груди с новой силой: жив Кирилл. Только нездоров, в помощи нуждается.

Негромкий стук в дверь оторвал от дум. На крыльце стоял отец Павла.

– Не обессудь, матушка Милица, чем богаты, как говорится.

С этими словами он поставил на порог плетёную корзину с немудрёной домашней снедью.

– Зачем это... Лучше бы молодым отдал – в городе-то не будет разносолов домашних, голодно, говорят. Да и к чему столько – одна я теперь.

– Соберём и им. Ну хоть мёд возьми. Мы теперь родня...

– Мёд возьму. Спасибо, Николай Лукич и Анне твоей спасибо.



– Тут ещё такое дело... Катерине не стал говорить, тебе скажу: отец её, Князев Кирилл Романович – жив и в настоящее время находится в больнице, в городе Серeda. Под другой фамилией находится. Вот тебе и без вести пропавший.

Вспыхнула перед глазами узкая огненная полоска, как от ночного солнца, и в ней комья грязи, рваная в клочья шинель и запекшаяся струйка крови в уголке пересохших губ.

Ухватилась за притолоку и побелевшими губами шепнула:

– Что ещё пишут?

– Что плох здоровьем.

– Город Серeda, где это?

– В Ивановской губернии.

– С документами и с дорогой поможешь?

– Как не помочь, – развёл руками председатель. – Только ты никому не сказывай, куда, а главное – к кому едешь. В больнице спросишь Иванцова Петра Михайловича. Запомнила?

Неделю добиралась Милица до города Серeda, и там – в больнице – отыскала умирающего Кирилла.

Весь день отпаивала его отварами да настоями, и повеселел взгляд у Кирилла к вечеру, а она сидела на краешке кровати, слушала сбивчивый рассказ о мытарствах, выпавших на его долю на войне первой мировой – германской, в плену, на войне второй – гражданской... Две контузии, два ранения, побег. Затаился, жил под чужим именем, скрываясь, не то от чужих, не то больше от своих, и всё мечтал, как в Избужье вернётся, как заживут они втроём в ладу да в согласии. А не так давно встретил земляка, который сразу его узнал. Попросил как-то передать в Избужье, что жив. Тот пообещал.

– Расскажи, Милица, как живёт Катерина? Замужем, говоришь... За сыном Кольки Киреева замужем? Мы с ним сызмала вместе были – не разлей вода. Теперь и дети наши. Видишь, как повернула жизнь... Расскажи, Милица, как живёшь. Расскажи...

Под утро она закрыла, испутившему дух Кириллу, глаза.

На старом городском кладбище отыскала сторожку. На стук вышел хромой бородатый человек, показавшийся ей знакомым. Поздоровалась, рассказала всё, как Кирилл велел, попросила:

– Отпеть бы его... Помогите, коли можете.

– Помогу.

Милица всмотрелась в сторожа и отшатнулась.

– Признала, вижу. Здесь теперь доживаю. Поначалу-то в Москве – у брата осел. Да беспокойно там было. Сюда перебрались. Таисия моя, год как преставилась – вслед за младшеньким – за Сергием – в одно лето их Господь прибрал. Тут они лежат, недалеко. От них теперь никуда. Это я письмо написал в Избужье-то. Николай – председатель нынешний ваш – с Кириллом дружбу с малых лет водил. Знал, что не сдаст. И ещё знал, что приедешь, коли жива. Знал.

– Спасибо, отец Никодим..., – поклонилась в пояс Милица и не стала спрашивать о старшем – об Илье. Что-то во взгляде отца Никодима было такое, что почувствовала: не надо.

На свежем могильном холмике установили деревянный крест, на который Милица повязала рупник, Катериной расшитый: чёрные гребёночки с красными чередуются – в три ряда, чёрные по краям – красные в середине.

В обратный путь отправилась с солдатским вещмешком, в котором уместилось всё, что осталось от Кирилла: две фотокарточки, справка о смерти на имя Иванцова Петра Михайловича; а ещё кисет отец Никодим передал, а в кисете – резной черепаховый гребень с двумя камушками цвета майской травы на дальнем заливном лугу.

– Сам гребень – безделица, а камушки – ценные. Один такой камушек от гибели Кирилла спас, да и мне помог справки нужные выправить.

– Одного и хватило бы. А второй оставили бы себе, отец Никодим.

– Мне без надобности. А тебе пригодится. Времена лихие пришли, а следом придут ещё страшнее. Не краденый гребень – не сомневайся, бери. Ещё кое-что вернуть тебе должен, да не при себе сейчас. У брата оставил на сохранение.

– Не пойму, о чём Вы?

– Передам, тогда поймёшь. Всенепременно передам. Ступай с Богом.

Перекрестил, повернулся и пошёл, прихрамывая, в покосившуюся кладбищенскую сторожку.

Вскоре после этого и пришла посылка Милице с шалью узорчатой, с белыми сухарями, с сахарной головой да с ладаном александрийским. А на самом дне жестяночки с ладаном – маленький нательный крест.



МАТИЦА

Поскрипывала старая матица, вздыхая от тяжести прожитых лет.

Человек пришлый в избу ступить не мог без приглашения хозяина или хозяйки. Сила неведомая не пускала, держала.

Милица, впервые переступив порог этой избы, остановилась как раз там, где проходила по потолку широкая, растрескавшаяся от времени, исчерченная непонятными знаками потолочная балка – матица, и, словно получив чьё-то невидимое разрешение, пошла дальше.

Дед Бажан вошёл не останавливаясь. Знаки мудрёные называл буквицами, про каждую рассказывал, что она есть буква и слово и число, и образ.

От самого края – от того места, где матица входила в стену, тянулись резные буквицы. Было там и имя Бажан. А потом появилось и её – Милицы – имя.

Слушала маленькая Милица, запоминала, на песке у реки чертила хворостинкой буквицы – так и писать выучилась и имя Кирилла и Катерины сама на матице вырезала.

Кирилл прошёл в избу с её ведома и остался на всю ночь – матица молчала – ни скрипа, ни вдоха.

Катерина маленькая вошла, не останавливаясь, приняла её матица, как свою – почувствовала.

Павел дальше порога идти не решился, пока не позвали. Чужой покамест.

Полюшка вбежала, не останавливаясь, как Катерина когда-то, как и она сама в детстве.

Уполномоченный прошёл. Знать, состарилась матица, и перестала чужих и своих различать. А может и не действует сила её на людей лихих, кто знает, или действует, но не сразу.

На следующую ночь после возвращения привиделся Милице во сне Кирилл, молодой да весёлый. Будто ведёт он её за руку по дивному месту: сад – не сад, лес – не лес, но и деревья там и цветы, и река. Идёт он легко, будто летит над землёй, а ей тяжело каждый шаг даётся, словно в гору путь лежит.

Тянут к земле косы – длинные, туго заплетённые. Подбирает их Милица, вокруг головы укладывает, а они падают и снова до земли тянут.

Осмотрелась она – и впрямь стоит на горе. Волосы уже в одну косу заплетены – будто в девичестве, и гребень в волосах черепаховый, с тремя зелёными камушками-глазками цвета молодой травы. И видать с той горы всё – на сотни вёрст вокруг. Дом, в котором родилась, маму – красавицу Ярину, отца и деда Бажана. Сидят они рядом на скамье под цветущими вишнями, говорят о чём-то меж собой, а её, Милицу, не замечают. Да и как заметишь – высоко она да далеко.

Прикрыла глаза на мгновение, а когда открыла, то не было вокруг ничего и никого.

И Кирилл пропал. Одна-одинёшенька она у Бажанова ключа стоит, в колодец заглядывает, а он пуст – ушла вода из колодца. Три раза опускала ведро до самого дна – три раза вытаскивала, наполненное чёрной пылью. Тяжела та пыль – тяжелее воды.

Тут снова Кирилл явился, только на этот раз бледный да худой, в грязной рваной шинели, в обмотках. Стоит, пить просит. Опустила четвёртый раз ведро в колодец, вытащила, а оно порожнее, тяжелее самого полного.

Проснулась Милица, когда совсем рассвело, и первым делом к колодцу.

Зачерпнула полное ведро, вытянула, отпила глоток.

Прежняя вода в колодце – студёная – до ломоты в челе, и мягкая, пьёшь – напиться не можешь.

Возвращаясь, заметила: куст колючий на пригорке сплошь ягодами усыпан. Недавно цвёл диковинными бело-розовыми цветами, лепестки ронял, а теперь ягода пошла ясная, одна краше другой. Ещё немного – нальётся цветом и солнца напьётся – и можно срывать.

Шипшина... шептал кто-то рядом шипшина...

Сняла платок Милица.

Ветер прикоснулся к коротко остриженным волосам, словно дыхание чьё-то тёплое висок согрело.

Шипшина... шептались листья и трава, шипшина... голос далёкий проснулся и подхватил: шипшина, шипшина, шипшина...

И вот уже совсем близко – летним дождём льётся знакомая с детства песня...

Полетів би-м на край світа,

Як вітер, що в полі літа, гей,

В гамерицький край.

Лем жаль ми тя, моя хижо...

Лем жаль ми тя, моя хижо

Солом'яна, жаль

Солом'яна, жаль...



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

БЕЛАЯ ЗВЕЗДА

Белая звезда летела за поездом.

Милица закрывала глаза и видела её – далёкую, летящую, кочующую; вспоминала, как дед Бажан рассказывал про Чумацкий Шлях и Стожары, про Белую путеводную звезду, указывающую путь домой. Пока летит над тобой Белая звезда – есть надежда, что дорога, какой бы долгой и трудной она не была, приведёт к дому.

Милица открывала глаза – звезда исчезала. Чёрный потолок вагона-теплушки, последнего в длинной веренице таких же вагонов, третьи сутки раскачивала невидимая длань.

На полустанках и безымянных разъездах поезд притормаживал, давал гудок и вновь набирал скорость, останавливаясь лишь на больших – узловых – целевых станциях.

Ни окошечка в чёрных вагонах-колыбелях, ни щёлочки.

Влажно от человеческого дыхания, тесно.

Вглядываясь в восковое лицо Катерины, в исхудавшие девичьи личики, Милица прислушивалась, ловила живое, тающее тепло выдоха, успокаивалась и закрывала глаза, и тотчас же выплывала из беспроядной тьмы кочующая звезда.

– Не спишь?

Шёпот Катерины тонул во влажной качающейся тесноте.

– Не сплю.

– Мы, верно, по родным местам едем? Задремала – явилось яблоко. Спелое, огромное. Так медленно, так долго падало... Страшно стало, когда поняла, что это. Руки подставила, уже зная. Не удержала. Руки обожгло. Сад чёрным стал – как после пахоты под зиму. Ни деревьев, ни кустов – голь-земля, вывороченная наизнанку. Наш сад, матушка Милица. И не помочь ничем. Что же это, а? Неужто, нельзя нам в родные места?

– Говорят, нельзя.

– Да разве ж мы по своей воле в лагере очутились, разве виноваты, что так...

Катерина заплакала.

– Поплачь, Катя. И поспи. Полюшка с Олюшкой вон как крепко спят. И Лесюшка с ними. Где ещё сил набираться, как не во сне. Поспи.

– Я что думаю, матушка Милица... Хорошо, что удержала ты меня от дурости бабьей. Не было б сейчас у нас памятки-мизинки – не было б Лесюшки. Если бы не ты – то и меня б на свете давно уже не было. И хозяйку хутора нам бог послал только по твоей милости. А иначе... Сгинули б в душегубке лагерной.

Катерина умолкла.

К паровозному дыму применялся сладковатый липкий смрад салотопки. Проступило со дна далёкого страшного дня рыхлое бабье лицо с красными веками, белёсыми бровями и ресницами, с рыбьими водянистыми глазами. Стоячая мутная вода глаз ожила при виде камешка-глазка на гребне. Но не только гребень приглянулся богатой хозяйке хутора, видела, кого в батраки берёт.

Да, вот поди ж ты, строптивая русская попалась: со всем выводком пришлось взять.

Рот лишний. Правда, к нему – три пары рук работающих, ловких, сильных. И пожилая строптивница, вроде, в силе ещё. Зубы все целы. Тело крепкое, жилистое – как у лошади. А вот неё, у Анне – половина зубов осталась. И это несмотря на то, что ей ещё и сорока не исполнилось. Ежели эта пьяница Лота, надзирательница лагерная, не соврала, то русская знахарка отца на ноги поставит и родню подлечит. А там видно будет.

Длинный чёрный день распался на шорохи, шёпот, крики, выстрелы, лай собак...

Были рассветы и закаты, были дни солнечные и пасмурные, дождливые и сухие, ветреные и тихие. Но ничего этого будто и не было – был только один нескончаемый день, похожий на ночь, в которой кочующая Белая звезда печально смотрела с чужого неба на чужую землю и домой не звала.

ЛУННИЦА

Катерина сквозь дремотную ленную тяжесть шепнула:

– А может живой, Паша-то?



– Ждать надобно, Катя. Знак тебе будет, если жив.

– А если нет?

– И если нет, будет.

– Помню, как прощения просил. После ночи той свет во мне появился, живой, тёплый. Полюшку носила – будто перышко. Олюшку тяжелее – голодно было. А Лесюшку – словно свечу. Ни голода, ни холода не чувала – так она, голубка, согревала, что казалось, не я – она меня носит, над землёй подымает. И сейчас, вспоминаю – легко да светло делается.

Тем летом к тётке Килине приехала племянница Дарья – горделивая, насмешливая девка-казачка откуда-то с Дона. Та же Дарья, что и в прошлое лето, да не та.

– Не иначе анчутка в девку вселился, – причитала тётка Килина и всё грозилась смутьянку-хороводницу пешком в родную станицу отправить – никакого сладу с ней не было.

Поведёт бровью соболиной, косу чёрную, как смоль, с покатога плеча на высокую грудь перебросит, взглядом карим опалит – погиб встречный. Много парней вокруг да около вилось-увивалось. Уж как ухаживали да улещивали, но ни на кого не смотрела Дарья так, как на Павла.

Шла к Бажанову ключу по воду, улыбалась всем – от мала до велика: зубы, что скатный жемчуг, уста – малина. Завидит Павла – шаг копячим делается, взгляд карий золотым огнём полыхает, голос – что твой бархат.

– Разлучница, – шептались вслед девки да бабы, – от жены законной увела, ни деток малых не пожалела, ни людей не постыдилась. Да и то видно, что не стыдлива девка-то, где Катерине с нею тягаться: кровь горячая казачья, тело гибкое, до ласк охочее, лёгкое да податливое. Оплетёт такая – будто оме-ла – не выпутается мужик живым, ни за что не выпутается.

Ночью проснулась Милица от шороха.

Вышла на крыльцо – тенью зыбкой на ветру – Катерина. Бледная, холодная, как погасшая свеча, только глаза тлеют сухо, недобро.

– Теряю я Пащу. Не по глоточку отпивает разлучница счастье моё, взахлёб – залпом пьёт да в глаза усмехается. Приворожи, ты всё можешь...

– Пойдём-ка в избу, что тут...

Билось под тонкой сорочкой бедное, измученное сердце, лились горькие слёзы.

– Приворожить, Катя, легко. Жить-то как будете после?

– Как раньше: в любви, в ладу, в согласии.

Целовала руки горячими губами, мокрой от слёз щекой прижималась.

– Нельзя, Катя.

– Не стану жить без него. Дитя вытраваю и сама...

Не то ветер в пустоши прошелестел, не то выпь рассмеялась на болоте.

Вздрогнула новая жизнь, замерла, притихла под сердцем.

– Молчи. То-то гляжу, наливаешься соком – как яблоко перед Спасом. Молчи... Какой срок?

– Тринадцать недель. Темно внутри, матушка Милица.

– Четыре полных луны. Горькая головушка...

Милица сняла с куклы-мотанки маленькую подвеску, напоминающую лунный серп.

– Надевай.

– Так ведь крестик на мне.

– На него и надевай. И от чужих глаз храни.

– Так приворожишь... – робко, без особой надежды в голосе, взглянула.

– Нет.

– Я утоплюсь, – прошептала чуть слышно Катерина и лишилась чувств.

До рассвета Милица варила два зелья. Для Катерины – мысли чёрные и след их стереть. Для горячей красавицы Дарьи – отворотное – любовный пыл остудить.

Солнце ещё не взошло, а она уже шла по следу полюбowników – к заброшенному дому на другом краю посёлка. Любжа вершилась. Шелестел шёпот, смешанный с тихим перезвоном, с жарким дыханием.

Виделись Милице серебряные браслеты на тонких смуглых руках, монисто коралловое да два креста натуральных – маленький, женский, и побольше – мужской, сплетённых в один.

Вылила на растрескавшийся приступок горячее зелье, остатки разбрызгала на четыре стороны света,



шепча отворот. Постояла, пока зелье парить перестало, увидела, как расплетаются два нательных креста и пошла домой, где под защитой двурогой маленькой лунницы крепким сном спала Катерина.

С той ночи Дарью словно подменили. Ни золотого огня в карем взгляде, ни жаркого шёпота на влажных устах. Проходила мимо – голову опускала низко – не звала за собой гибким горячим, охочим до ласк, податливым телом.

– Свят-свят... неужто опомнилась девка, – шептала тётка Килина и творила вслед притихшей Дарье крестное знамение.

Через неделю Дарья уехала, не оставшись до Спаса, как хотела прежде.

Спустя полгода Катерина родила девочку. Олесей назвали. Лесюшкой. Не было отца счастливее Павла. У доченьки-мизинки глаза – синь-бирюза, волосы – свет-лён под луной, а линия жизни стекала с ладошки на запястье, в золотое родимое пятнышко – не то в лодочку, не то в месяц молодой, не то в двурогую лунницу.

И ИМЯ ЕМУ – ВОЙНА

Чёрный вагон-теплушка раскачивался на рельсах, сливаясь с другими вагонами в зыбкую вереницу, в нескончаемую живую колыбель.

На станциях и полустанках зажигались керосиновые фонари – электричества нигде не было.

Казалось, мир поглотила тьма.

Высоко-высоко – в ночном небе – светила кочующая звезда, светила над обугленной, опустошённой, поруганной русской землёй, над руинами городов, над сиротливо торчащими печными трубами сёл и деревень.

Милица за всю дорогу слезинки не обронила, только руки её дрожали да взгляд вспыхивал синим огнём.

– Смотри, – шептала она, в который раз, прижав к себе Катерину, – смотри, Катя, что они сделали с нашей землёй.

И в который раз повторяла:

– Не горюй, вернёмся на родную землю – и земля воскреснет, оживёт.

– Оживёт, – вздыхала засыпающая Катерина.

– Оживёт, – крестились женщины и закрывали глаза, чувствуя, как где-то в самой глубине их измученных, истрадававшихся сердец, разгорается тихий свет надежды.

– Оживёт, – подмигивала Белая звезда над чёрной вереницей-колыбелью.

В перестук вагонных колёс влетался далёкий женский голос и успокаивал, убаюкивал, навевая короткие цветные сны.

Лем жаль мі вас, мої верхи,

Лем жаль мі вас, мої верхи,

Зеленій, жаль...

Она варила картофель в мундирах и выносила за огороды, на просёлочную дорогу, по которой отступали русские солдаты.

Грязные, оборванные, голодные.

Ели картошку на ходу, в кожуре. Прятали взгляды. Избегали смотреть в глаза, словно чувствовали за собой вину.

Не успевала осесть пыль, как с другой стороны дороги в посёлок врывались немецкие солдаты на мотоциклах, со страшным рёвом и криками.

Наглые, уверенные, сытые.

Заходили в избы и требовали молоко, яйца, сало, хлеб.

Это снилось так часто, что она перестала различать явь и сон. Всё стало явью и всё казалось жутким бесконечным сном: солдатские лица, гарь, грязь, кровь, крики и стоны раненых, автоматные очереди, клубы пыли от немецких мотоциклов на дороге, разрывающие душу звуки губных гармоник – под них вырубали палисадники и сады, под них засыпали землёй Бажанов ключ.

Наяву опускала ведро в колодец и слышала глухой стук – пустое ведро ударялось о сухую мёртвую землю. Во сне всё повторялось.

И не проснуться.

Вагон качнуло.

Поезд остановился на полуразрушенной станции.

Белая звезда замерла и растаяла в утреннем небе.

– Что за место?

Путевой обходчик, размахивая керосиновым фонарём, прохрипел:

– Город Фурманов.

– А раньше?

– Город Серeda.

Пока шла переключка, душа Милицы летела по сумрачным рассветным улочкам, отыскивая ту, которая вела на старое кладбище, где на могильном холмике плакал светлыми слезами свежеструганный крест и рушник белел, Катериной расшитый: чёрные гребёночки с красными чередуются – в три ряда, чёрные по краям – красные в середине; и под рушником чернела надпись на смолистой влажной доске: Иванцов Пётр Михайлович.

– Кирилл...

Потерялась душа на пустых улочках, испугавшись собственного крика.

Никто не обернулся.

Взгляд одиноко стоящей женщины в чёрном, низко повязанном платке, качнулся совсем близко. По-всёло лавандой и воском.

– Вам плохо?

– Голова закружилась.

Катерина испуганная, бледная, с плачущими девочками, вынырнула откуда-то из безликой толпы, за руку схватила:

– Матушка Милица... Не помирай.

– Голова закружилась, Катя. Поживу ещё, дел полно.

Женщина в чёрном платке протянула маленький свёрток.

– Сына я встречаю. Хлеб ему приношу. Но он и сегодня не приехал. А вы берите, ешьте. Голова кружится от любви и от голода.

– Как сына зовут?

– Это не тот поезд.

– Не тот поезд? – переспросила Катерина, но женщина уже ушла.

– Учительница тутOSHня, – пояснил обходчик. – Как похоронку на сына получила в сорок втором, так умом тронулась. Каждое утро поезда встречает. Он, вишь, в письме как-то написал, что вернусь, мол, мама, на рассвете. Встречай. Вот она и встречает. Ждёт до темноты и уходит. Игнатушкой парня звали, рослый был, добрый.

– А с хлебом-то что делать?

– Она всех здесь подкармливает. Смело ешьте.

Катерина разделила хлеб поровну. Крошки на ладони поднесла к растрескавшимся губам, пытаясь отыскать взглядом незнакомую женщину в чёрном платке.

Женщина шла по перрону, останавливалась, выглядывала сына из-под ладони.

Потерялся сын среди множества людей на перроне, людей разных, старых и молодых, весёлых и печальных, живых – истощённых, ослабленных, с лихорадочно горящими глазами, взглядами, полными слёз, надежды и ненависти.

И не было тому перрону ни конца – ни края, и имя ему – война.

УГОЩЕНИЕ

Из барака вышла старушка и присела на скамейку у входа.

– Хоть подышу, пока варятся грибочки. Одним запахом сыта буду. Говорят, что нам, как бывшим узникам немецких концлагерей, нельзя возвращаться домой вплоть до окончания войны. Почему? Дома-то у меня как хорошо, если бы вы только знали, дорогая Милица. Вот так – прямо перед окнами – палисадник, а в нём цветы с ранней весны цветут и до первых заморозков, до первого снега. Тюльпаны, астры, лилии, георгины, флоксы... золотые шары на длинных стебельках раскачиваются, и сиреневый цвет осыпается и смешивается с черёмуховым. А окна широкие – в резных наличниках – будто в кружевное



Супруг мой покойный, мастер был – золотые руки. Не изба – ларец резной да расписной. Что крылечко, что сени, что горенка. Дорогая Милица, видели бы вы нашу избу! И внутри – красота: наволочки гладью вышиты, да с прошивой, да с мережкой, подзор на кровати кружевной – легче воздуха – сама вязала. Обещайте, что приедете в гости. Обещаете?

Грибной дух плыл над улицей.

Милица варила грибы на костре, в большом котелке, помешивала ароматное варево и обещала. Не хотелось отвечать старенькой, что не осталось ничего ни от избы-игрушечки с окнами в резных наличниках, ни от палисадника с золотыми шарами, астрами, георгинами да сиренью. Всё выжгли супостаты. Всё уничтожили.

– Знать бы, когда домой... Не слышали, скоро ли?

– Кто знает, – отвечала Милица и помешивала ароматное варево, помешивала. – Вернёмся когда-нибудь, не всё же нам бедовать. Несите-ка миску, Анна Александровна, грибами угощу. Только не сразу – по два-три грибочка ешьте, да с хлебушком вприкуску, всё сытнее будет.

– Редкой вы души человек, дорогая Милица, – старенькая осторожно взяла миску с дымищимися грибами и медленно опустилась на скамейку.

– Матушка Милица, Женечка захворал. Придётся к нам?

Наталя, молодая красивая вдова с маленьким сыном, спасённым от верной смерти в лагере, жила неподалёку и работала с Катериной и Полюшкой.

– Приду.

Жизнь чем-то напоминала прежнюю, словно и не было войны, голода, лагерной баланды, тифозного барака, из которого она вытащила беременную Наталью, и не только вытащила, а и спасла от верной смерти её и ребёночка, родившегося раньше положенного срока и выжившего. Словно и не выедал душу тяжёлый дым салотопок, оседавший густым слоем на землю, не слышалась тут и там чужая речь – отрывистая – немецкая и тягучая, распевная – эстонская. Словно и не было рыбьих глаз хозяйки хутора, с большой неохотой согласившейся взять их всех – с маленькой Лесей, в обмен на обещание Милицы, поставить на ноги её больного отца да на зелёный глазок-камушек в черепаховом грёбне.

– Вы сами откуда родом, матушка Милица? Катерина говорила, что издалека – не из наших мест. Уж больно выговор красивый, не нашенский.

Наталя держала маленького Женю на руках, уснувшего впервые за две ночи после травяного отвара, которым напоила его Милица.

– Есть маленький посёлок в Карпатских горах. Там, где три горы сходятся и сойтись не могут. Одна гора – Близнаца, вторая – Петрос. А третью забыла... дед Бажан рассказывал, дедушка мой. Речка там – с трёх гор ручьи сбегают – в один широкий сходятся. Он говорил, что горы эти живые – как люди, сходятся они и никак не сойдутся, и только слёзы их сливаются в одну реку.

– Я и названий таких не слышала.

Она протянула Милице половинку серого хлеба, испечённого пополам с отрубями.

– Не лишнее в доме, поди. В городе-то голодно и дороговизна – буханка хлеба на базаре сто пятьдесят рублей стоит – не купишь. Приходи, отсыплю ягоды сушёной – будешь заваривать себе и сыночку.

– Спасаемся картошкой да хлебом по карточкам. О том, чтобы покупать и речи быть не может. Да и дома давно уже не печём – не из чего. А вчера испекла – отрубей удалось выменять немного. Возьмите, матушка Милица. Нам с Женечкой хватит. Я вот ещё что спросить хотела. Вижу – на кладбище здешнее ходите. Похоронен кто из знакомых, или родных?

– Не могу отыскать могилку. Скоро уж двадцать лет, как схоронили. Запомнила сторожку неподалёку. И ворота, вроде, с другой стороны были. Тропинка к ним вела. Теперь там ограда.

– Старца Илию надо спросить. Ему все знакомы: и кто умер и кто жив. Он людей не разделяет на умерших и живых. Говорит, что человек длится столько, сколько помнят о нём и его деяниях. А ещё говорит, что и среди живых мертвяков не раз встречал.

– Прав старец твой. Кого худым словом помянут, кого добрым, а иного и вовсе забудут. А ещё человек длится в детях. Ты вот, в Женьке будешь жить.

– Кто знает, – поправила непослушную русую прядь Наталя, – Женька на моего отца больше похож... Так я спрошу, когда можно прийти к старцу.

– Сделай милость. Скажи-ка, учительницу, что на станцию ходит сына погибшего встречать, знаешь ли?

– Кто ж её не знает. Она здесь, возле белой церкви живёт, неподалёку.



– Что за церковь такая, белая...?

– Старая церковь здешняя, деревянная. Есть ещё новая скорбищенская – та из красного кирпича, а старую – белой зовут, чтоб различать. Если хотите, отведу к Марье Сергеевне. Это моя первая учительница.

– Благодарна буду, – Милица заторопилась – пора мне. А за ягодой зайди, не стесняйся.

У входа в барак на лавочке сидела соседка.

– Что ж, не отвели варено, Анна Александровна?

Спрашивала и уже знала, что ответа не будет – старенькая умерла во сне, так и не дождавшись, пока остынет угощение.

СТАРЕЦ ИЛИЯ

Стайка воробьёв высыпалась из-под застрехи – будто только и ждали погожего дня.

И мороз им нипочём – купаются в рыхлом снегу, гадают наперебой, весну кличут. Солнце молодое, ярое, припекало сильнее с каждым днём, краснотал у дороги серебристый пух выбросил, а всё не отпустили землю холода, не давали вольно вздохнуть.

С самой осени собиралась Милица навеститься к старцу, да всё недосуг было. То Олюшка хворала, то Катерина, то дела домашние захватывали. Перед Масленой пришла к покосившейся избушке, вросшей в землю по самое оконце, постучала трижды и, услышав голос, вошла.

Старик сидел на лежанке у печки и смотрел куда-то вверх притолоки. Незрячий.

Она поставила на колченогий деревянный стол немудрёное угощение – блины из картошки, смешанной с рогольником.

– Что там?

– Блины. Масленая неделя завтра начинается.

– Выговор нездешний. Зачем пожаловала?

– В двадцать восьмом году на здешнем старом кладбище схоронили Иванцова Петра Михайловича. Говорят, ты всех здесь знаешь, и кто жив и кто помер. Может, и мне поможешь могилу его сыскать.

– Пришлая...

– Узники мы бывшие. Освободили нас, пока здесь живём.

– Трудно-чай, живётся, голодно да холодно?

– Так ведь на родной земле, не на чужбине. Весны вот дождались. А там, глядишь, домой. А тебя раньше не Никодимом звали, старче? Неужто, не признал меня?

– Нет больше Никодима. Есть старец Илия. Не сомневайся – с закрытыми глазами ту могилу найду.

– Не сомневаюсь. Дойдёшь ли? Ждать надобно, пока снег сойдёт.

– Снег нынче долго будет лежать. Ждать более не могу. Зажился я, Милица, на свете. Уморился.

Они шли по оттаявшей тропинке в рыхлом снегу, освещенном под лучами пробуждающегося солнца. Шли к кладбищенскому забору, к тому месту, где раньше были ворота, а теперь росла рябина. Кто-то повязал на рябину кусок холста, приметил дерево.

От ветров, дождей, снегопадов да солнца, холст истончился, истлел. Сквозь прорехи проросли молодые рябиновые ветки.

– Видишь холстину на рябине?

– Вижу.

– Напротив – в заборе – калитка. Толкай сильнее. Иди, не сворачивая. Дойдёшь до могилы с камнем, на котором написано: Евдокимов, остановись, посмотри направо – на ближнем пригорочке лежит твой Кирилл.

Милица толкнула неприметную серую калитку и пошла по нетронутому кладбищенскому снегу. Уже от забора она увидела серый камень и пригорочек. Снега на нём было мало, чернели проталины, на одной из которых Милица увидела сон-траву. Придерживая рукой влажный прохладный стебель, она осторожно выпростала два листика и корешок, и только теперь увидела, что вырос цветок из полустлеванного креста.

Вспомнилось Избужье и дед Бажан, мастеровивший крышу колодца, пока она маленькая, носила из лесу цветы и пересаживала их в палисадник.

– Не приживутся, – шептались люди.

А цветы – как один – прижились, цвели всю весну, лето и всю осень – до первого снега.



Милица запоминала приметы, чтобы вернуться сюда с Катериной. Рябиновая ветка, проросшая сквозь холст, сон-трава, проросшая из креста. Повсюду он – Кирилл – давно ставший землей, воздухом, снегом, укравшим могилы, сон-травой, проснувшейся не ко времени – маленьким смелым цветком, пахнущим влажной весенней землей. Прижала к груди спящий цветок, держа в горсти земляной ком с остатками древесины, оплетённый корневищем.

– Приживётся, – повторяла и шла к сгорбленной фигуре, чернеющей на снегу, – приживётся.

– Приживётся, – качнул седой головой старец и, опираясь на клюку, отправился в обратный путь и за всю дорогу не проронил ни слова.

Только у своей избы остановился, повернулся и перекрестил Милицу.

– Чтобы подняла Избужье, выпестовала – как младенца хворого мать пестует да лелеет. Чтобы вода в ключе Бажановом появилась. Благословение моё на то...

– Из пепла, говоришь... Что ж, надо будет, и из пепла подыдем и выпестуем. Только бы на родную землю вернуться. Спросить ещё хотела... Илья нашёл тебя?

– Нашёл.

– Где он?

– Под Курском. В братской могиле. Я теперь Илия... Свой век дожил, теперь вот его доживаю. Ну, прощай, Милица. Долг платежом, говорят, красен. Все долги роздал я нынче. Можно и откланяться. А ты, как воротиться, церковке поклонись.

– Да цела ли та церковка...

– Коли то место, где алтарь стоял цело – то и церковь цела.

Наутро звонница колокольная ожила рано, но не к заутрене звонили, иначе.

– Случилось что, – выглянула в окно Катерина, спрашивая идущую мимо женщину.

– Старец Илия преставился. Святой человек жил средь нас...

Женщина перекрестилась и пошла дальше.

Милица прикрыла ладонью огарок свечи, зажжённой с полуночи, и в сером рассветном небе увидела промельк чистой горней лазури.

СЛОВО

Яблоня раскололась надвое, словно кто тонкой нитью ствол взрезал – аккурат посередине. Половинка легла на запад – половинка на восток. Яблоки с одной половинки побились, почернели враз, будто кто сапогами прошёлся, а с другой стороны остались целёхоньки.

– Лихо идёт... Большое лихо. Беда.

– Что ты, Катя? Яблоня старая, да и яблочко сколько уродило нынче. Не выдержала, вот и надломилась.

Утишила Милица тревогу, убаюкивала, а сама будто в омут – на самое дно – заглядывала и видела беду.

В лагерном бараке и на дальнем хуторе Катерина часто вспоминала бедняжку-яблоню и шептала: жизнь наша раскололась. Не срастить, не соединить.

– Будет тебе. Случается, что из старого корня молодые побеги в рост идут.

– Как бы я сейчас яблочко с той яблоньки съела... Здешние-то и не пахнут яблоком, пахнут больницей. Хоть и красивые, сочные, с румяными бочками – как с картинки. Вчера ветки подвязывала, три падалицы подобрала – Анне разрешила себе взять. Подобрала она с тех пор, как ты деда вылечила. А так... Не было бы нас, верно, уже.

– Подобрала, – согласилась Милица.

Кто сказал пьянчужке-надзирательнице, что Милица – знахарка, неизвестно.

Но после того как Милица спасла роженицу и её ребёночка, приехала с дальнего хутора пышная белёлая женщина. Отец зажиточной хуторянки тяжело болел, лежал, не вставая.

– Вылечишь – возьму на хутор батрачкой. С детьми возьму. Здесь останутся – верная погибель. А на хуторе – выживут.

– Всех возьмёшь – вылечу.

Сказала – как отрезала. И Анне согласилась, поставив только одно условие: Катерина и младшая Леся будут в сараюшке за домом. Милица на кухне. А Полюшка с Олюшкой – в большом сарае – с другими батраками.

Через месяц больной пошевелил пальцами. Через два – спустил обе ноги с лежанки и сделал первый шаг.



Недоброе чувствовала Милица во взгляде хозяйки. Так таится на дне души застарелая злоба. Так зреет умысел нехороший.

Вытерев насухо тонкие, ещё слабые ноги деда, после очередной травяной ванны, Милица прошла через кухню на хозяйскую половину.

– Что ты делаешь здесь... – крикнула Анне, словно поджидавшая её в тёмной комнате с низкими потолками. – Что отец, ходит уже?

– Будет ходить. Но коли слова не сдержишь – сляжет.

– Какое слово?

– Всё ты знаешь. А я про твои мысли всё знаю.

Обмякла пышнотелая Анне, заплакала.

Отец её вскоре ходил по хутору самостоятельно, опираясь на берёзовую клюку – не обманула русская знахарка из лагеря, слово сдержала.

И Анне пришлось слово держать: не отправлять младшую девочку в лагерь – работница из неё никакая – рог лишний, пускай и детский.

Подобрела же она, когда всё чаще и ближе стала слышаться по ночам канонада.

Армия-освободительница приближалась.

ПЕРВЫЙ БЛИН КОМАМ

На толстой чугунной сковороде золотились блины.

Картошка пополам с мукой из рогульника вместо давно забытой пшеничной муки.

Но что за Масленая без блинов.

Рогульник – чёртов орех – собрали ещё осенью. Олюшка с Полюшкой набрали на старицу, поросшую осокой. Местами там ещё встречались небольшие озёрца с мутноватой тёмной водой, поверх которой были словно рассыпаны чёрные рогатые орехи.

– Рогульник, – всплеснула руками Полюшка, а Олюшка недоверчиво покосилась на странные закорючки.

– На что они нам... На чертенят похожи.

– Бабушка высушит, муку смелет и хлеб испечёт. Вкусный.

Полюшка вытянула длинные тонкие стебли с рогатыми орешками.

– Первый блин... – Милица сняла со сковородки золотистый румяный кругляш.

– Комам, – в один голос ответили Полюшка с Олюшкой, знакомой с детства присказкой. Катерина, уложив косу вокруг головы, стояла у маленького осколка зеркала, вмазанного в грубу.

– Что ты, Катя?

– Источник новый наш, не признаёт – всё заглядывает да заигрывает. На Полюшку смотрит, а меня не признаёт.

– Катя... Вспомни-ка, родная, как в этот день вы с Павлом на блины пришли.

– Помню, – встрепенулась Катерина и лицо её, потемневшее от переживаний и бед, словно изнутри осветилось.

– Сколько лет минуло с того дня, вспомни. Тебе нынче – тридцать три, а Павлу все сорок.

– И правда, – взгляд Катерины прояснился, словно туман рассеялся. – Что ж это я, совсем из ума выжила, выходит. Парню-то этому – его тоже Павлом кличут – от силы лет двадцать пять. Выжила из ума баба.

– Мне отец твой до сих пор видится. Доля такая наша.

– Доля, – согласилась Катерина, – проклятущая бабья доля.

– Нет, Катя. Не проклятущая. На детей смотри, радуйся – в них Павел возвращается. Внуки пойдут – его кровиночки. Проклятущая, это когда ни единой родной души на свете.

– Как у Марьи...

– Как у неё.

– Всё ходит, поезда встречает, с людьми разговаривает. А то сама с собой – будто безумная. Неужто, ей ничем не помочь?

– Смерть может ей помочь, коли сжалится.

– Разве смерть может пожалеть душу живую?

– Когда жизнь не в силах, смерть может всё.



Стук в дощатую хлипкую дверь барака прервал тягостный разговор.

– Катя, магушка Милица, это я – Наталья. Марья Сергеевна померла ночью.

Катерина испуганно перекрестилась.

– Ну вот, накликали.

– Всё в своё время происходит, Катя. И смерть за Марьей пришла в своё время. Спасла её.

– От чего спасла, – Наталья услышала конец фразы.

– От жизни. От того, что Марья её себе не укоротила.

– И ещё новость одна... говорят, что вам домой разрешили вернуться.

Наталья присела на низенький табурет у двери и расплакалась.

– Что ж ты... Новость-то радостная, – Милица подошла с блюдцем, на котором дышали теплом золотистые солнышки-блины. – С Масленой, Наташа, возьми вот, Женечку угостишь. Садись к столу чай пить.

– Как же мы без вас... Вы нам как родные стали.

– А ты давай, с нами, – не раздумывая, ответила Катерина. – Места хватит. Кто у тебя здесь из родни?

– Мать Сергея... да не знаем, не признаёт она нас за родню. Мы с Серёжей не венчаны, вот она и не хочет. Нагуляла, говорит, ублюдка – сама расти.

– Места хватит, – повторила Милица, задумчиво глядя куда-то, не то в прошлое, не то в будущее.

Цветок сон-травы, спящий на подоконнике в крынке, с выщербленным краем, почуял её взгляд и приоткрыл бархатные листки-ладони.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

До войны в Избушке было три улицы, и каждая звалась по-своему.

С давних лет селились тут пришлые люди из-под Буга, и все знали, что если жил на улице Советской Сергей Петрович Бондарев, то это не кто иной, как Серёга Бондарь с Большака, сын того самого бондаря – Петра Емельяныча, известного своими бочками на всю округу. Ремесло от отца сыну передалось, да применить его не случилось.

Вспоминали о Василе Саввиче Бортникове с улицы Ленина, зная, что лучшего бортника во всём уезде не сыщешь – этим и славился Василь Саввич – дед Пекунок с Малых Мосточков. Часто случалось, что из самой Москвы люди приезжали. К нему – за мёдом да воском, к жене его – Глафире Петровне – за кружевом. Глаз было не отвести от неба снежно-белого, по которому дивные птицедевы Алконосты летели из сада Ирия на остров Буян – к Белому камню – гнёзда вить да итенцов высиживать. Знали: бабка Пекуниха кружево то сплела, и пока сплеталось кружево, тихая да ясная погода стояла.

Когда говорили о Князевых с улицы Комсомольской, то Романа вспоминали с Больших Мосточков и отца его, а чаще – деда Арсения, который вольную из рук князя получил, а в придачу к вольной – земли две десятины и двадцать целковых – задолго до отмены крепостничества. Но князевыми людьми потомки его так и остались, и никто уже не вспоминал, что настоящая фамилия деда Арсения была другая, и в метрике писарь вывел: Князев, а в скобках едва заметно: Иванцов.

Судьба так распорядилась, что упокоился потомок Арсения под той самой фамилией, что носил его вольный предок.

Была ещё одна улица в посёлке – самая длинная. Вела она к лесу и избы на ней лишь одесную – по правую сторону строились. По левую сторону речка Ошуйка текла. Часть улицы, уходящая в низину, Городком звалась. В низине семь курганов стояло, и никто не мог вспомнить, когда они здесь появились, кем насыпаны. Приезжали учёные люди, копали макушки курганов, черепки разные да камушки остренькие находили и сказывали, что древние поселенцы этого места в курганах пращуров своих хоронили. Середина улицы Даниловой десницей звалась, а самая высокая часть, с пригорочком, за которым начинался лес, и на котором колодец вырыл дед Бажан, звалась Кулижьей пустошью или Кулигой. Уже перед войной кто-то назвал Кулижьё пустошь Бажановой.

Из полтораста здешних подворий уцелело два: изба деда Бажана да землянка деда и бабки Пекунишек.

На месте остальных изб стояли обугленные печные остовы, кругом – ни кусточка, ни былиночки – пожарища, зола да головни.

Как уцелела изба Бажана, непонятно. Видно боялись полиция и немецкие солдаты этого места, два-три несчастных случая отводили их от избы. Сад вырубил, всё же, и частокол сожгли. Сама изба стояла нетронутая, с заколоченными окнами.



Колодец засыпали землёй.

Вспомнился Милице давний сон, в котором она в колодец заглядывала и опускала ведро до самого дна и три раза вытаскивала, наполненное чёрной пылью. Тяжела была та пыль – во много раз тяжелее воды.

И только потом стал понятен вещей сон: пыль была дорожною. Одно ведро – дорога из дому, в землю чужую. Второе ведро – дорога из земли чужой, да не в родной дом. И третье... самая тяжёлая, самая долгожданная и длинная – дорога домой.

– Как жить станем, матушка Милица... Пепелище кругом. Воды нет. Деревьев нет. Земли – и той нет, одна зола.

– Изба есть. Руки-ноги есть. Будем землю-мать пестовать. А она нам за то сторицей воздаст. Весной вернулись... Значит, сеять будем, а к осени уродит земля – с хлебушком зимовать будем. Воду пока из речки брать будем.

Полюшка и Павел, поехавший в Избужье за черноглазой смешливой егозой, чистили колодец.

Наталья прибиралась в избе, Женечка возился с чурочками на крыльчке.

В расчищенную от сухих веток и золы землю, под окнами, Милица высадила сон-траву. Цветок словно того и ждал. Первые струйки воды стекли с мохнатых крепких стебельков и листьев, цветок выпрямился, приоткрылся.

А на том месте, где старая яблоня росла, из корневища старого молодой побег показался, тоненький робкий, с маленькими буторками-почками.

В избе запахло свежей известью и влажным распаренным деревом. Печь была подмазана и побелена, полы выскоблены голиком до желтой восковой чистоты. Стены и потолок Наталья обмела, а Милица окурила избу польнным дымом – связки сухой полыни и шалфея пересохли, покрылись паутиной и пылью, но висели на том же месте, где она их развесила.

Прикоснулась к печурке, выдвинула нижний, неплотно прилегающий кирпич. Там когда-то был схрон: небольшая – с ладошку – пустота. Русская печь хранила множество тайн и сокровищ: полотняный мешочек с кольцами, детскую рубашечку, с вышитыми по подолу ладинцами-оберегами, двух кукол-мотанок...

Сейчас схрон был пуст. Милица заглянула наверх, где на краю печи всегда стояла берестяная зыбка-колыбелька, наполненная доверху сухим мхом – снадобьем от кашля и от долго не рубящихся ран.

Остатки пересохшего пыльного мха лежали с краю. Зыбку, платок и рубашечку она отдала Катерине, когда пришёл срок Лесюшке на свет появиться. Сгорела, видать, зыбка, вместе с новой избой, в которой до войны жила семья Катерины.

В соседней печурке сохранилась жестянка с истлевшими зёрнами пшеницы, перемешанными с рожью, овсом и просом.

И вдруг вздохнула изба с облегчением, словно тяжесть непосильная с плеч упала.

Милица постояла под матицей, ставшей за это время ещё темнее, вышла во двор.

От колодца, что-то крича и размахивая руками, бежала мокрая с головы до ног, счастливая Полюшка.

– Бабушка Милица, матушка – вода! Живой ключ Бажанов, живой!

Милица обняла внучку и на миг очутилась далеко – в доме, в котором родилась, и маму – красавицу Ярину увидела и отца, и деда Бажана. Сидят рядом на скамье под цветущими вишнями, говорят о чём-то, ей, Милице, улыбаются.

В эту ночь она не ложилась. Как рассвело, пошла к колодцу.

Зачерпнула полное ведро, вытянула, отпила глоток.

Прежняя вода в колодце: мягкая, студёная, пьётся – не напьётся.

Возвращаясь, заметила: куст колючий на пригорке разросся, в силу вошёл, цветёт рясно – дикивинными бело-розовыми цветами, лепестки роняет.

Ласковый голос из дальнего-дальнего детства прошелестел где-то рядом:

Лем жаль ми тя, моя хижо...

Лем жаль ми тя, моя хижо

Солом'яна, жаль

Солом'яна, жаль...

У крыльца темнела сторбленная фигура.

– Матушка-красавица, жива... А я думал – блазнится мне, старому.



Дед Кузьма плакал, размазывая слёзы по лицу, покрытому копотью и золой.

– Жива, дедушка. И ты жив.

– Есть у меня для тебя подарочек. Пошли со мной.

В землянке деда Пекунка, где обитал теперь его сосед и помощник дед Кузьма, пахло дымом и воском. Стол был закапан восковыми пятнами, лавка, земляной пол, печная груба, сложенная из обугленных кирпичей, перемазанных глиной.

Из дальнего угла дед вытащил дырявую холщовую наволочку.

Мелькнул золотистый тёмный луб, с выдавленными кругляшами на левой стороне... Колыбелька. А в ней свёрток: детская рубашечка, платок с вышитыми ладинцами-оберегами да кукла-мотанка... Одна. Вторую Лесюшка из рук не выпускала до тех пор, пока не уронила однажды, и грязный солдатский сапог не втоптал её в жирную лагерную грязь.

Рванулась, было, Лесюшка за куклой – прямо под ноги солдату да Милица удержала, иначе бы и её – Лесюшку – фашист втоптал бы в грязь без сожаления, словно тряпичную куклу.

– Золотой мой... – Милица упала на колени. – Да как же ты смог сохранить это? Вовек не забуду.

– Избу-то Катину сожгли. А зыбку – вишь – кто-то выкинул на улицу. И вещички там ещё разные...

Глафира, покойница, возьми и подбери. Тут вот медок вам, с вощиной – самый пользительный.

Дед Кузьма достал из жестянки чёрные камни.

– Старый медок, довоенный ещё... Вчера нашёл, думал, каменюки. Глядь – а то вощина затвердела, камнем сделалась. Так вот, они – Пекуннишки – строго-настрою мне наказали зыбку тебе передать.

– Дедушка, пойдём со мной. У нас поживёшь пока. Всё легче вместе-то... Что тебе одному бедовать?

– Марья тут моя. Не могу без неё ни здесь, ни там. Схорони меня к ней, Милица.

– Схороню. А всё же, поживи ещё... Ключ Бажанов ожил, вода пришла. Глядишь, и рой прилетит.

– Эх, – махнул рукой дед Кузьма и заплакал. – Откуда ж ему взяться, рою... Ни пчёлки, ни вошинки...

– Прилетит, дедушка. Ты верь.

Милица шла домой и покачивала в руках колыбельку, словно младенца баюкала. Спал младенец и видел во сне дом с растворённым окном. В окно заглядывала кочующая звезда. Цвёл шиповник диковинными бело-розовыми цветами, лепестки ронял.

Шипшина... шептал кто-то рядом шипшина...

Сняла платок Милица.

Утренний ветер прикоснулся к волосам, дыхание души согрело.

Голос родной прошелестел где-то совсем рядом.

Тёплым дождём, смывающим боль, грязь и пепел с возрождающейся земли, тихо лилась знакомая с детства песня...

Полетів би-м на край світа,

Як вітер, що в полі літа, гей,

В гамерицький край.

Лем жаль ми тя, моя хижо...

Лем жаль ми тя, моя хижо

Солом'яна, жаль

Солом'яна, жаль...

На крылечке, закутавшись в тёплый платок, сидела Катерина.

– Что не спишь, Катя?

– Матушка Милица, у Полюшки дитё будет. Всё возвращается, как ты говорила. Росток из корневища старой яблони проклюнулся. Вода в Бажанов ключ вернулась. Вчера на закате аист над колодецем кружил... Вот и я – считай – бабушка.

– Молодая бабушка. Значит, в добрый час колыбелька вернулась... Девочка родится.

– Это ж наша зыбка! Чудеса – да и только. И рубашечка цела...

– И платок. И кукла-мотанка. Остальное бабушки сошьют да свяжут.

– Молодая бабушка...

Милица присела рядом. – И бабушка старая. Чем плохо, когда у ребёнка две бабушки, старая и молодая. Будут люди сказывать: старую бабушку звали Милица, молодую – Екатерина.

ЕЛЕНА ЛАЗАРЕВА

ЯДЕРНЫЙ СНЕГ НА ТВОИХ ЛАДОНЯХ

ОБОЧИНА

Ты идёшь босиком по обочине жизни,
Собирая цветы на обочине смерти,
И немые глаза смотрят вверх с укоризной:
Ну, когда вы уже успокоитесь, черти?

И никто эту участь с тобой не разделит
В безвозмездно покинутых кем-то владеньях,
Словно боги уснули в холодных постелях,
Обживая чертоги своих сновидений.

И никто никого не попросит остаться,
Помогая бежать из уютного плена.
Одиночество – это всего лишь константа
В уравнении гибели сотен Вселенных.

Кто не знает любви – никогда не спасётся,
И не всякий, имеющий уши, услышит.
Но пока не погасло усталое солнце,
Будут войны – под видом заботы о ближних.

Будут войны – во имя кровавой победы.
Будут войны – за призрак желанного мира.
И куда удерёшь ты с несчастной планеты,
Обескровленной дрязгами дутых кумиров?

Есть ли смысл заливаться дурманящим пойлом,
Если пьянство едва ли ускорит развязку?
Ты корнями вращёшь в оскудевшее поле,
Чьи бесплодные почвы – зыбучи и вязки.

Нашей капсулой времени станут не книги –
Заменившие храмы торговые центры...
Потому бытие – ожидание мига
Не конца, а разрыва с гнетущей плацентой.

Но пока ты отсюда с почётом не изгнан,
И хозяин, проснувшись, тебя не заметил,
Без опаски иди по обочине жизни,
Пожиная плоды на обочине смерти.



ВРЕМЯ СПАТЬ

За окном – ноябрь, перманентный вечер
 Бархатистым пледом окутал плечи,
 Усыпляя мысли о том, что вечно –
 Но сейчас мучительно далеко.
 Наступает утро тебе на пятки,
 Ты со здравым смыслом играешь в прятки,
 Убеждая совесть – мол, всё в порядке,
 Лишь проходит жизнь, а кому легко?

И всплывает боль на поверхность пеной,
 И поддельный кофе течёт по венам,
 Чем торчать соринкой в глазу Вселенной –
 Не рождаться лучше бы вообще.
 Тупиковый мир – эшафот повстанцев,
 Состоящий сплошь из конечных станций.
 Он – как будто жертва небесных санкций,
 Пациент забывших о нём врачей.

Тот, кому уже ничего не надо –
 Поражён безверием каждый атом,
 А в мечтах: «Пришёл бы уже анатом,
 Взорвалось бы что-нибудь невзначай...»
 Отправляясь в путь, сознаёшь не сразу
 То, насколько тесно ты с миром связан,
 Но в тебя проникла его зараза,
 Культивируй – или не замечай.

Здесь реинкарнация – не для нервных,
 Хоть всего в избытке – и звёзд, и терний,
 Для кого-то ты – всё равно неверный,
 В ком-то зреет жажда тебя распять...
 Для чего-то каждый Всевышним избран,
 Кто-то – для победы идиотизма...
 ...Не забудьте выключить телевизор –
 Всё давно показано. Время – спать.

ОБЕРЕГ

Так бывает – в ушах звенит ледяная тишь.
 Словно катишься по наклонной – и вдруг летишь,
 Понимая: начинка будней – всего лишь пена.
 И становится неуютно в тени обид.
 Нам так мало даётся времени для любви –
 Мы же тратим его на то, что второстепенно.

Погружаюсь в нутро депрессии, будто в дым.
 Говорят, что поэту следует молодым
 Умереть – и тогда уж точно его услышат.
 Мне всегда находилось, что и кому сказать.
 Оберегом от зла явились твои глаза.
 Возмутились доброжелатели – мол, бесстыжий:



Революция не прельстила его огнём,
 Так давайте же запретим вспоминать о нём –
 Пусть кропает себе стихи на задворках жизни...
 Но моя королева дома ждала меня.
 Вместо штормы качалась рваная простыня.
 Я был предан тебе – и предан своей Отчизной.

Так бывает – когда нечаянно грянет гром,
 И расчётливый брат стучится в окно врагом...
 Я уже не сопьюсь, уже не собьюсь с дороги.
 Из приданого у меня – лишь моя рука.
 Я без ласки твоей бы умер наверняка –
 А под музыкой пальцев тают мои тревоги.

Мы едва ли войдём в историю – не печаль.
 Только б шёлковое тепло твоего плеча
 Омывающей плоть волной проникало в душу.
 Этот мир изменить не сможем ни я, ни ты.
 Все призывы на баррикады – как есть, понты.
 Нас как будто бы миг накрыло вселенской стужей.

Мы могли бы нести, как знамя, свой мнимый вес,
 Но поэт – не мессия, чтобы пасти овец.
 Мне дано говорить стихами – и это счастье.
 Обратила любовь мирские соблазны в жмых,
 И с тех пор я бегу от славы, как от чумы –
 Чтобы нам не пришлось однажды навек прощаться.

ДЕТОКС

Всё, что было... Всё, что будет – жить и умирать...
 Своенравно память будит огненная рать.
 Память шепчет: всё напрасно, ты уже пришёл,
 Но прядут устало пальцы новых мыслей шёлк.

Нити-ноты, проливаясь, растопляют снег,
 Беззащитно омывая боль, что спит во мне.
 Свет враждебен – разве ново плакать на краю?
 Верить в чудо: не проснулся – и уже в раю?

Своды храмов поглощают робкие шаги –
 Там Всевышний отпускает нам Свои грехи.
 Я стою случайным гостем на чужом пиру.
 Пропуск в небо – то ли сила, то ли ловкость рук...

На меня глядят с опаской мёртвые глаза.
 Я любил – и я остался, что ещё сказать?
 Покаяний лесть убога – стала не нужна.
 Здесь – ни Бога, ни порога, только тишина.

И опять на перепутье, и опять в пути.
 Всё, что было, всё, что будет – падать, но идти...
 Пальцы в кровь стирая, веришь: вечность – твой удел.
 Пустота за каждой дверью, пустота везде!



Так сложилось – отмеряешь время по часам.
 Обретая, вновь теряешь суть, не зная сам:
 Ты ли это – новый идол взбалмошной толпы?
 Под ногами – карта мира и седая пыль...

Говорят, огонь небесный очищает – врут.
 Я смотрю в себя, как в бездну, и напрасный труд
 Убеждать, что всё на благо – и война, и вой...
 Мне в любви пророчат плаху – я ещё живой.

Мы разжать не в силах руки, погружаясь в сон...
 Дождь играет соло стуку сердца в унисон.
 Разбавляет космос краски, звук теряет вес.
 Я твоей поддался ласке – значит, я воскрес!..

МЕТРО

Раннее утро. Вагон метро.
 Первая мысль – никому не врезать...
 Спичек, бензина, вязанку дров –
 Хочется всех уложить на рельсы!

Ненависть прёт изо всех щелей
 И проникает в меня сквозь поры.
 Трудно сочувствовать и жалеть.
 Пустопорожние разговоры:

Цены на водку, жильё, проезд,
 Власти, начальство, соседи-суки,
 Что бы сегодня такого съесть
 И ненадолго спастись от скуки?

Прячусь от шумной толпы в себе
 И на засов запираю двери.
 Будто бы в Бога вселился бес –
 Стало труднее во что-то верить.

Мне указал бы дорогу в храм –
 Быстро, недорого – добрый пастырь.
 От неизбежных душевных ран
 Не помогает фейсбучный пластырь.

Стоит ли спрашивать, как дела,
 Чтобы сказать: «Ерунда, не парься»?
 Больно сомнителен мой талант –
 Жить по сценарию трагифарса.

Прячется липкая пустота
 За разговорами о погоде.
 Ты прозреваешь не просто так:
 Выхода нет – есть пути ухода.



В мире, где ласковый звон монет
Голосу истины равноценен,
Будет честнее сойти на нет –
Или блистать на фальшивой сцене?

ПРОРОК

Город в зыбучем тумане тонет,
Напоминая похмельный сон.
Ядерный снег на твоих ладонях
Медленно тает, стирая всё:

Пепел и кровь, раскалённый порох,
Пятна ожогов от горьких строк...
Ты растворишься в легендах скоро,
Даже не ведая, что – пророк.

Между людским «хорошо» и «плохо»
Правда – огнём выжигает рот.
Каждый правитель в твою эпоху
Был не паскуднее, чем народ.

Псевдопоэты кропали вирши,
Жрали друг друга – как есть, живьём,
Кто в Иисусы пошёл, кто в Кришны:
Лишь бы платили, а мы – споём.

И понимаешь – ничто не вечно.
И поминаешь своих врагов.
Ангелы смерти не гасят свечи –
Некогда им в урожайный год.

Ты изнутри выгораешь в стужу.
На баррикадах из мёртвых книг
Боги и черти за наши души
Бьются. По факту – ничья у них.

Значит, за нами – последний выбор,
Что перевесит – тому и быть.
Будто в отместку могильной глыбой
Сверху налёт неизбывный быт.

Кажется, ты от рожденья проклят...
Странную участь свою прими:
В этом Отечестве – нет пророков.
Ты был последним, кто выбрал мир.

ГАДАНИЕ НА ГУЩЕ

Мы умрём не в своих постелях,
На виду у борцов за волю –
Ту, которая им не снилась,
Просто очень хотелось жрать.



Здесь – хоть вешай топор – веселье...
 Сколько можно трезветь от боли?
 Сколько можно, скажи на милость,
 Бить лежачего по шарам?

Нас по-прежнему учат жизни
 Не выдавшие горя дяди,
 Их единственный подвиг ратный –
 Дать по харе божу в метро.
 Мы – пророки в своей Отчизне.
 Мы – исчадия то ли ада,
 То ли рая... Второе – вряд ли,
 Но Господь – искущённый тролль.

И пока мы идём в атаку
 На невидимом глазу фронте,
 Патриоты бабла спросонья
 Продают и страну, и честь.
 Там, на небе – твоя Итака...
 По планете не призрак бродит,
 А толпа очумелых зомби,
 Уносящих благую весть.

Будут в бездну лететь эпохи,
 Переделится карта мира,
 Брат покорно пойдёт на брата –
 За регалии и чины.
 Мы – прилежные дети Бога –
 Сотворили себе кумира,
 Наречённого словом Правда,
 Потому-то – обречены.

ШИПЫ

Ты помнишь, как надо. Ты видишь, как лучше.
 А годы проходят – и время не учит,
 И праведник Бога отчаянно мучит
 Молитвой о благе для всех.
 Планета не сможет вращаться иначе.
 Ты служишь тому, для чего предназначен,
 И тонешь, как будто оброненный мячик –
 В реке, под предательский смех.

Спасут – переступишь любые пороги,
 Но в здешних краях не в почёте пророки
 И грудой пылятся хрустальные строки
 Под грузом блестящих томов.
 Дороги пусты, притушаются чувства –
 Попробуй свою в полумраке нащупай.
 Бредёшь в одиночку, в надежде на чудо –
 Авось, доберёшься домой.



И все совпадения будто случайны,
И есть искушение просто сначала
Игру запустить. Угасают свечами
Иллюзии юности. Ночь.
Унылая постная вечная слякоть.
Напрасно себя умоляешь: «Не плакать!»
В набухшую сочную памяти мякоть
Вонзаешь прозрения нож.

А кто-то в тебе обретает кумира.
Отмазка железная: «Он – не от мира...»
Шипы протираешь, как вечная мирра,
Суды над собою верша.
В твою бесприютность никто не поверит,
И в гневе со стуком захлопнутся двери...
Но ты подготовлен: в земной атмосфере
Не принято громко дышать.

ЛАДА ПУЗЫРЕВСКАЯ

ТРОФЕЙНЫЙ ПЕСОК

Я НЕ СКАЖУ ТЕБЕ, МОЙ КАПИТАН

Я не хочу рассказывать тебе,
я не скажу тебе, мой капитан,
о том, как я ходила по воде,
рассматривая странные круги,
о том, как улыбаются враги
и о морях, где ты бывал и сам –

мои монеты в водах разных стран
утоплены во имя и – за так,
о том, куда ушёл мой караван,
о чудном зелье с привкусом тоски,
о песнях, превращённых в манускрипт,
я не скажу тебе, мой капитан,

о птицах, что стучат в моё окно,
о белом, по колено, снеге в ночь,
о тех, кто так недавно и давно
вернуться из подлунных странствий в день
(смотри, как странно, ты теряешь тень)
пыталась мне теплом своим помочь –

я не хочу рассказывать тебе,
и поутру я убиваю злость
на этот мир, где правила – навек
прописаны игры: живёшь – играй
под песни, что напоминают лай
собаки, недооценившей кость.

Нет, капитан, я расскажу тебе
о том, как море любит паруса,
про горы – Метеоры и Тибет,
где ты одновременно тьма – и свет,
о ветре, в городах такого нет,
о том, как терпеливы небеса

к зовущим в удивительную даль
не сломанным – охрипшим – голосам:
сквозь дым и смог, бетон, стекло и сталь
они проходят в окна, души, двери –
не умирай, играй!.. И я им верю.
Всё остальное ты узнаешь сам.

НЕСОЛЁНОЕ МОРЕ

Мы встретились на линии беды,
никто из нас не знал ответа – где мы?
безвкусным было море – жадный демон
всю соль, похоже, вынул из воды.

Мы на песке оставили следы –
на случай, если станут догонять,
не зная направление побега
отступников, не удержавших небо,
упавшее на линию огня.

А вдруг для нас троянского коня
соорудят, и мы сдадимся в плен?
Как долго мы мечтали о захвате!
Но нас забыли и враги, и братья,
и, не имея для опоры стен,
друг друга поднимали мы с колен.

Бесхитростно поставив на закат,
стыдливо избавляясь от регалий,
мосты самозабвенно поджигали
и верили – никто не виноват,
что только шаг вперед, а два назад.

Предпочитая худшее из зол,
вернулись, но такими же – едва ли.
Мы много лет в лицо не узнавали,
хотя когда-то знали хорошо,
тех, кто тогда за нами не пришёл.

BELIEVE ME

Юле Дробкиной

А времени пропасть зияет осколочным люфтом –
как стены ни двигай в сердцах, остаётся зарубка,
но разве откажешь теперь январю-февралю в том
умении с треском ломать и ломаться где хрупко.

Пока ты боишься в чужие смотреть объективы
у гулких парадных, в которыеходишь, как в омут,
ты помнишь пока – отражения очень строптивы,
то в ересь впадают, то в горькое горе, то в кому.

А что остаётся? Потерянным мамой ребёнком,
уже не боясь ничего – помешать, помешаться –
держат и держаться,
до слёз, до последнего шанса
за сорванный голос и нежность, звенящую гонгом.



Как стены ни двигай, стихи твои слишком правдивы.
Пусть тёплыми будут на улице Алленби ливни,
пусть ветер уносит последней зимы рецидивы –
я знаю, ты сможешь.
Believe me, believe me, believe me.

КОНТИНЕНТАЛЬНОЕ

В раскалённых ловушках парков и площадей,
в междустрочиях пыльных улиц начала без,
в переулках, ведущих за полночь, где в обрест
вожделенного смысла, да и любви – людей

я ищу, невидимкой сонной по мостовым
беспредметно слоняясь, верю в твоих щедрот
чёрно-белую полосатость, ты слышишь – тот,
кто придумал меня случайно, и иже с ним?..

Перегретый город пуст – не чума, не мор,
но законный хлебнувших экшена выходной,
а души, что брела бы по воду – ни одной,
ни бродяг, ни собак, ни птиц. На меня в упор

зрит-пылает-пытает глаз, мне понять бы – чей
и смогу замолчать – подробнее... Вот те крест!
И когда тебе только, Господи, надоест
безопасная страстность жарких моих речей?

СКВОЗНЯК

Звёзды пришли усталые с похорон,
падают в руки, небо предав – огню,
сальто холодных призраков в стиле ню,
только сквозняк повсюду, со всех сторон,

слева и справа, сзади, а также над
теми, кто забывает про свойство крыш
течь, да и просто падать, а ты не спишь,
не умираешь, смотришь на звездопад

и продолжаешь думать, что эта ночь
тоже – не наша, чаша весов вполне
может ещё вместить, и ещё больней
думать о тех, кто может тебе помочь.

Тень твоя – аки посуху, по слезам
бродит, едва касаясь холодных стен,
в шорохе болью битых – избитых тем,
сквозь – не пройти вслепую, по голосам

только по краю круга, в котором сны
тянут к рассвету руки, а кто просил,
света отмерено точно по мере сил
кем-то, кому молитвы твои – ясны,



вот и сквозняк – повсюду, перевелись
ветры, которым можно доверить дом,
переплелись, застыли задолго до
времени, когда звёзды упали вниз.

Можно уйти и спрятаться от беды
если идти за кем-то, кто знает путь
к дому, из дома, просто куда-нибудь
но на асфальте трудно найти следы,

камень – не то же самое, что песок,
даже сыпучий – лучше, терпенья не
хватит, стирая локти, как на войне
молча ползти, затягивать пояс

нужно потуже, чтобы уже – никак
не развязать, а лучше морским узлом,
сцилла с харибдой те же – добро и зло,
а проскользнуть непросто, пока сквозняк.

ВОДА ЗА СТЕКЛОМ

Тэйту Эшу

помнить, в небо как закидывали невод
проверять, что сеть цела и не пылится ...
кто-то мчится по спирали, ну а мне вот –
нянчить память, что ясна, как небылица.
время – деньги, говорят, а время – ветер,
кочевой бездомный выморочный воздух.
кем захочет сплин горючий, тем и вертит,
возвращая в свято место слишком поздно.

там пока ты, остальное всё беда ли,
вот уедем, так зубами поскрежещем –
в этом городе навечно пропадали
даже самые надёжные из женщин,
даже самые бесстрашные мужчины
преступления не вспомнят тяжелее,
чем покинуть этот город без причины
и без слёз, не оглянувшись, не жалея.

наши боги, кто бы спорил, мореходы,
их ковчег так привычны к пируэтам,
вот и порт наш побивает все рекорды
по плаксивости по сгинувшим поэтам.
и, пока в иных степях пожары тушат,
льёт за шиворот
и в сумке пляжной свитер
будет к месту, замерзают рыбы души –
это Питер, ты-то знаешь. это – Питер.



говоришь, у Бога шансов в изобилие?..
 это вряд ли –
 не капризничай, принцесса.
 словно окна в мир открыли – и забили,
 не отыщешь даже места, как ни целься.
 пусть не знаю толком, кем и спасена я,
 но при деле и поэтому не вою:
 помнить, что ни лихорадка – то сенная
 и любую в мире реку звать Невую.

ТРОФЕЙНЫЙ ПЕСОК

Ты не веришь глазам, а чему ещё?.. С нами ли, с нами ли
 хороводят, синхронно взметнувшись, ноябрьские сны –
 расписалась в бессилии осень на брошенном знамени
 шитых белым ночей, на колонны фасадов резных

утром выпадет снег – упадёт, точно сорванный занавес,
 да в такое ни зги – хоть кальвадос, хоть яблочный сок –
 будешь истово пьян. Пусть смеются и плачут от зависти
 боги сумрачных снов, пусть впадает в трофейный песок

Петербурга взволнованный шёпот окраин безбашенных,
 бьётся о парапеты – не слушай – бесстрашная речь
 тёмной невской воды. Так берут берега врукопашную
 бесшабашные тени молитв – жаль, что их не сберечь

от осенней тоски, бьющей эхом наотмашь. Повылиняя
 на ветру мир истоптанных клятв – только нам дела нет
 до развода мостов. Ты всё так же сверяешь по линиям
 на ладонях дороги домой. На Дворцовой рассвет

наступает чуть позже, когда закружится под арками
 серебристый туман и, прохожих ничуть не смутив,
 опадает – не падает!.. небо, сплошными ремарками
 покрывая наш город на свой – перелётный – мотив.

КИСЕЛЬНЫЕ БЕРЕГА

Презируя угрозы прогнозов, ветрам вопреки
 и назло мудрецам, обещающим вольному – волю,
 я сижу верных тысячу дней у молочной реки,
 провожая глазами шаланды, летящие к морю.
 Что увозят с собой из пустых городов моряки?
 Что останется здесь после них?

Полушёпотом спорю
 с беспристрастным хозяином зыбких моих берегов,
 властелином кисельных просторов бермудисто-топких,
 о спасительной силе кочующих небом снегов –

тополиной пурге, забирающей в нежные скобки
результаты регаты – известных небесных торгов
за почётное право играть – не словами,
но робких,
бесконечных попытках дрейфующих с осени льдов
раствориться бесследно, а в случае крайнем – растаять,
стать водой и с собой уводить караваны судов
в тридцатое «там», где зимует пернатая стая.

На кисельной земле невозможно оставить следов –
не затем, чтоб нашли, если вспомнят, но даже на память.

ПРИХОДИ КО МНЕ ПЛАКАТЬ

«Тороплюсь – говоришь – вон какая весна за бутром.
Чем водить хороводы в отечестве нашем немыгом,
проще вымолить дождь. Чей там бог направляет багром
пароходы по месту приписки?.. Как жаль, что не мы там

собираем в сети самых мудрых своих пескарей
и бежим что есть мочи от злых оцифрованных гадин».
Воля вольному, брат, дай обняться с тобой поскорей,
да минуют тебя сны бермудских ворованных впадин.

Тяжелей возвращаться – чужой, безмянный, больной
далеко не уйдёшь, проклиная весь мир да ругая.
Пахнет воздух свободы одной бесконечной войной –
смерть дешёвая очень, а жизнь – та везде дорогая.

Приходи ко мне плакать, когда осыпается свет
и проворные тени срываются с мокрых карнизов,
и вчерашняя правда хрустит в шепелявой листве,
и уходит Господь, уставая от наших капризов.

Нет, я тоже не знаю, как выбрать судьбу поновой,
сто вторая попытка кого и когда волновала,
но я всё ещё помню, как полночь плывёт по Неве
и надеюсь своих опознать до конца карнавала.

АРИНА ГРАЧЁВА

БУДЕТ МИР В СУХОМ ОСТАТКЕ

РАЗМЫГА ДАЛЬ

Размыта даль, свой завершает круг
последнее тепло, за дождик прячась.
Ты стал ещё чуть более бирюк,
чем был, впадая
в хмурый быт, как в спячку.

И я всё больше выдумщица чувств,
раба непредсказуемых решений,
во снах безбытной осени мечусь
над бездной правды самовыраженья.

Тянусь туда, где будут вьюги петь,
блистать снега, суровый славя климат,
где мы совсем как Маша и Медведь
завязнем в новых сериях
про зиму...

ПЕЙЗАЖНОЕ

Опять метель, смятенье, пустота,
скрипят морозов сдвинутые рамки,
и дом, углом упёршись в никуда,
поддерживает видимость пространства.

От тени свет попробуй, отдели,
бульвар в таком снегу, что тронуть страшно,
и в росчерке беспомощных белил
промелькивает синий, жёлтый, красный.

Где пламень жизни, там и смерти лёд,
за долгой вьюгой видится затишье, –
пиши, ломай пейзажное копьё
о город зим, оскомину набивших.

А город вёсен явится потом,
с сильной верой в новизну открытий,
расправит плечи уцелевший дом
и примется позировать –
увидишь...

ДОКТОРУ ЖИВАГО

Россией вечно кто-то недоволен,
но личной жизни это не мешает,
и вот уже лежит многоугольник
в причудливой основе содержания.

Углы, кругом углы, покрыта мраком
их острота, и на душе – зарубки.
За что страдаешь, любящий Живаго,
страдаешь даже более, чем любишь?

Леса, страны потёмки, перестрелка
между бывлым и рвущимся навстречу,
не враг ты никому, не муж, не лекарь,
а жертва поголовного увечья.

Плыть по течению мог,
и против – мог бы,
но эти два пути не в счёт, а третий
и есть та одинокость-одинокость,
доступная не всем на этом свете.

Ты предпочёл воспользоваться правом
дать сердцу запредельно истончиться.
И всё. И строк чернильная держава
застыла Божьим даром
на страницах...

ПОЛУТИ

Пластична память тех, кто сам из глины.
Портфель, игрушки,
с бусиной берет –
всё будто рядом, смысл же середины
отныне в том, что половины нет...

ПОПЫТКА МАЯ

Попытка мая провалилась с треском,
тепло дождями пущено на ветер,
и вечного огня косые всплески
запутались в цветах на парашете.

Идёшь, на прочность проверяя память,
к разгадке тайной связи поколений,
и твой букет положенных тюльпанов
смягчает муку вечного горенья.

И трудно сердце удержать на месте,
зажать в горсти, биемьем истекая,
плывут по кругу наигрыши песен
военных лет неутомонной стаей.



Про клён кудрявый, про платочек синий
подхватишь, млея в отблеске затактов,
как будто в жизни есть ещё святыни,
как будто будет мир в сухом остатке...

В.К.

Ты, как всегда, в порядке, нестибаем,
в твоих пенатах – птичий хор, и белки
подстерегают крохи у тарелки
с медовым пирогом, но битым краем...

ТЫ ЗНАЕШЬ КАК

Ты знаешь как не надо, а вот как
должно бы быть – донине не усвоил,
оратор незатейливый, чудака,
бытийностью задетый за живое.

Ты знаешь всё про солнце и про мглу
и почему должна быть речь богатой,
лоб крестишь на удачу, как Шойгу
перед парадом.

И вновь, неповоротливый, слепой,
наносишь самому себе удары,
по венам строчек пробегает боль,
и ты летишь в прозренья жуткий тартар...

Всё ближе шёпот вечности, но время
берёт разбег для новых выражей,
весна – подвох, попытка превращенья
остатков сердца в яркую мишень.

Насквозь пропахший запахом мимозы,
подставил город солнцу скосы крыш,
весна – не просто потеплевший воздух,
а жаркий спор с дыханьем,
со вторым.

И где тут думать, что ничто не ново,
что жизнь к необучаемым строга,
весна – ухмылка, голубок почтовый,
а в клюве – приглашение на казнь...



ВЫБОР

Уходит день,
и упрекнуть ни в чём
нельзя его святую пустотелость.
Ни звука, только времени сверчок
щекочет сумрак усиками стрелок.

Сгущается податливая синь,
над крышей мягко вьётся дыма знамя,
и путается в прошлом серпантин
тропинки с незажившими следами.

Покой и снег на много-много вёрст,
и хочется поверить в столько рая,
но город жив внутри, и он зовёт,
и ты уступишь,
слёзы вытирая...

АННА ГАЛАНИНА

ТОЛЬКО ТЕНИ НЕ ОДИНОКИ

Идёшь и шепчешь: «ещё не вечер»,
а звёзды светят – ещё не утро,
и хорошо бы тулуп овечий –
Москва застыла, как волчий хутор.
И каждый встреченный – неудачник,
других в мороз не погонит, кроме
бродячих псов и поэтов. Значит,
наш пробил час – как всегда, неровен.
И кто ты был, или есть, неважно –
сбивая шаг, подбиваешь строки.
Мы все – бродяги в одной упряжке.
И только тени не одиноки.

Был взгляд её пристальным и сухим.
Старуха, подстриженная «под ноль».
Пьянела, когда полились стихи
по круту, по полной и по одной.
Молчала, выслушивая наш бред,
а может быть, бредила о себе.
Сидела, раскачивая табурет,
курила «Памир», а брала Тибет.
Ушла на рассвете через окно –
там ждал её огненно-рыжий конь.
Взлетела с ним, вроде, невысоко –
туда, где как будто горел огонь.

Так уходили навсегда
в пустыню караваны,
и закрывали города,
и открывали страны.
Так на исходе из больниц
ушёл навеки папа,
а солнце, опускаясь ниц,
всё шло себе на запад.



И в полумрак семи свечей
перетекали речи.
И кто ушёл, вдруг стал ничей,
и плакать стало нечем.
А на рассвете... Что рассвет?
По кругу солнце бродит.
Уходит след. Но смерти нет –
она бессмертна, вроде.

Мальчик, похожий на Мефистофиля,
не по-хорошему кучерявый,
с носом горбатым, нездешним профилем,
смотрит налево, глядит направо.
Дрогнул вагон, этим взглядом выжженный,
тени метро источают серу.
И невзначай измельчали ближние,
дальние стали, как были – серы.
Кажется, вот оно – горе горькое,
надо бежать, упиваясь криком,
хоть бы куда, где есть люди. Только я
там не видала прекрасней лика.

Завтра путающе смотрит в сегодня,
окна оскалились – видом на август.
Звезда пересчитанных первую сотню
прячу за тучи, с упавшими справлюсь –
всех караваном отправлю куда-то
вслед за котами по краю карниза.
С глупой улыбкой луны конопатой
смотрит на них из-за крыш Мона Лиза.
Лампа жемчужиной – призрак Вермеер
уши фонарные красит ночами.
Страхи под утро глупеют – вернее,
любят бессонницей мучить вначале,
лишь на рассвете от кромки обоев
тени сметаются. Это ли странно...
Входит старуха с поджатой губою
и говорит, что зовут её Анна.

Все семь холмов на своих местах,
и дворник рассветно-пьян,
сжигает листья в семи кострах
расплавленного тряпья.



Пошёл друзей зажигать к метро,
недаром стакан гранён.
На перекрёсток семи ветров
просыпалось вороньё.
Не просыпаясь, прополз трамвай –
качаясь, осенне-жёлт.
Галдят вороны, зажглась трава,
и дворник с друзьями жжёт –
он величает вином Агдам,
и взгляд у него лучист
и свято-пуст. И к его ногам
припал опалённый лист.

Мало света на свету...
На просвете шторы – город
на тесёмочки распорот
там, где ландыши цветут.
А за ландышами – мрак,
то реклама, то таверна.
Это мы с тобой, наверно,
сшили город кое-как.
Не сметали те сады,
где в росе рассветны травы...
Мы конечно же, неправы,
проглядели – я и ты –
как забился в ровный шов
старый двор, где дождь неровный
обошёл наш зонтик, словно
лишь для нас двоих прошёл.
И прощения нам нет,
мы кроили всё на свете –
облака, дома и ветер...
Уходя, гасили свет.
Мы разгладили квартал
и расправили бульвары,
затянули в узел пары...
Город сумеречным стал,
распуская пары... пар...

В этом городе люди-числа.
Мимо каждого – путь в обход,
чтоб забыть навсегда и быстро.
Но в дороге не много смысла,
если верить, что всё пройдёт.

Затемнённые люди-шторы.
И не вспомнишь, когда забыл.
Чуть удержишься – разговоры
о погоде, про «час который»,
и о том, кабы, если бы...



Люди-нелюди. На дороге –
их бессмысленный дальний свет,
без него разглядишь – убоги.
Если им помогают боги,
то наверное, Бога нет.

И конечно же, люди-страны,
люди-песни и города,
люди удали окаянной –
их запомнишь. Но поздно-рано
станет сумрачно, и тогда

все уйдут. Остаются люди.
Вроде, ясно всё наперёд,
их забыть бы, уйти, уснуть бы,
но – не вырваться... Люди-судьбы.
Те, с которыми всё пройдёт.

По Москве брожу, ворожу
по закопченным облакам –
если стянуты в абажур,
значит, город хранит накал,
даже если застыл, молчит
и не бьёт по тебе в набат.
Если спит – хорошо в ночи
перестраивать мысли в ряд,
а потом их смешать, смешать...
Если лампа не гаснет, а
фонари зажигать спешат –
значит, скоро снега, снега...
Если ландыши – значит, май,
если дождь – забываю зонт,
и на счастье – сажусь в трамвай,
что к бульварам везёт, везёт...

Колёса стучали поврозь,
крутил головою хвост.
Похрапывал скорый поезд,
поскрипывал мимо звёзд.
Позвякивали стаканы
и ложки бренчали так,
что пятки у великанов
качались на полках в такт.
Дымил сигаретно тамбур
и лунно пылился свет,
и сослепу двери как бы,
ворчали идущим вслед.
И поезд пыхтел устало,
так тьму прорезает крот,
от пункта, где всё пропало,
к другому, где всё пройдёт.

СЕРГЕЙ МНАЦКАНЯН

ЦАРАПИНКИ НА МАРТОВСКОЙ БЕРЕСТЕ

Из книги «Дагерротипы»

1913 ГОД

Безумный князь. Искажено лицо.
В припадке царскосельского угара,
он знает: не спастись, – и ждёт удара...
Но можно нацарапать письмецо.
Но можно рифму царскую вонзить
в жестокую идею государства,
а можно без обиды и коварства – смеясь,
фиал безжалостный испить...
А на болотах петербургских мгла,
стоит туман – немыслимый, чертовский...
И в муках умирает Комаровский –
последний призрак Царского села.

ПАЛИМПСЕСТ

Вы знаете, что такое *палимпсест*?
Это простое греческое слово.
Оно означает запись,
сделанную на пергаменте
поверх когда-то внесённой
на пергамент записи,
впоследствии уничтоженной.

Бывают палимпсесты многослойные –
пергамент дорог
и его всегда не хватало
жадным перьям поэтов и летописцев.
Я тоже летописец,
и пишу поверх многослойных записей,
скарябанных временем...

Но почему-то
сквозь все новоязы
пробиваются старые письма,
ещё толком никем не прочитанные,
и расплзаются,
как муравьи,
по обновлённым пергаментам...



Так старое
цепляется за новое,
а новое смешивается с ещё непознанным.

Жизнь каждого человека,
любой страны и всего человечества –
перемаранный палимпсест,
смысл записей которого
доныне не понят теми,
кто вымарывает старое
и вписывает строки
так и непонятого нового времени,
которое тоже
скоро будет выскоблено с вечного листа,

словно бы время –
это мясник в белом халате,
который
выскребает
двухнедельного младенца
во время очередного аборта
из утробы матери –
истории человечества.

Я четверть века бредил этой книгой –
она, крича, во сне являлась мне,
её страницы жизнью многоликой
в горячечной шуршали тишине...

Она светилась тенью на стене
трагичной Хиросимы, скорбью тихой
аукалась, и звёздной сетью дикой
опутывала жизнь мою во сне...

Так и живу, насквозь открытый вьюгам,
но нет привычки к боли и разлукам,
так и живу, мучительно дыша,
я перепутал жизнь свою со звуком,
а между тем стрелою, взвитой луком,
трепещет обнажённая душа.

МЕМОАРЫ

Пальтишко на рыбьем меху –
зато беззаботная юность!
Я думал – всё в жизни смогу,
да только не так обернулось.

Зато от души воспою,
как утром поскрипывал гулко,
вращая житуху спю,
коленчатый вал переулка.



В том богом забытом дворе
среди алкоголя и мата,
как в некоей чёрной дыре,
до боли вселенная сжата...

Весёлых страстей змеёвик!
Случайных соитий реторта!
— где — было! — похмельный мужик
отчаянно драпал от чёрта!

Здесь умер юродивый вор
и благоустроены свалки,
но все жё да здравствует Двор —
фискалы его и весталки.

От этих времён — ни гу-гу.
когда же они миновали,
оказывается — я в долгу,
а время писать мемуары...

НИКТО

(Иннокентий Анненский)

Он подписался Ник. Т.-О.
на первой книжице творений,
профессор, царскосельский гений,
в тяжёлом драповом пальто.

О, кипарисовый ларец,
в котором с трепетом хранится
невероятная страница,
где оттиск судеб и сердец.

В туманном отсвете свечи
таятся горечь и обида...
О чём он хмурился в ночи
над переводом Еврипида?

На гимназических скамьях
труды Петрарки и Прудона,
а снег в саду желтел впотьмах,
как стены вечного дурдома...

У каждого своя судьба,
у каждого своя Голгофа,
вдруг на вокзале Петергофа
он взялся за сердце, хрипя...

Качнулся с мыслью в аккурат,
дыща божественным эфиром,
о том, что вечно виноват,
но не виновен перед миром.



Судьбой подаренная милость
иглою вспыхнула в груди,
что прошлое уже свершилось,
а будущее – впереди...

Пронизанный нездешним светом,
ушёл в неведомую темь...
Что это значит – быть поэтом?
А это значит – быть никем.

СОНЕТ О СОНЕТЕ

Несётся время. Из огня и глины
спекается единственная жизнь,
художнику определив режим
наистрожайшей самодисциплины...

А иначе умолкнут клавишины.
Ваятели забудут свой резец.
И смутный хаос звуков, красок, линий
затопит все окрестности небес.

Никем не заповедан путь поэта.
Ни у кого не спрашивай совета,
когда тебе созвучья шепчет Рок...
Что в этом мире сдержанней сонета –
пружины из 14-и строк?!
С ним не страшна вовек земная Лета.

Первый – да будет первым,
да будет второй вторым,
да будет Адам Адамом,
и Римом пребудет Рим,
взметнётся метель метелью,
дымом взовьётся дым, нет людей одинаковых –
каждый неповторим...

Пускай мы горюем горько и верно кого-то любим,
ссоримся, делаем дело, хлопаем резко дверьми,
давайте равняться с вами на равенство только будем –
на равенство между разными – без исключения –
ЛЮДЬМИ.

Мы все равны перед небом,
просоленным звёздной ночью,
мы все равны перед снегом – немислимой белизны,
перед огромным миром – воистину и воочью –
мы, просыпаясь в заморозки, все, как один, равны...



А к очкам
я так и не смог привыкнуть.
Я стал меньше читать.
Спасибо,
строптивые глаза,
вы открыли мне иной мир.
В этом мире
книги занимали много меньше места,
чем всё остальное:
книги –
это своего рода виртуальная реальность,
а человек всё же
обязан жить в реальном времени
и пространстве,
а не среди пыльных переплётов.
Я полюбил
простые радости жизни,
зубочистку
после горячего ужина,
шипение радиоприёмника –
только последние известия,
вечерний туман воспоминаний –

о, где же вы,
залистанные и замусоленные дни моей жизни?!

Ты небо подопрй плечом,
отбрось усмешку независимую...
О боже, я здесь ни при чём,
я просто за Тобой записываю.

ВИКТОРИЯ КОЛТУНОВА

В ПОЛНОЧЬ, КАЖДУЮ ПОЛНОЧЬ...

ОШИБКА рассказ

Утром Зинаида Валерьевна собралась сходить в магазин секонд-хенда, присмотреть себе что-то новенькое. Просто для настроения. Побаловать себя обновкой, пусть и ношенной уже кем-то, но всё равно красивой, брендовой вещью.

Новинки брендов, выставленные в бутиках, по цене недоступны простой служащей захудалой конторы, а в секонде можно купить за смешные деньги подлинного Ральфа Лорена или Соню Рикель. А кто слегка сносил эту вещь, она сама или предыдущий хозяин, никто и знать не будет.

Благодаря таким походам в секонд, Зинаида была хорошо и со вкусом одета. Она любила жизнь, хотя жизнь её не баловала, но ведь у других людей и похуже бывало. Её муж умер в тот год, когда родился второй ребёнок, тоже сынишка, как и первый. Но от государства она получила пособие, помогали сослуживцы, знакомые. В общем, как говорила Зинаида своим друзьям, могло быть и хуже, правда? Сначала растерялась, не знала, как жить, но психолог сказала ей, посмотрите, как живут инвалиды и старики в Домах престарелых, им намного хуже, чем вам. Зинаида воспользовалась советом, сходил в приют, расположенный на окраине города, и решила, что, действительно, ей-то грех ропать на судьбу. Увиденное долго мучило её по ночам, но от собственного горя она отошла. Работа бухгалтером небольшой частной конторы, слава Богу, есть, двухкомнатная квартирка в спальном районе тоже, есть друзья. Дети здоровы. Могло быть и хуже, это точно.

Она пришла в любимый магазинчик в день поступления нового товара, прошлась по рядам стоек, отвесила на локоть левой руки несколько плечиков с платьями и кофточками и направилась в примерочную кабинку. Из неё вышла женщина, сосредоточенно рассматривая кружевную туннику, которую вертела в руках.

Зинаида вошла и развесила плечики по крючкам на стенах кабинки. Сняла свитер, и принялась снимать брюки.

Наклонясь к полу, для того, чтобы расшнуровать ботинки, Зинаида заметила на коврике около пуфика что-то вроде чёрной косметички. Подняла её. Это оказался кошелек. Из него торчали автомобильные права и тугая пачка купюр.

– Наверное, та женщина обронила, – подумала Зинаида. – Надо будет передать администратору. Или самой позвонить, если её не будет уже в магазине. По правам найти человека легко.

Она кинула кошелек в сумку, и принялась с удовольствием примерять набранные вещи. Не выходить же из кабинки ради той растеряхи. Во-первых, она уже разделась, во-вторых, в кабинку большая очередь. Успеет отдать.

Около кабинки послышался шум, мужские голоса и женский взволнованный крик.

Занавеску подергали, и строгий голос произнес:

– Гражданка, выходите!

Зинаида не успела понять, в чём дело, как занавеску отодвинули и в кабинку ввалились двое полицейских.

– Одевайтесь, быстро, – приказал один из них, а второй схватил сумку Зинаиды, стоящую на полу.

– Поняты, сюда, – скомандовал он.



Двое молодых людей, явно знакомые между собой, подлетели к кабинке.

– Смотрим, смотрим, – воззвал полицейский, широко распахнул сумку Зинаиды и продемонстрировал окружающим кошелек с торчащей из него пачкой денег.

– Так это я нашла на полу в кабинке, – сказала Зинаида, натягивая свитер и пытаясь скрыться с глаз окружающих за занавеской.

– Она, она, это она залезла ко мне в сумочку и вытащила кошелек, она всё время около меня тёрлась, – визжала та самая женщина, которая выходила из примерочной кабинки с кружевной туникой в руках.

– Вы о чём? – задыхнулась Зинаида. – Вы ненормальная, когда это я около вас тёрлась, да я вас первый раз увидела, когда вы отсюда выходили! – закричала она.

Толпа покупателей с весёлым любопытством придвинулась и зажурчала на разные голоса.

Стражи порядка подхватили Зинаиду под руки, понятия собрали вещи, разбросанные в кабинке, и Зинаиду вежливо, но мягко затолкали в кабинет администратора.

Там правоохранители попросили хозяйку кабинета, высокую тётку с пучком жидких седеющих волос на макушке, освободить стол, и принялись составлять протокол.

От неожиданности и нелепости происходящего Зинаиде хотелось смеяться, но она понимала, что всё это не так уж смешно, а выглядеть она будет глупо.

В протоколе записали, что в охрану магазина обратилась гражданка Васильева Р.Д., у которой подозреваемая, назвавшаяся Зинаида Валерьевна Захарова, вытащила из сумки кошелек, указала на то, что нарушительница закона спряталась в кабинке для примерки, откуда её вывели сотрудники РОВД, вызванные охраной, кошелек обнаружен в сумке подозреваемой... в нём находились автомобильные права на имя Васильевой Р.Д., а также сумма денег – 4000 американских долларов в следующих купюрах... следовал список номиналов и номеров банкнот... в чем расписались понятия... имена...

Зинаида думала, что сейчас копы во всём разберутся, извинятся, и она снова пойдёт в кабинку получать своё женское удовольствие от вида себя в зеркале, в этом красном платье с узким поясом, который так красиво подчеркивает её талию.

Но время шло, и комедия затягивалась. Полицейские вызвали служебную машину с мигалкой и силой усадили туда Зинаиду. Она немного сопротивлялась, потом решила подчиниться закону, надеясь, что в райотделе сидят более квалифицированные товарищи, выше по званию, и там-то разберутся точно. Тётка, утверждавшая, что кошелек был вытасчен у неё из сумочки, уселась в другую машину.

Все вместе покатали в райотдел, а в магазине секунда возобновилась прежняя суета, всегда царящая там в день получения нового товара.

В райотделе её допросил старый, толстый, лысоватый капитан, что-то записал на бланке и ткнул в него пальцем – распишите вот тут, тут и тут.

Зинаида рассказала всё, как было, что она нашла кошелек, собиралась отдать, но не успела, потому что была раздета, рассчитывала вручить его администратору магазина по выходе, но её отвели к нему раньше, и так далее, и что она просит отпустить её скорее, так как ей надо забирать из детского сада младшего, а из школы старшего.

Капитан слушал её, кивая, не перебивал, а в конце снова велел расписаться там и тут на том бланке.

Зинаида была уверена, что он всё записал так, как она рассказывала, потому что в конце листа он велел от руки поставить фразу – «С моих слов записано верно, претензий не имею». Но в начале бланка ей бросилась в глаза фраза – «Я предупреждена о... согласно такой-то статьи Конституции...», а её никто ни о чем не предупреждал.

Она возмутилась, что вы, мол, тут со мной в игры играете, я понятия не имею ни о какой статье Конституции, но капитан впервые за всю беседу поднял на неё голубые глаза, начисто лишённые всяческого выражения, и Зинаиде стало страшно.

Она подумала, что никогда ещё не видела таких глаз, спокойных, пустых, как два кругляшка алюминия.

«Глаза мертвеца» – мелькнуло в голове, и она застыла в недоумении и страхе.

Всё дальнейшее происходило как во сне, когда тебе кажется, что ты кричишь, а рот не издает ни звука, ноги невозможно оторвать от пола, и на помощь не приходит никто.

Какая-то неведомая сила, тугой неумолимый смерч, подхватил её, оторвал от земли, понёс и швырнул сначала в следственный изолятор, потом в суд, потом в женскую исправительную колонию № 2 с документами, оформленными по ст. 185 ч. 4 Уголовного Кодекса – кража, осуществлённая в крупных размерах, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком 8 лет и отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Защитил Зинаиду бесплатный государственный адвокат, назначенный тем же следователем полиции, который вёл её дело. Почему её осудили по максимальной мере наказания без достаточной доказательной базы, при наличии несовершеннолетних детей, объяснить не мог, и только пожимал плечами.

Когда прошёл первый шок, Зинаида принялась писать жалобы во все возможные инстанции, как это делали и другие осужденные, у которых имелись, или они считали, что имелись, основания для пересмотра дела, но результата это не принесло.

Не помог ни Апелляционный, ни Верховный суд, куда писал формальные заявления тот же бесплатный адвокат.

Зинаида оставалась в заключении.

Её детьми занимался районный попечительский совет.

Николай Петрович ожидал коллегу в маленьком баре «Друзья», неподалеку от родного здания городской прокуратуры, где они всегда назначали свои встречи, когда нужно было переговорить тет-а-тет. Зачем тот вызвал его на разговор, Николай пока не знал, но тон голоса показался ему каким-то нервным.

Придя немного ранее назначенного часа, Николай Петрович заказал себе эспрессо, чтобы взбодриться, и, как всегда, молча, про себя, посетовал на то, что чашечки эспрессо так малы, а стоят дороже, чем любой другой вид кофейного напитка.

– Приветствую, коллега! – раздался голос Виктора Михайловича.

Николай Петрович привстал и пожал руку коллеги из областной.

– Как жизнь?

– Потихоньку, слава Богу.

Оба принялись изучать меню, потом заказали подошедшей официантке пиццу с курицей и грибами, «Боржом», как наиболее полезную для желудка из всех минеральных вод, и фруктовый десерт, как источник витаминов.

Потекла беседа.

– Неувязочка вышла, – начал Виктор Михайлович, следователь областной прокуратуры. – Очень досадная.

– А что? – отозвался Николай Петрович.

– Дамочка не та, вот что!

– Что значит не та?

– Да то, что эта наша заключенная Зинаида Валерьевна Захарова, не та!

Николай Петрович положил вилку, удивлённо взглянул на собеседника.

– Не та?

– Нет. Ту зовут Зинаида Владимировна Захарова, и она на пять лет моложе. И без детей. По другому адресу проживает. Вот на кого надо было организацию произвести. Почти полная тетка, но не та, понимаешь? Инициалы полностью совпадают, а человек – нет! Там... ну ты понимаешь, где... там такой шум стоит!

– Так ведь год прошёл, что они очнулись-то только сейчас?

– Так кто ж на её фото смотрел? Отрапортовали, что порядок и ладно. А сейчас выяснилось. Потому что та, кого надо было, опять возбухла. Придётся заново операцию проводить.

– Это понятно. Но, досадно, конечно.

– Так что, придётся повторить, но сценарий, конечно надо разработать другой. Дурь, например.

– Мы в тот раз говорили, что дурь, в данном случае, не подходит.

– Знаю, но два раза повторять один сценарий нельзя. Тем более, при идентичных имени и фамилии. Над столиком повисла тишина, нарушаемая только нервным постукиванием вилок и ножей о тарелки.

– Опять людей привлекать надо.

– Не проблема. И отправить вторую в другую колонию, на север страны, чтоб не было подозрений.

– А с этой что делать?

– Ничего, что ты с ней делать будешь?

– Так ведь она ни при чём. Может, по вновь выявленным обстоятельствам?

– Нет. Выпускать нельзя. Сколько она сидит?

– Да уж год.

– Видишь. Компенсация за ошибку, неприятности у следака будут, зарплата за год. Это всё ей надо будет компенсировать, и могут возникнуть подозрения насчет той, второй... У нас работа такая, что ошибки признавать никогда нельзя! Так уж и будет!



– Я понимаю.

Снова тишина, только звуки поглощаемой еды и булькнувшего в стакане «Боржом».

– Жалко бабу. У неё ж детей двое.

– Ну, не расстреляли ж её, жива, здорова. Посидит лет пяток и по УДО выйдет. Не переживай.

– В том-то и дело, что не совсем жива. Я, пока к тебе шёл, справки навел. Я так и подумал, что это по тому делу. Эта дура весь год орала, заявления строчила, а вчера вскрылась.

Майор кинул вилку на стол.

– Тьфу, сумасшедшая! Только этого не хватало! Откачали?

– Да, сокамерницы вовремя заметили. Кровью наследила, вот они и заметили.

– Тем более. Ещё по этому поводу шум начнётся, расследование обстоятельств суицида. Журналиги налетят, начнут копать. Ты ж понимаешь, что может из этого выйти. Нет, бабу подлечить, и пусть сидит. Выпускать нельзя ни в коем случае!

– Понимаю.

Голубой свет вливался в кабинет через огромные от пола до потолка окна.

Азриэль стоял у письменного стола, задумчиво поглаживая ладонью карту Земли, выполненную из мха разного цвета, так что выделялись буровато-коричневые континенты, синие участки океанов и морей, красноватые камешки, обозначающие города. Надписей на карте не было, зачем? Азриэль и так знал каждый её уголок.

За стеклянной дверью возник силуэт, похожий на самого Азриэля. Тот щёлкнул пальцами, и дверь растаяла. Вошёл Агаэль.

– Приветствую, брат мой! – произнес он.

– И тебе, брат, во веки веков, – доброжелательно ответил хозяин кабинета.

Агаэль постоял у стола, слегка приподнялся в воздух, нерешительно покачался из стороны в сторону и начал.

– Ошибка вышла. На высшем уровне, брат.

– Что такое?

– В тюрьме заключенная преставилась, четвёртая стадия рака, боли сильные, в общем, плановое отхождение, ангелы должны были её забрать в 2.30 ночи, согласно расписанию.

– И что из этого?

– Да вот перепутали они и другую принесли!

– Они не имеют права на ошибку, что за чушь!

– В том-то и дело, что никогда не ошибаются, а тут ошиблись! Обе заключённые в тюремном лазарете лежали, плановая и вторая, которая себе вены вскрыла.

Агаэль поднял кверху ладонь, на ней возник листок бумаги с надписью; раба Божия Зинаида, даты рождения и смерти. Он прочел Азриэлю её имя вслух.

– Хорошо, так раковую больную забрали, наконец!

– Раковую забрали, она довольна, отмучилась, благодарит. Преступление своё отработала тюрьмой и болезнью.

– Ну и ладно. Так дело-то в чём?

Агаэль снова нерешительно поднялся в воздух и покачался из стороны в сторону.

– Эта, Зинаида... Орёт, скандалит, на Землю просится.

– Пусть себе просится. Она самоубийца. В любом случае, виновата.

– Она вопит, что у неё там дети, что они без неё пропадут, что она сделала ошибку и раскаивается.

– Раскаиваться, Агаэль, нужно до совершения преступления. Об ошибках сожалеть до их свершения.

А натворил – получай, то, что заслужил.

– Но она в любом случае внеплановая. Не за себя ж просит, о детях кричит.

– А что с детьми?

– Учитывая ошибку, Архангел Рафаил внушил мысль меценату, тот взял покровительство над ними.

С детьми всё в порядке.

– Вот видишь. А эта Зинаида где вообще-то?

– На Девятом Круге.

– Там же хорошо! Что ей ещё? Вернётся на Землю, грехов натворит, и может больше на Девятый не попасть. Преставилась, так преставилась. Так уж и будет.



– Я объяснял ей. Все равно кричит, плачет. Это наша ошибка. И мы должны её исправить, – просительно сказал Агаэль.

– Нет! Это ошибка, но исправлять её мы не будем. Иначе возникнет сомнение в правильности всех наших действий. Этого допустить нельзя!

– Брат Азриэль! Позволь, я обращусь ко Господу. Он сделает для неё исключение.

– Ни в коем случае! Думать не смей беспокоить Господа такими пустяками. И сам успокойся, Агаэль. Ежеминутно по всей Земле отлетают миллионы душ. Она – одна из многих миллионов, мельчайшая пылинка во Вселенной. Что стоят её страдания по детям в сравнении со многими бедрами, которые само навлекает на себя человечество во время земной жизни! Разве будет справедливо, чтобы мы озаботились этой пылинкой и не озаботились, в таком случае, страданиями тех детей, которые погибают ежеминутно от голода или болезней? Чем она лучше их? Если соблюдать милосердие, то по отношению ко всем, так? Иначе будет нарушен всеобщий принцип справедливости.

Азриэль нервно зашпал по кабинету. Подошёл к окну, за которым виднелась серая, туманная полоса соседней галактики, выделявшаяся на фоне голубого света, струившегося из непонятного источника, бывшего и всюду, и нигде. Поправил застёжку на плече, которая придерживала его белый пушистый плащ. Молча, смотрел в окно. Агаэль ждал.

Азриэль повернул к нему своё безупречно-красивое лицо.

– Я подумаю, – сказал он.

Четверо Земных суток спустя Агаэль снова стоял перед дверью Азриэля и ждал. Растворилась в воздухе дверь, он вошёл.

– Приветствую, брат мой! – произнес он.

– И тебе, брат, во веки веков, – доброжелательно ответил хозяин кабинета.

– Мне доложили, что ты принял решение по поводу новопреставленной Зинанды, – начал было Агаэль.

Азриэль улыбнулся.

– Да, брат. Учитывая те факты, что в тюрьму она попала безо всякой своей вины, по ошибке других людей, что была взята наверх тоже по ошибке, тем более что именно по нашей ошибке, было, всё-таки, принято решение, в виде редчайшего исключения...

Агаэль покачал головой.

– Поздно, брат.

– Что может быть поздно? У нас? – удивился Азриэль.

– Там, внизу, в тюрьме, поскольку у Зинанды не было совершеннолетних родственников, на третий день, после совершения формальностей, её тело было кремировано в местном крематории и прах захоронен на тюремном кладбище. Уже прошли одни Земные сутки, как её тела не существует.

– Мы дадим ей другое тело, красивее и моложе.

– Зачем? Дети её не узнают, она будет чужая для них. Сама она тоже станет другим человеком, с другими привязанностями и другими интересами. Той Зинанды на Земле уже не будет никогда. Она есть только здесь. Либо нигде. Ей придётся смириться.

Азриэль отвернулся к стене, на которой располагалась вертикальная цветочная экспозиция, чтобы скрыть набежавшую на его лицо тень сожаления. Снова повернулся к Агаэлю, покачал головой.

– Исправить ошибку невозможно. Если уж мы не смогли... Ошибка вырывается из рук её создателя, остаётся в прошлом и живёт своей собственной, независимой жизнью. Сама по себе. И совершивший её теряет над ней власть. Давай, брат, займемся текущими делами, – произнёс он.

Агаэль кивнул и поднял кверху ладонь, на которой мгновенно возник листок со списком текущих дел.

МАТИЛЬДА

рассказ

Матильда плыла, получая наслаждение от нежного касания тёплой солёной воды к телу, обтеканию тихих струй вдоль боков. Она так любила эти ощущения, когда океан спокоен и ласков, и она чувствует, что ещё молода и сильна, и плыть может далеко, почти бесконечно, а если нырнуть, то можно погрузиться в шёлковые заросли талассии и зостеры. И тогда её тела будут касаться их стебли, а все эти ощущения и есть радость жизни.



Но сейчас она не может нырять, куда и когда ей вздумается, потому что на спине прикреплён веревками груз с разными приборами, и она послушно следует туда, куда тянет её за веревку то существо, которое стоит на палубе.

Научно-исследовательское судно английского географического общества дрейфовало в водах западной части Тихого океана уже четыре месяца. Экспедиция подходила к концу. Учёные исследовали пути миграции планктона, температуру воды в разных слоях океанской толщи, и многое другое. Опускали в воду приборы, которые на разной глубине давали свои показания, втягивали в себя заборы воды, а потом водолазы, тянувшие их на себе, поднимали наверх, и показания приборов изучали специалисты.

К концу первого месяца один из матросов заметил, что за ними почти непрерывно следует молодая Зелёная черепаха, с любопытством вытягивает шею, желая разглядеть, что делается на палубе. Иногда кок кидает ей остатки рыбы. Матрос сообщил команде. Огромная, несмотря на небольшой ещё возраст, лет двадцать, как определил судовой биолог, черепаха стала их талисманом, необычностью, выделявшей их судно из ряда других, таких же морских исследователей.

Когда за борт спускались водолазы, черепаха подплывала к ним и даже несколько раз ткнулась носом в водолазный костюм.

Матильда жалела эти существа, живущие на большой плавучей коробке. Они казались ей слишком уязвимыми. Эти тонкотелье, нежные люди, самая закудалая акула может перекусить их одним взмахом челюстей! У них нет ни панциря, как у неё, ни толстой кожи, как у кита, ни такой защиты, как у электрического ската. Хорошо хоть, что те, кто спускаются в воду, надевают на себя вторую кожу. Она попробовала её на ощупь, кожа была гладкая и прочная. Увидев, как она тычется в водолазный костюм, люди на палубе засмеялись.

Однажды один из водолазов поставил на её панцирь прибор, придерживая его рукой, пока привязывал к другому. Матильда замерла, чтобы эта коробка не соскользнула с неё, тихонько пошевеливая лапами-ластами.

Так началась её новая жизнь.

Утром водолазы привязывали к её панцирю груды разной техники, и Матильда погружалась на небольшую глубину, поворачивала то влево, то вправо, следуя указаниям верёвки, обхватывавшей её шею. Она была очень сообразительна и команды выполняла с удовольствием. Приборы работали, как обычно, до самого вечера, когда Матильду освобождали от груза, и она подплывала к корме, где кок угощал её всякими вкусностями – моллюсками и медузами, которые запутывались в груде веревок, обвязывавших приборы. Матильда давно уже не искала водоросли на обед, а её тело, питаясь вкусной и богатой белками пищей, становилось день ото дня все сильнее.

Иногда Матильда вспоминала своё прежнее времяпрепровождение. Поиски пищи, ленивое покачивание на волнах в ожидании того единственного момента раз в год, когда настанет время спаривания, и она устремится на мелководье возле острова Вознесения, где будет ждать обычный партнёр, а может быть другой, и она понесёт в своём чреве кожистые круглые яички с зародышами внутри, которые после закопает в жарком песке на берегу. А потом, стремясь попасть в прохладную воду до подъёма солнца, устремится обратно в волны океана. Солнце она не любила. Оно сушило её кожу на лапах. Солнце полезно только крохотным черепашкам, пока они зреют внутри яичек, и когда придёт время, они вылупятся, пробьют себе дорогу сквозь песок, насыпанный сверху матерью, и поползут в море, влекомые инстинктом. Из ста малышей, устремившихся к воде, останется в живых один-два. Других склюют хищные птицы или подберут хищные люди, которые варят из них суп.

Какая скучная, никчемная жизнь та, которую Матильда вела до сих пор! Какая бессмыслица!

То ли дело сейчас – она важная персона, и по утрам к ней сходятся несколько тонкотельих людей, нагружают её приборами, следят за ней, что-то говорят, обращаясь именно к ней. Матильда понимала тональный свист – язык дельфинов, но язык тонкотельих она понять не могла. Какой-то он грубый. Но она прекрасно понимала интонации, настроения людей, обращение к себе. На уровне интуиции она понимала всё. И понимала, что от неё зависит работа на этом судне, что она сейчас здесь, чуть ли не главная. Недаром, когда с её панциря снимают приборы, столько людей устремляется к ним.

Так прошли, пробежали три жарких месяца, и научная экспедиция подошла к концу.

Все образцы были уложены в полиэтиленовые пакетики, опечатаны, описаны, все, даже самые мелкие события плавания, занесены в судовой журнал, и судно развернулось носом к родному дому.

Это было первое утро в чреде других, когда Матильду не нагрузили, не обвязали шею верёвкой и не призвали на обычную работу. Сначала она спокойно ждала, потом принялась плавать вдоль борта,



напоминая о себе. Никто не обращал на неё внимания. Люди бегали по палубе с радостными лицами, хлопали друг друга по плечам.

Потом раздалась привычные звуки запуска двигателя, и судно поплыло с необычной для Матильды скоростью, прочь. Матильда бросилась вслед, стучала мордой о корпус. Она могла развить скорость до тридцати пяти километров в час, но она не понимала, почему её не зовут за собой, больше того, когда она подплывала к борту, люди отталкивали её палкой и кричали.

Тонкотелье кричали на неё, они больше не нуждались в ней! Она лишилась своей работы, она больше никому не была нужна!

Растерянность и горечь охватили её.

Матильда остановилась, слегка загребая лапами, пытаясь осознать свалившуюся на неё беду, но так и не нашла объяснений.

Развернулась и медленно поплыла прочь, физически ощущая поселившуюся в ней пустоту.

Мелкий осенний дождик стучал по стенам здания, в котором заседала океанологическая секция Королевского географического общества. О результатах экспедиции в западной части Тихого океана докладывал пожилой профессор. Он рассказал почтенным собравшимся в зале учёным мужам о собранных интереснейших материалах, образцах и новых сведениях об океанических течениях. Но самая любопытная часть доклада ожидала в конце, когда профессор рассказал, как команда судна сумела приручить Зелёную или суповую, черепаху рода *Chelonia mydas*, которая относится к семейству морских черепах *Cheloniidae*. Обычная длина панциря около одного метра, масса сто-двести килограммов. Но у этой особи длина панциря достигала полутора метров, что позволило приспособить её для перевозки грузов по воде. Животному дали кличку Матильда, на которую оно даже поворачивало голову, проявляя послушание и удивительную сообразительность. Таким образом, ещё одним достижением экспедиции можно считать доказательство, что гигантские морские черепахи имеют достаточный интеллект и поддаются дрессировке.

– Возможно ли в дальнейшем привлекать этих черепах к различным работам? – раздался голос из зала. – Может быть, выращивать специально для транспортировки грузов по морю?

– Не думаю, коллега, – отозвался профессор. – Гигантская Зелёная черепаха недаром называется суповой, у неё очень нежное мясо, и охотники почти истребили этот вид. К тому же необычайно крепкий и красивый панцирь черепахи служит сырьём для изготовления шкатулок, женских гребней и украшений. В ресторанах и лавках Гонконга, Сингапура и других местах Средней Азии цена мяса и панциря поднимается в десятки и даже сотни раз от цены, получаемой за неё охотниками. Данная черепаха занесена в Красную книгу. Охота на неё карается законом, хотя браконьеры не оставляют попыток ловли, несмотря на возможность попасть в тюрьму. Уж больно они дороги. Такой экземпляр, как эта Матильда, стоит уйму денег. Да и смысла нет, использовать панцирь черепахи как грузовую платформу. Любой катерок справится с этой задачей намного лучше. Однако редкий казус, имевший место в последней экспедиции, имеет исключительно интересное научное значение.

Матильду долго не оставляло чувство обиды, и она уже было решила вообще никогда не подплывать к парходам тонкотелье. Но через месяц после того, как её так жестоко и непонятно отогнали от судна, она увидела на горизонте знакомый силуэт. Возможно, это они возвращаются за мной. Или просто плывут мимо. В любом случае нужно подплыть ближе, чтобы определить, что это такое.

Приблизившись, Матильда поняла, что это не её судно. Это было уже, длиннее и с более низкими бортами. Она остановилась в раздумье, постучать носом о борт, или её заметят и так. Тонкотелье, плывшие на этом судне, тоже немного отличались от прежних. У них была такая же нежная и ранимая кожа, но темнее цветом, и, разговаривая между собой, они произносили незнакомые Матильде звуки.

Перед глазами возникло какое-то белёсое облако, и Матильда не сразу поняла, что вокруг неё просто кишат рыбы и другие живности, облако сжимается и влечет её вперед. Испугавшись, она рванулась назад и наткнулась на тонкую металлическую сеть. Рыбы бились о сеть, оставляя на ней куски мяса, вода темнела от их крови. Матильда подумала, что с разбегу может порвать сеть, ведь она такая сильная. Она разогналась, раздвигая боками панциря всех остальных, втянула голову под панцирь и с маху ударилась о сеть, её отбросило назад. Сеть оказалась необыкновенно прочной. Вокруг кишели, металась около неё в страшной панике, рыбы, скаты, другие черепахи и прочие морские обитатели. Сеть тащила их вперёд.

Матросы на палубе вращали рукоять подъёмного механизма, подтягивая сеть к корме.

Внезапно тонко тьякнула сирена тревоги. Рыжий матрос, крутивший рукоять, оглянулся и застопорил механизм. Другой побежал, выяснять, в чём дело.



– Кэп сказал, быстро выпускай всё за борт, сеть вбираем! Там Гринпис на подходе!

– Ты что? Такая добыча!

– К чертям все, сейчас на борт поднимутся, шмон делать!

Рыжий колебался.

– Я по тяжести чувствую, там...

Второй подбежал, рванул рукоять назад.

– Не ори, будет ещё нам удача!

Он резко потянул рычаг.

За кормой, ниже ватерлинии, раскрылась металлическая пасть ловушки, и на волю хлынули черепахи, предназначенные на суп, скаты, предназначенные на кошельки, акулы-подростки, чьи нежные плавники ожидали в ресторанах Гонконга и Парижа. Вся эта океаническая живность, замершая было в жутком ледяном ожидании неминуемого конца, рванула на свободу в тёплую сине-зелёную ширь и глубину океана, не обращая внимания на плывущих рядом товарищей по несчастью, которых в другой раз непременно оценила бы как возможную пищу в обеденный час.

Втянулась в отверстие в борту металлическая, позеленевшая от морской воды сеть, улыбающийся капитан встречал у трапа инспекторов Гринпис.

Радист, задравшийся в рубке, срочно передавал сигнал тревоги другим траулерам, занимавшимся незаконной добычей в регионе.

Матильда, узнавшая в своё время, что такое сотрудничество с людьми, так и не поняла, что находилась в паге от смерти. Своё приключение она, в конечном счете, расценила, как непонятную морским обитателям работу, проведённую людьми, и вскоре снова осталась одна на просторах бегущих волн, подгоняемых отрывистым дыханием ветра.

Так пробежали два месяца, монотонных, одиноких, наполненных поисками пищи, спусками вниз за водорослями и мелкой живностью, и подъёмами вверх, для вдыхания воздуха.

Ничто не нарушало её покой, даже штормы, казалось, позабыли о той части океана, где лениво плавала Матильда.

Однажды она ощутила легкое беспокойство в теле и поняла, что настало время отправиться на остров Вознесения, где ждёт её на мелководе самец, и горячий песок, куда она отложит свои яйца для продолжения рода.

Прошло и это событие, и снова настала скука и тоска по общению с людьми и настоящим делом, единственным настоящим делом, которым она считала то, к чему они её приучили.

И, наконец, Матильде пришла в голову идея.

Она знает одно побережье, где всегда много тонкотелых людей. Каждый день они собираются там, лежат на песке, изредка переворачиваясь со спины на живот и обратно.

Матильду всегда поражала эта особенность тонкотелых. Она знала, что если её перевернуть на спину, на панцирь, то сама она никогда не сможет повернуться на живот, а люди делают это так легко.

Там есть большая скала, солнце встает прямо из-за неё. Матильда поплывёт к тому побережью и вылезет на берег.

Когда солнце выйдет из-за скалы, туда придут тонкотелые, их женщины и детеныши. Они всегда приходят туда, когда солнце поднимается выше линии горизонта.

Среди них обязательно найдутся те, что возьмут её на службу, и жизнь снова обретёт смысл, наполненность и значимость.

Матильда с трудом подтягивала своё большое тело по песку, чтобы уютно улечься у подножия скалы, там её невозможно будет не заметить. Она подгребла лапами песок себе под голову, чтобы хорошо видеть поверх песка и не пропустить прихода тонкотелых людей, по которым так соскучилась. Принялась ждать.

Солнце окрасило коралловым цветом песок слева от скалы, где лежала Матильда. До её лежбища оставалось всего несколько метров. На склонах, ведущих к океану, показались первые человеческие силуэты.

Распахнулись двери ресторана «Азиатская кухня», стоящего на возвышении, молодой официант протёр салфеткой стёкла дверей и вывесил табличку «Добро пожаловать».

Матильда терпеливо ждала...



И ПЛЫЛ НАД НАЗАРЕТОМ АРОМАТ...

рассказ

Божественного мирта, и аромат миндаля влетался в его струи. Воздух был густ и необычен. Настоянный на запахах цветов и ожидании счастья, которое непременно наступит.

Мириам возвращалась от своей подруги Хавы. Она улыбалась про себя, вспоминая, как наклонялась над каменным ложем, куда Хава уложила своего первенца, маленького Исаака, чтобы перепеленать. Малыш родился всего девять дней назад, и до восьмого дня, пока священник не совершил над ним обряд обрезания, посвящая Богу, Мириам не позволяла себе прийти к подруге. Пока малыш не обрезан, он слаб, и его можно легко слазить, пусть того не желая. Но после обрезания, мальчик вошёл в Завет Божий и тёмные силы не так уж легко могут ему повредить.

Хава сияла, показывая подруге крепенького розового малыша, сучившего ножками и ручками, пускавшего из беззубого ротика пузырьки. И Мириам не могла сдерживать восхищения тоже. Совсем ещё юная, но выросшая в строгой патриархальной семье, Мириам считала главной добродетелью женщины поддержание семейного очага и материнство, которому каждая благовоспитанная женщина должна отдать себя всю, без остатка.

Поэтому так не терпелось ей нанести Хаве не только необходимый визит вежливости, но и самой получить удовольствие от созерцания этой новой, народившейся жизни. Помечтать о будущем собственном младенце, таком же пухленьком, здоровом малыше с коротенькими волосиками на макушке и настоящими ногтиками на крохотных ручках. И это удовольствие Мириам получила у Хавы сполна.

Мириам спускалась в свой дом в Нижнем Назарете по узкой улочке, зажатой с двух сторон белыми домами из почти необработанного камня. К дверям домов были прибиты кожаные мезузы. За низкими оградами текла домашняя жизнь, женщины пряли, толкли в ступе ячмень и пшбу. Пекли на очагах лепёшки. Мужчин почти не было видно, весна – время полевых работ.

Подходя к дому, Мириам заметила, что плетёная из лозы калитка неплотно прикрыта, а внутри двора, поросшего кустами бегонии и пиростегии, кто-то есть. В тихом, маленьком Назарете, можно было не опасаться преступников, и Мириам не слишком взволновалась, но подумала, что родителей дома нет, иначе бы они позвали гостя внутрь.

На большом камне под кустом цветущего каллистемона сидел мужчина высокого роста, завернувшись в просторный светлый плащ. При виде Мириам, он встал и протянул к ней ладонь в приветствии.

– Здравствуй, Мириам!

– Здравствуй, господин! Ты, наверное, пришёл к моему отцу, Иоакиму?

– Нет, я к тебе, Мириам.

Мириам удивилась. Не принято было в древнем Израиле, чтобы к молодым девушкам, незамужним, приходили гости мужского пола, да ещё разговаривали с ними так свободно в отсутствие родителей. Мириам не знала, как себя вести. Не прогонять же гостя со двора.

Незнакомец улыбнулся ей, и вдруг она ощутила, что тревога куда-то улетучилась, и ей стало спокойно и хорошо. Даже удивительно хорошо. Странно.

Незнакомец снова сел на камень и жестом пригласил Мириам занять место на другом камне, поменьше. Она повиновалась.

– Ты была у своей подруги Хавы, навестила её после родов, так?

– Да, господин.

Мириам ничуть не удивилась осведомленности гостя. Теперь ей всё казалось обычным и каким-то приятным.

– Понравился малыш?

– Да, господин. Он такой миленький.

– У тебя скоро тоже будет такой.

Мириам рассмеялась.

– Ну, для этого сначала надо выйти замуж. А у меня ещё даже жениха нет. Вот мой отец определит мне в мужья достойного человека, тогда и стану женой. Как Хава.

– Ты выйдешь замуж, родишь не от мужа.

Мириам нахмурилась. Сказала резко.

– Что это значит? Ты обижаешь меня, господин. Разве я дала тебе повод?



– Нет. Но отцом твоего ребёнка станет не земной человек. Ты понесёшь своё дитя от Божественного Слова. Никто не прикаснется к тебе, к твоему телу, но в твоём чреве возникнет жизнь и родится Сын Человеческий, Сын Божий. И понесёт благодать по миру.

– Так не бывает.

– Так будет. Радуйся Благодатная Мириам, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, ибо избрана среди всех.

Мириам чувствовала, что незнакомец не шутит. Он был слишком серьёзен и торжествен. И не поверить ему было нельзя.

– Но я простая девушка. Почему я?

– Твой отец из рода царя Давида. А значит, ты тоже. Хочешь знать, что будет с тобой дальше?

– Да, хочу, – воскликнула Мириам, – расскажи мне.

– Я покажу. Сядь поудобнее на этот камень и закрой глаза. Помолчи. И взглядишь внутренним взором в будущее твоё и других людей.

С любопытством и радостью, свойственным юности, Мириам закрыла глаза и погрузилась в мир видений, открытый ей незнакомцем.

– Ооо! Что это? Это я в таких нарядных одеждах стою на возвышении и говорю к людям? А это моя статуя! Господь не велит изображать людей! Но я здесь на этих чудных картинах! В том самом синем шелковом плаще, вышитом звездами Давида, который я пошла себе к празднику Хануки! Как может быть это?

– Смотри, Мириам, смотри внутренним взором, сейчас ты увидишь свою статую на тех континентах, которые ещё никому не известны. Тебя будут называть Царицей Небесной!

– Вот, я вижу, господин, статуя на шесте, с моим лицом, в таких красивых одеждах, какие носят только жены царей! Её несут люди, они текут рекой, их сотни, тысячи, сплошная река из людей. Они становятся на колени и молятся этой статуе, мне так неловко, господин, чем заслужила я это? И что это за люди? Они такие странные, непохожие на евреев!

– Это не евреи, Мириам. Все народы земли будут поклоняться тебе. Все народы, белые, чёрные, жёлтые, краснокожие назовут тебе Владычицей мира. Те, кого ты видишь, они ещё не родились. И те земли, на которых они живут, ещё не открыты, только через полторы тысячи лет к этим землям приплывут корабли. И нос одной из каравелл тоже будет украшен твоей резной статуей. Эта каравелла будет называться «Санта-Мария».

Мириам вскочила с камня и открыла сверкающие негодованием глаза.

– Это неправда, господин, ты смеёшься надо мной, незнакомец! Зачем ты делаешь это? Сначала проник в мою душу разговорами о будущем младенце, а потом стал насмехаться над моими чувствами. Стыдно тебе должно быть! Я не могу более оставаться наедине с чужим мужчиной. Тебе следует уйти, а если тебе нужен мой отец, подожди его за оградой!

– Мне жаль, Мириам, – незнакомец и не думал уходить, – но я должен сказать тебе не только о том счастье и поклонении, которое ждёт тебя в будущем. Но и о страданиях, которые ты претерпишь из-за сына. О том, что повергнет тебя в большое горе. Младенец, которого ты родишь, вырастет и будет распят на кресте, на горе Голгофа, рядом с простыми разбойниками. Я пришёл сюда предупредить тебя и дать сделать выбор.

Мириам отступила на шаг и подняла лицо к незнакомцу. Он был серьёзен, он не шутил. Более того, он смотрел на неё с состраданием. Глаза Мириам затуманились. Она наклонила голову, чтобы скрыть своё отчаяние, и солнечные лучи скользили по её гладким чёрным волосам, стекая с них на землю золотистыми каплями.

– Зачем это всё нужно, господин? Почему я не могу прожить обычную, нормальную жизнь без потрясений? Мне не нужны эти почести. Я хочу, чтобы мой будущий сын был жив. И чтобы он тоже прожил обычную, но долгую и счастливую жизнь.

– Кто-то должен взять на себя то, что должен. Если не ты, другая, но она тоже не захочет, чтобы её сын был распят. Никто никогда не хочет брать на себя тяжёлую миссию, но кто-то должен взять.

В маленьком цветущем дворике повисла тишина.

– Вас будет четверо, – продолжил незнакомец, – и никто не захочет взять на себя свою миссию добровольно, но возьмут всё.

– Кто эти четверо? – Спросила Мириам.

– Ты, твой сын Иешуа, он будет просить Господа избавить его, если можно, от страданий, наместник империи Понтий Пилат, который просто подчинится закону Рима, и Иуда, которому придётся тяжелее всех.



– Иуда? Я знаю его?

– Ещё нет. Он станет учеником твоего сына и предаст его в руки стражи, утром на рассвете, 14 нисана, через тридцать три года и девять месяцев от сего дня. Ему будет очень тяжело это сделать, он не захочет, но подчинится велению Господа. Потому что Иешуа должен быть вознесён на Кресте, и каждый сыграет в том свою роль. Только ты и Иешуа будете возвеличены людьми, а Иуда ими проклят, и покончит с собой, не вынеся тяжести содеянного. И потому его доля самая несчастная из всех.

Мириам подняла вверх тонкие смуглые руки и закрыла ими лицо, по которому покатались слёзы. Её плечи содрогались от рыданий.

– Я не хочу, не хочу! Столько страданий! Зачем? Я хочу простой, обычной жизни, хочу видеть, как растёт мой малыш, как учится ходить, как рыбачит подростком на озере Кинерет. Я хочу дождаться внуков от него. Я хочу быть счастливой матерью обычного человека! И не хочу, чтобы рядом с моим сыном страдали другие. За что нам это? Кому это нужно, незнакомец, скажи!

– Твой сын станет проповедником в земле Израиля. И за ним пойдут миллионы людей, пойдут к Истине, к Богу! Он освободит евреев от исполнения 630 заповедей, и оставит только десять. Потому что настало время распространить веру в Единого Творца Вселенной на весь мир, но заповедей иудаизма слишком много для простых людей, они непонятны и тяжелы для исполнения. Нужна одна идея, простая, она объединит народы.

– Пускай, если он станет проповедником, я буду только счастлива, но для чего ему погибать на Кресте?

– Мириам! Проповедников, несущих идею единого живого Бога было много в истории Израиля. Их слышали и забывали. Нужна жертва, жертва которую принесёт сам Господь за людей, которая поразит их ум и душу, и поведёт за собой. Такой жертвой станет твой Сын. Он вознесётся на Кресте над народами, над темнотой и невежеством, и вслед за ним люди пойдут к свету. А ты станешь царицей над ними.

– Нет, нет, нет! Пусть другая, другая, не я, я не вынесу этого. Мне не нужно царства, богатств, почестей, славы, мне нужен мой сын, живой и невредимый, просто мой сын и ничего больше, я не променяю сына на царство, незнакомец! Как зовут тебя?

– Гавриил.

– Гавриил. Человек Божий и ты предлагаешь мне согласиться с убийством моего сына?

– Не я предлагаю, Господь. Он тоже несёт эту жертву, ведь твой сын будет и Его сыном.

– Господь жесток, – воскликнула Мириам.

– Необходимость... Есть высшая необходимость. И ей подчиняется человек, ибо так правильно и только так может развиваться человечество.

Они замолчали.

– Ты должна понять, Мириам... Ты не принадлежишь себе...

Время шло, яркий солнечный свет потускнел, солнце начало клониться к земле, оставляя за собой всё более длинные тени.

Мириам сидела на камне, склонив лицо в ладони, её длинные шёлковые косы рассыпались по спине.

Гавриил подошел к ней и провёл рукой по её голове.

Повернулся и пошел прочь.

Подул ветер, понёс вдоль улиц аромат мирта, миндаля и других цветущих деревьев, коими полнится земля Израиля в изобилии. Ветки шевелились от ветра, и с них опадали вниз белые и розовые лепестки, устилая улицу, по которой шел Гавриил, мягким ковром.

Мужчины уже возвращались с полей, а женщины звали домой играющих на улицах детей.

Гавриил остановил мальчика лет восьми, пробегавшего мимо с деревянной игрушкой в руке. У него были смеющиеся карие глаза и кудрявые каштановые волосы.

– Подожди, мальчик. Откуда у тебя этот волчок?

– Мне подарили на праздник Ту-Би-Шват, господин. Если ты хочешь такой, можешь пойти к плотнику Иосифу, он вырежет тебе из дерева.

– Ты живёшь вон в том доме, я правильно понял?

– Да, господин. Не задерживай меня, мама будет волноваться, если я не приду вовремя на её зов.

– Хорошо, я только хотел спросить, ты счастлив?

Ребёнок посмотрел на него с удивлением.

– Я не знаю, что такое счастлив. Я ещё слишком маленький, наверное. Ты задаёшь мне странные вопросы, господин. Я люблю свою маму, и отца и братиков, и сестричек. Я люблю всех людей. И мне хорошо.

– Тебя зовут Иуда?

– Да.

– Прощай, малыш. У тебя ещё есть годы, пока...

Гавриил вздохнул и снова пустился в путь.

Из-под его плаща вылетело белое кудрявое перо и легло на светлый ковёр опавших с деревьев лепестков, потом второе...

И уже не было видно, где лепестки, а где мягкие, нежные перья...

В ПОЛНОЧЬ, КАЖДУЮ ПОЛНОЧЬ...

рассказ

Он лёг на кровать и закурил сигарету. До полночи оставалось минут десять. Часы висели на стене, обращённой к изножью кровати, так что он их видел. Слева от часов дверь.

Половина первого. Никого нет. Он принял последний окурочек и выбросил его в пепельницу. Неужели...

В груди ощущался холодок лёгкой паники. Ну, что ж...

Он закрыл глаза и постарался не думать о ней. Если бы мог не думать...

До его ноздрей донёсся лёгкий запах ореховых листьев. Так они пахнут, если растереть лист между пальцами летом, когда сами орехи ещё маленькие, а листья ещё сочные.

Не открывая глаз, он улыбнулся краешками губ, и как всегда, когда он ощущал этот запах, теплом залило грудь, напряглись мышцы живота, и кровь побежала быстрее по жилам.

Открыл глаза.

Она стояла у двери в тонком белом платье с кружевами по подолу, в котором всегда приходила к нему. В другом она и не могла прийти.

– Ты здесь, – радостно прошептал он.

– Да.

– А грозились, что больше не придёшь.

– Что у тебя было сегодня с начальником? Он принял заявление?

– Да. Я его переломил.

– Как хорошо.

– Подойди ближе.

– Нет.

– Не бойся. Я больше не буду так себя вести. Обещаю. Я буду сдерживать себя. Знаешь, когда я подумал, что ты больше не придёшь, я чуть не умер от ужаса. А почувствовав запах ореха, воскрес снова. Раньше ты пахла духами «Шалимар» от Герлен. Я сходил с ума от этого запаха. Ты уходила, а у меня всё пахло тобой. Постель, ванная, диванчик в кухне...

– Последний раз ты подарил мне «сотку» в зелёном непрозрачном флаконе на день рождения. Я успела только немного им попользоваться. Лучший аромат мира.

– Когда я вбежал в тот номер, где ты была с Борисом, там пахло «Шалимаром». И у меня крыша поехала. Ты была с ним и пахла тем самым запахом. Понимаешь?

– Прекрати, ты снова о том же. Не рви себе сердце.

– Он раздевал тебя, или ты сама раздевалась?

– Пожалуйста, не надо...

– Сама, да? Он целовал твой затылок? Ты так любила это.

– Я не буду...

– И целовал твои бёдра, я знаю. Ты всегда требовала, тебе нравилось.

– Я сейчас уйду.

– Твои бёдра... светлые, такая нежная кожа, гладкая, я помню этот шёлк. И это блаженство – скользить по ним губами.

– Прошло восемь лет. Зачем вспоминать?

– Я не могу забыть.

– Мы не можем ничего изменить. Надо смириться.

– Не могу.

– Как бы я хотела вернуться в то время. В то время, которое было до того, как ты меня убил.



– Да. Но я не жалею.

– Не жалеешь!

– Нет. И убил бы тебя второй раз.

– Ты и хочешь это сделать. И можешь, потому я боюсь тебя. Но зачем? Я не смогу приходить к тебе больше, даже в этом астральном теле, мы потеряем контакт, наше общение. Прошу тебя, не надо! Хотя так, но мы всё-таки вместе!

– А ты там на том свете, ведь общаешься с ним, правда? Он ведь тоже там, вместе с тобой, убитый мною.

– Мы в разных местах, потому что прожили разную жизнь. Я его не вижу. Да и не хочу. И не хочу больше обманывать тебя. Я прихожу к тебе каждую ночь. К тебе, а не к нему.

– Зачем ты тогда это сделала? Разве тебе было плохо со мной? Скажи, ну зачем? Мы оба потеряли на этом. Я свободу, ты – жизнь. Разве оно стоило того?

– Клянусь, не знаю. Наваждение какое-то. Не могу понять, что меня тогда понесло. Голова кружилась, я просто ничего не соображала. Прости, я, правда, очень сожалею, прости...

– А я у тебя прощения не прошу. И у него тоже. Здесь, в тюрьме, есть часовня. Мы ходим туда молиться. Я молюсь за своих близких, за маму. Я причинил ей такое горе. Но за тебя и за него, ни разу не помолился, не поставил свечи. Не хочу. Вы заслужили свою участь.

– Ты не Господь! Кто ты такой, чтобы судить нас?

– Я человек. Обманутый, с разорванным сердцем, моя боль не проходит, а ей уже восемь лет. У меня пожизненное, за двойное убийство. Суд не принял доводы адвоката о состоянии аффекта, я проведу в этой камере всю оставшуюся жизнь. Здесь я увидел свои первые седые волосы в зеркальце для бритья. Здесь я впервые увидел свои горькие складки у рта. Здесь я состарюсь, стану немощным и умру. Я никогда больше не увижу волны на море и пену на их гребнях. Я ничего больше не увижу, кроме этой камеры, дворика для прогулок десять на десять, и клочка неба в маленьком окошке моей одиночки. Там иногда пролетают птицы и неспешно плывут облака. Ты живее меня, понимаешь?

– Понимаю. Мне так жаль. Я виновата перед тобой. Но, то было просто наваждение, минутная слабость. Разве нельзя было простить... Прости сейчас...

В камере повисла тишина. Она стояла у двери, придерживая рукой бумажную розу на венчике, которым был укрыт её лоб. Он подумал, что когда её клали в гроб, венчик лежал на лбу, а сейчас она стоит, и потому он падает вниз, но зачем ей этот венчик? Не всё ли равно теперь? Может быть там такие правила? Она тоже навсегда осталась в этом белом платье, кружева которого уже истрепаны и пожелтели. Она тоже никогда не ступит ногой в морскую прохладную волну, не поднимет к солнцу лицо с зажмуренными глазами, чтобы ощутить его живое тепло. Может быть, она права, и ему надо было сдержаться, не выпускать на волю свой гнев, но разве он мог?

Самое страшное в этой жизни, то, что она проходит, и то, что пройденное нельзя изменить. Жить надо ответственно, да, вот она, истина. А толку что? Истина приходит только тогда, когда уже ничего нельзя изменить. Ответственность несёшь за прошлое. А надо за будущее, но его никто не знает, вот в чём беда.

– Подойди ко мне, – сказал он с тоской.

– Нет. Ты убьёшь меня второй раз.

– Почему от тебя пахнет ореховыми листьями?

– Это дерево, которое отец посадил на моей могиле. Орех. Осенью с него падают листья, гниют. Их запахом пропитано моё тело, платье, гроб. Он взял ветку от орехового дерева, которое я посадила у нас на даче ещё подростком, и привил на то, что уже росло в изголовье, за крестом.

– Я полюбил этот запах. Он возбуждает меня так же, как раньше «Шалимар» и запах твоего тела, подмышек, низа твоего живота. Я некрофил, да? Но ведь ты для меня живая.

– В *там* мире мы для себя все живые. Но если ты обнимешь меня, прижмёшь к себе, земля вытянет моё астральное тело в себя через твоё, ведь я всего лишь сгусток энергии и мысли. И я перестану существовать даже в таком виде.

– Это я и хочу сделать, убить тебя ещё раз! Потому что во мне до сих пор все кипит, я помню тебя обнажённую, прильнувшую к его телу, к его груди, и твоя нога лежала на его ногах! Помню, как ты в испуге запрокинула голову и смотрела на меня как загнанное животное, ты всё поняла, потому, что у меня в руках был нож! Мне мало, что я убил тебя тогда, я хочу отомстить ещё! Ещё хотя бы раз!

– Но ты потеряешь меня навсегда, – сказала она с отчаянием.

– Я хочу, и мне даже нож для этого не нужен! Я любил тебя больше себя, больше даже... страшно сказать, больше матери, а ты предала, ты отдала себя ему, чужому для нас человеку, как я пережил это? Почему я сам жив до сих пор?



– Ты ненормальный! Не возводи происшедшее в культ, это всего лишь плотская близость, не больше, это не любовь, я любила только тебя, он всего эпизод!

– Ты считаешь так, а я иначе. Для меня наша близость была святой. Ты унизила, растоптала её.

Снова повисла тишина.

– Я боюсь тебя. Я больше не приду. Не хочу потерять своё существование *там*. Всё-таки у меня тоже какая-то жизнь. Не хочу её терять.

– Значит, ты меня не любишь. Своё астральное тело, своё призрачное существование, своё небытие, вот это истлевшее платье, этот бумажный помятый венчик, ты любишь больше, чем меня!

– Прошу, не мучай. Мы хоть так можем с тобой говорить, делиться мыслями. Зачем разрушать то малое, что есть?

– Гнилые листья ореха. Вот, что осталось от моей любви. От меня. Я старею. Покрываюсь морщинами. А ты остаешься молодой. Это несправедливо.

– Ты эгоист. Да и почему, собственно, ты должен был владеть мной один?

Он скрипнул зубами и вскочил на ноги. Сделал шаг к ней. Второй.

Она вскрикнула, рванулась к дверям. Пронеслась сквозь них испуганным облаком.

Он застонал и, тяжело шаркая, вернулся к кровати. Лёг на живот, уткнулся лицом в жёсткую подушку.

За маленьким оконцем тёмная синева начала расплываться, появились первые серенькие просветы.

Тюремные тараканы, не найдя ничего особенно вкусного, отправились по своим щелям.

Вдали, в коридоре, послышался лязг связки ключей и кашель, видимо, дежурный охранник совершал предупредительный обход.

Он встал, налил из ржавого крана воды в эмалированную кружку, выпил и снова лёг...

И снова полночь вступила в свои права. Он снова лежал на койке, курил и смотрел на часы. До двенадцати оставалось минут десять.

Половина первого.

Два часа ночи.

Три.

Никого нет. Он принял последний окурок и выбросил его в пепельницу. Всё.

Ну, что ж...

Он закрыл глаза и постарался не думать о ней. Если бы мог не думать...

До его ноздрей донесся лёгкий запах ореховых листьев. Так они пахнут, если растереть лист между пальцами летом, когда сами орехи ещё маленькие, а листья ещё сочные.

Не открывая глаз, он улыбнулся краешками губ, и как всегда, когда он ощущал этот запах, теплом залило грудь, напряглись мышцы живота, и кровь побежала быстрее по жилам.

Открыл глаза.

Она стояла у двери в тонком белом платье с кружевами по подолу, в котором всегда приходила к нему. В другом она и не могла прийти.

– Ты здесь, – радостно прошептал он.

– Я люблю тебя, – прошелестело от двери.

ПАВЕЛ ЛУКАШ

В ЭТОМ ЛИЧНОМ ЗООСАДЕ

Протягиваю длань, как встарь
какой-нибудь святой
из неизвестной стороны
явившийся на день,

и говорю: убогий встань
и проходи – не стой,
побрейся и надень штаны,
и тапочки надень.

Пойду в нормальный гастроном,
а то ларьки, ларьки...
В минувшее дороги нет –
хоть из дому уйду...

Маниакальный астроном
считает огоньки,
поэму полиглот-поэт
слагает на урду...

Только не питай иллюзий – то есть,
хоть прощупай вдоль и поперёк,
я не есть ни истина, ни совесть,
ни мудрец, ни гуру, ни пророк...

Из меня и прибыли не выбить,
всё, что ухитрюсь привносить,
как-то не поцеловать, не выпить
и не то чтоб даже закусить...

Да – поэт... Но тем я интересен,
и за то простятся мне грехи,
что не написал картин и песен
(музыку на кровные стихи).

Разве, иногда – созвучны таре
три моих аккорда на гитаре,
графика в тетрадных площадях...
В тайне, в тишине, не при людях.

Могу сказать, что кто-то глуп,
задеть, обидно удивить,
не дать достаточно «на чай»,
похитить антиквариат,

и плюнуть в суп или на труп,
забыть, забить и удавить... –
могу обидеть невзначай,
но я ни в чём не виноват.

С давних пор – когда ополоумел,
как Восток – всё стало нипочём.
Отвлечён, кифирист, полнолунен –
старчески отёчен, обречён...

Так живу – и фарисей, и книжник –
неопределенный интеграл.
Древний Сфинкс – покоцанный буближник,
в детстве ты хвостом своим играл?

Я смотрел на Фудзияму
(служба – остров Шикотан),
вспоминал Шекспира драму,
и ужасно хохотал.

На Медведицу Большую
я смотрел на том же Ши...
В соответствии фэншюю,
веселился от души.

А затем, когда потеха
становилась велика,
я смотреть не мог без смеха
на спасительный АК.

Но душа моя согласна
с тем, что было что-то там:
вдвое больше пайка масла –
всё же остров Шикотан.



Любовь, досада, трактор «Беларусь»...
мигрируют другою тракторией –
когда со старой жизнью разберусь,
тогда займусь новейшею историей.

Необратимо, соразмерно стажу,
Пройдёт и это – терниями, бортиком.
Вот только с чёртиками всё улажу,
как только разберусь с последним чёртиком...

Кто-то, зная всё заранее –
где когда какая хрень,
навсегда похерил знание
чтоб не мучала мигрень.

Кто-то, будучи особою
развлекайся-не-хочу,
на спор водку шёл «Особую»,
а потом ходил к врачу.

Кто-то прокатился валиком.
Кто-то подавился валенком.
Тот, кто по воде ступал –
в википедию попал.

Последнее слово пусть будет за нею –
там ноги в мозолях, и в тыкву карета...
Ну, жалко мне что ли? – не осатанею...
Тем более – нет интернета.

Пришёл один толстый (знакомые глазки),
я тоже в системе, и знаю про это:
звонит как бы в офис, а всё для отмазки –
не будет пока интернета.

А я где-то тут, между счастьем и темой –
мужчина (совсем неплохая примета) –
могу поделиться душою и телом,
да вот только нет интернета.

Хотя, эта лампочка вдруг засветила,
теперь и другая в процессе рассвета...
И скоро уже человек-чикатило
залезет в окно интернета.

Личное-лирическое,
но не перманентное,
и не венерическое,
и не абстинентное,

и не злободневное,
и не уголовное,
даже недушевное,
даже недуховное...

Что-то проявляется –
чем-то верховодит,
но сопротивляется
и – не происходит.

Согрел же каким-то там образом –
ну, не то сочинил.
И тушуюсь теперь перед озером
виртуальных чернил.

А ведь знаю – всегда и заранее –
но стою на своём...
Где ж она – эта рыба-пиранья,
что ушла в водоём?

ПОЧТИ ЛИРИКА

Взял старый друг на испуг,
типа подруг не осталось,
нет подходящих вокруг –
близится старость...

Дело ещё не в воде
в общеизвестном аспекте,
а в кое-чём кое-где –
ну, в интеллекте...

Где теплота, доброта
всякого рода и вида?
Что же везде суета
цвета коррида...

Собственно, дело – труба,
знаю – бывали пловцами,
если такая судьба,
значит с концами...



Верилось, что повезло,
выпала крупная карта,
а не локальное зло
вроде инфаркта.

Виделось, это она,
гений альковного культа,
а на проверку, хана –
вплоть до инсульта.

Буду затворником жить –
всякие книги-вериги –
где-нибудь склад сторожить
и без интриги...

Впрочем, подумалось так –
ты одинока формально,
может быть, сходим в кабак –
это нормально...

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

И море, и погода,
и девки хороши...
И всё для пешехода,
и много для души.

Кафе и рестораны
вдоль берега у нас,
что лечит ретро-раны
и радостно для глаз.

Всё яркое такое,
как твой фотоальбом –
фиалки и левкои,
а в море голубом

белеют парусины...
И все с тобой на «гы» –
застенчивые псины,
нетощие коты...

Вокруг автостоянки
кальяны – молодежь...
Подкатится по пьянке
вполне умытый бомж,

расскажет безуспешно
про тягостный недуг,
обидится, конечно,
что я ему не друг,

получит сигарету,
помянет сатану...
Я обожаю эту
Великую Страну.

Не готов ещё к закланью –
спорю с внутреннею ланью,
и бешусь, в себе ругая
внутреннего попугая,

но всегда дрожит от страха
внутренняя черепаха,
только внутренний удав
иногда бывает прав,

не без внешнего изъяна
внутренняя обезьяна,
а с полдюжины волков
скалится из уголков,

что не весь ассортимент
на теперешний момент –
в этом личном зоосаде
кто-то прячется в засаде...

ПЁТР МЕЖУРИЦКИЙ

ПОД СОМНОМ ЗДЕШНИХ ЛУН

ПАЛОМНИЧЕСТВА

1.

Так и быть, спасая душу,
я Субботу не нарушу,
а нарушу понедельник,
не в своих глазах бездельник,
любящий, как человек,
чудо-юдо рыбу хек, –
всё равно другой в продаже
нет в УССР, а в Раше,
где страны советской цвет,
не волнуйтесь – тоже нет.

2.

Я свалю в Москву и сунуь
со стихами прямо в «Юность»,
ежемесячник ЦК
комсомола на века;
там один из местных старцев –
Коркия или Самарцев –
скажет, прочитав стихи:
– К сожалению, хи-хи,
ёлки-палки, правый Боже,
мы ничем помочь не можем
ни себе и никому,
хоть бросайте нас в тюрьму,
как ни жаль своих седин,
для чего тут и сидим
в экзистенциальной тьме,
хорошо хоть не в тюрьме.

3.

Завязав такие связи,
я отправлюсь восвояси
поднебесчестную милость, –
ни черта не изменилось:

на Москве всё тот же сноб,
а в красавице-Одессе,
кто не древнеримифоб,
тот племянник тёти Песи,
хоть иные – чернь и знать –
могут этого не знать
о других и о себе, –
вот и свет погас в избе,
спят, как не бывали в стрессе,
Молдаванка и Пересыпь,
и под сонмом здепсных лун
в зоопарке слон уснул,
и, свою спасая душу,
я Субботу не нарушу,
даже если б захотел,
отчего и город цел.

4.

От Перми и до Тавриды
ходят по полю гибриды,
а отец всему основ
в мавзолее спит без снов,
словно в баночке тунец –
вот и сказочке конец
про стрелу и тетиву,
за Одессу и Москву,
раз уж мы и впрямь такие,
а ведь есть ещё и Киев,
всем хорош, как «не могу»,
весь на правом берегу,
что позавчера, что днесь –
или всё-таки не весь?

5.

И зачем я, джентльмены,
вспомнил наши ойкумены,
на себя беря свой след –
ох уж эта старость лет.

ЭПОС ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

1.

Гуревич не забил пенальти,
Паламарчук играл на альте,
Петров не выходил из комы –
все трое были не знакомы,
но ехали в одном трамвае,
что в жизни иногда бывает.



2.

Внезапно всё переменялось:
кто в милость впал, а кто в немилость,
но всем досталось будь здоров:
Паламарчук забил пенальти,
Гуревич в кому впал, на альте
Исполнил Вальс Цветов Петров.

3.

Прошли года. Вдали от Нила
судьба Гуревича хранила –
всё у него сейчас пучком,
Петров не избежал ареста,
и достоверно не известно,
что стало с Паламарчуком.

4.

Вот так и мы с тобой, читатель,
пока живём, налоги платим,
но в бесконечности дурной,
хоть до конца времён зависни –
роман есть эпос частной жизни,
как было сказано не мной.

СЛЕД

1.

Библиотека областная
была подобием Синяя,
где, тем не менее, зажали,
представь, те самые Скрижали –

и где же мне их было взять,
когда ничей я не был зять,
а варианта – в синагоге –
я не рассматривал, о, боги?

2.

И так, я взял Скрижалей след...
Когда встречался мне конь блед,
как ни смешно, на самом деле,
я приходил в себя недели
две, навсегда раздавлен весь
тем, что напрасно держит здесь.



3.

На какой по счёту день
сотворил Господь людей
в некотором роде дважды,
знает далеко не каждый,
и притом не только зверь –
что? Не веришь? Ну проверь
так ли верен скепсис мой,
и вернись живым домой,
клясться именем всех благ,
что из дома ни на шаг
больше в бездну головой,
раз уж всё ещё живой.

4.

В общем, той библиотеке
областной: «Прощай навеки
или парочку веков», –
я сказал и был таков
дураков без, а Скрижали
с той поры подорожали,
что понятный вариант:
всё же – антиквариат.

ОЛЕГ ШВАРЦ

ВЕСЕННИЙ ЛУЧ, ПОХИЩЕННЫЙ РУКОЙ

У ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ

Этот снег, как залежалая подушка,
Прикорнул у постаревшей пушки,
Беспардонно растолстевший голубь ищет
На плечах поэта сны и пищу,
И приклеивает ветер к бакенбардам
Пушкина хрустящие кокарды.

Снег глубоок, – пора примерить лыжи,
На скамью прилягу и приближу
Я к себе сквозь ветки ледяные
Небеса знакомые такие.

И твоя улыбка заиграет
На оконных клавишах трамвая,
Закружит строенья в танце вьюжном,
Зимний город всё-таки был южным,
А теперь, как за Полярным кругом,
Он покрылся снежной кольчугой.

Где-то храм возводится весенний,
Там, где снег не плавят наши тени,
Мы пойдём к весне. И шаг ускорим,
Словно мы на льду, покрывшем море,
Он трещит под нашею подошвой,
За спиною распаясь в прошлом,
И трамвай, заваленный снегами,
Проплывёт, как призрак, под ногами,
И не хватит денег всей планеты
На его дырявые билеты.

ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА

Над дорожкой застывшая дымка,
Вдалеке силуэты людей,
И бредёт человек-невидимка
По невидимой жизни своей.



Он красив, хоть уже и не молод,
 Но в его постаревшей душе
 Светлый нрав, превратившийся в холод,
 И мечты догорели уже.

Исчисляя дорожку не в метрах,
 А в часах, а быть может, в годах,
 Он идёт, подгоняемый ветром,
 От начала её – в никуда.

Он живёт в своём доме, как в гетто,
 На столе ждёт набросок стиха,
 Он допишет его до рассвета
 И отправит потом в облака.

ВЕТКА

На книжной полке – сорванная ветка,
 Весенний луч, похищенный рукой,
 Её сорвал мальчишка-малолетка,
 Готовит маме он подарок свой.

Не испытать ей солнечные грозы,
 Не пить корнями высосанный сок,
 Гуммиарабиком свернувшиеся слёзы
 Стекают с ветки, точно как со щёк.

Вдруг ветер свежий ветку сдунул с полки,
 И с силой бросил на паркетный пол,
 И разлетелись звонкие осколки
 Хрустальным звоном деревянных смол.

ЗИМНИЙ ГОРОД

Как не похож был мир нагромождений
 На тот, что в комнате упрятался моей,
 Он поражал упрямством искажений,
 Слиянием света, снега и теней.

Петляла ночь, по горло погружаясь
 Меж зубьями раскинутых домов,
 И ветер ел пространство, не чураясь
 Ни выпуклых, ни вогнутых углов,

Боками натирался о предметы
 И расшибался, попадая в них,
 И были, как молекулы, согреты
 Снежинки от дыханий ветровых.

Зима окоченела и завязла,
 Запуталась в макете городском,
 И тротуары, смазанные маслом,
 Упрятались под снежным пирогом.



Казалось, будто комната стояла
На самой недоступной высоте,
Рисую переулки и причалы
На зимнем свежевытканном холсте,

Штрихи домов и улиц наносила,
Наклеивая снег на желоба,
И проливая рыжие чернила,
Где падала железная труба.

САНКИ

Дед толкнул меня. И санки
Разбежались, понеслись,
Удивилось спозаранку,
Покатилось небо вниз.

Я лечу ему вдогонку,
Зависаю над землёй,
Третьим веком неба пленка
Замигала предо мной.

Домовой со мной играет
Или уличный какой,
Повторяя попугаем:
«Не вернёшься ты домой!»

«Ты летишь, – гнусавит птица, –
Под тобою пронеслись,
Детство, зрелость, граница,
Вся бессмысленная жизнь».

Бьёт в мозгу пластинки голос,
Может скоро встречу смерть,
Попаду на третий полюс,
И продолжу круговерть.

Там шумы и песнопенья,
И меня там встретит дед,
Как по щучьему веленью,
Станет мне опять семь лет.

Но над улицей сугробной
Санки взвились, понеслись,
Чем стучаться в мир загробный, –
Я начну вторую жизнь.

«Дед, – кричу, – я улетаю!»
В облаках стусилась грусть,
Обгоняю птичью стаю,
И с зимовки не вернусь.



Вдруг удар. И я в охапку
Зачерпнул скрипучий снег,
Над сугробом неба шапка,
Не видал такой вовек.

Надо мной чужие крыши,
И в окне зажётся свет,
Словно друг давно погибший
Передал мне свой привет.

ЮРИЙ БУНЧИК

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

«Поэзия – это самое прекрасное, самое божественное слово, наполняющее сердца миллионов людей, любящих её, тем несказанным светом, тем теплом, той возвышенной и очищающей любовью, которые делают жизнь каждого человека и всего человечества благой, совершенной и эстетически богатой». Эти слова, принадлежащие поэту Юрию Бунчику, могли бы стать эпиграфом ко всему его творчеству. Более 25 лет Юрий, одессит, живёт в Нью-Йорке. Мать увезла сына в Америку, надеясь, что там его вылечат. Сына в Америке не вылечили, но, вопреки страшным ударам немилосердной судьбы, в Юрии пробудился и расплёлся поэтический дар, который и определил всю его дальнейшую жизнь.

Юрий талантлив. Он добр и доверчив. Его поэзия по-детски распахнута в небо в страстном стремлении подарить людям любовь и счастье. Стихи о любви, наивные, романтические. Это скорее мечты о счастье, которого он лишён. Но, как крик окровавленной души, врываются мольбы о помощи, о спасении от страшного одиночества, на которое он обречён.

Юрия часто сравнивают со звёздным мальчиком, открытым, наивным, переполненным мировой скорбью. Он не может оставаться в стороне от трагедий человеческих судеб, он хочет помочь, утешить, спасти. Недаром одно его стихотворение так и называется «Маленький принц».

*Однажды люди спросили меня:
– Мальчик, откуда такой ты
К нам в гости пришёл,
Ведь ты не из нашего века?*

Юрий вполне профессионально переводит на английский язык произведения Ахматовой, Пастернака, Цветаевой, а также создаёт оригинальные стихотворения на английском языке. Его стихи удивительно легко ложатся на музыку. Композиторы и барды Юлий Зыслин, Виктория Лисина, Семён Гринберг, Яков Саперсон – музыкальные родители искренних и ставших популярными песен на его слова.

А теперь немного статистики. В Вашингтонском музее русской поэзии Серебряного века, основанном Юлием Зыслиным, Юрина поэзия представлена в двух разделах; в Канаде, в Торонто (ALIAS 32), его стихотворение, переведённое на английский; в нью-йоркском журнале «Литературная Америка» среди 25 русских имён есть и Юрино; русскоязычный журнал «Зеркало» (St. Paul, MN) опубликовал его переписку с Анастасией Цветаевой. Московский журнал «От щедрого сердца» (автографы т.ч. 1) 2002 года содержит его биографию, несколько его стихотворений, и в виде приложения к этому сборнику дана переписка поэта с Анастасией Ивановной. В московском журнале «Меценат и мир» Юрина поэзия представлена в одесской антологии; в киевском издании книги «Иные» – его поэзия; его стихи в Цветаевских музеях; его книги во многих библиотеках мира, в том числе и в Мельбурне.

Юрий в своих стихах и мироощущении близок к поэтам Серебряного века, к Есенину и Ахматовой, к Цветаевой и Мандельштаму. Переписка Юрия с Анастасией Цветаевой – отдельная и очень важная веха в его творческой жизни. Анастасия Ивановна оказалась одной из, увы, немногих, кто отозвался на его отчаянную мольбу о душевной помощи.

...Говоря о Юрии, нельзя не сказать о его маме – Розалии Бунчик. Ранимая и стойкая, отзывчивая и хрупкая, радушная и чуткая, безропотная и щедрая, эта женщина не только предугадала талант сына, но и развила его, и уберегла, и бережёт, лучшая мать и преданнейший друг.

И в завершении несколько слов лично Юрию:

Да цветут тебе листья
И травы,
Да хранят тебя
Пушкин и Блок!
И не надо иной тебе славы,
Ты и с этой не столь
одинок!



СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОСТИЖЕНИЕ

Сначала грусть, потом
 светлее –
 Муть, звёзды,
 льющийся фонарь,
 Потом
 какой-то дикий проблеск,
 Бешеный, звенящий и поющий.
 Потом я чувствую,
 как из груди
 Что-то вырывается наружу,
 будто вулканическая магма...
 Сердце напоминает
 весеннюю ветку –
 Проступает зелень почек –
 Бутоновые большие ядра.
 Не успеваешь записывать –
 Рука дрожит.
 Пересохшим от жажды ртом
 Глотаешь жадно воду,
 Вытираешь потное лицо
 И, радостный, как ребёнок,
 Успокаиваешься.
 Не знаешь, что ты постиг,
 Но знаешь,
 Что это и есть творчество.

МОИ СТИХИ

У меня нет стратегии,
 Нет у меня житейской
 тактики, –
 Стихи выдыхаются
 моей собственной кровью.
 Вот и все привилегии.
 Выхожу из семантики,
 Чтобы сердце дышало
 любовью!

П.Г. Леви

В чётком веере,
 В бальном кружении
 Бархатом веяло,
 Изнеможением.

Бархатом веяло
 Или батистом,
 Веяло «Вечером»,
 Звёздным и чистым.



Веяло веком,
Эпохой и Словом,
Призрачным счастьем,
На муки готовым.

Веяло балом,
Смехом, игрою...
Скорой опалой,
Лютой судьбою.

Из цикла «Читая Ахматову...»

1.

Я вижу Ахматову в парке,
В котором и сонно, и жарко;

Мечтает она у пруда...
Играет на солнце вода,

А воздух прозрачен и чист,
И маленький пруд серебрист;

Кувшинки, как золото в тине –
Как россыпи солнца в картине.

Ахматова в парке...
Как будто
Нежданного счастья минута...

2.

*...Моих сомкнувшихся ресниц
и немоты моей чудесной?..*

Анна Ахматова

Чудесность Вашей немоты
Похожа на свирель.
Её небесные черты –
Весенняя капель.

Такую немоту в словах
Вам выразить нельзя,

Она застынет на устах,
Рубинами горя.

Чудесность Вашей немоты
Я оглашать не вправе,

Не тронув Божьей красоты,
Запечатленной въяве.



МЕТАФОРЫ

Из книги «Я одержим заветным чудом»

Твоё личико, будто опал драгоценный,
 В который я гляжу и вижу
 Вечности Лик и её тайны;
 Твои волосы расплываются
 На камне морском;
 Твоя улыбка, словно нежный лепет
 Счастливого ребёнка;
 Я тону в твоих объятиях,
 Как океан тонет в небесах;
 Ты говоришь так нежно и так просто,
 Что моя душа впадает в твои уста;
 Твои руки, как крылья, обвивают меня,
 И я, обессиленный, обретаю силы, чтобы лететь;
 Твои глаза пахнут жасмином и сиренью,
 И я, опьянённый, целую твой взгляд;
 Ты ласково гладишь мою голову,
 И я засыпаю в блаженстве;
 Так будет всегда,
 Пока наши сердца
 Не сольются в одно,
 И ты не узнаешь, как счастлив я
 Оттого, что написал обо всём этом,
 Что я живу, как поэт и умру, как поэт,
 И что даже в вечности мироздания
 Я буду любить лишь тебя одну...

ЖИЗНЬ

Вся жизнь – одно мгновенье,
 Вся жизнь – один полёт,
 Какое-то сраженье
 Столетие нам шлёт.

Вся жизнь – одно страданье
 И где-то чья-то кровь,
 Людей с людьми братанье,
 Вселенская любовь.

Миров противоборство
 На сцене бытия,
 Упрямство и упорство,
 Где созидатель – я.

Гул мироздания, слышный,
 И битва зла с добром,
 В ней нас узрит Всевышний,
 Которого мы ждём.

Вся жизнь – любовь и дрёма
 В каком-то полусне,
 Какая-то истома
 И звёздный свет в окне.



Кипенье, шум, сгоранье
До самого конца,
Опять, опять рыданье
Врывается в сердца, –

И всё это творится,
Трепещет и растёт,
Жизнь – это птица,
Которая поёт,

Которая кружится,
Летит, ликуя, ввысь...
И, если Слову литься,
То это и есть – Жизнь!

КАЛЕЙДОСКОП ПАМЯТИ

*И только с нежною улыбкой
Порою будешь вспоминать
О детской той мечте, о зыбкой,
Что счастьем привыкли звать!*

А. Блок, 1912

Теперь, вспоминая всю свою жизнь, я понимаю, что вспомнить каждое её мгновение, конечно, невозможно. Как во сне, где из многих сплетений мыслей, образов мы запоминаем только крошечную часть, и часто тут же её теряем. Нечто похожее происходит и в жизни. Многие стёрлось из памяти, но сохранившиеся красочные обрывки пути, сближенные во времени и пространстве, уже можно соединить на канве.

С чего начать рассказ о моей жизни... Пожалуй, с самого начала – с рождения.

Я родился 20 января 1962-го года в Одессе. И сразу же выплывают из далёкого прошлого мои самые любимые игрушки: красивый жёлтый грузовик с надписью «Молоко», пластмассовые солдатки, настольный хоккей, пистолеты, автомат и ударная установка, которую подарил мне мой отец.

Одно воспоминание и по сей день приводит мою душу в трепетную радость: о старом ранце-портфеле, который я выпросил у соседа по квартире, которого звали, как и меня – Юрой. Я не мог положить в него учебники по той простой причине, что у меня их ещё не было – ведь я ещё не ходил в школу; поэтому я загрузил ранец маленькими камнями. Я ходил с ним по улице и был счастлив – я ощущал себя настоящим учеником, идущим в настоящую школу. Но самое замечательное в этом портфеле заключалось не в цвете, хотя цвет был очень красивый – коричневый, – а его запах! Это был какой-то одурманивающий запах, – удивительный, непередаваемый! Такого запаха кожи я не встречал более. О, эти волнующие душу, запахи из детства... распускающейся сирени, свежеевыпеченного хлеба, масляных красок – никакими словами не высказать, не передать... И все они со мной – в моей душе – по сей день. К ним самым волшебным образом примешивается запах новых кожаных туфель и нового, красивого свитера, которые мне купил мой папа. Свитер был ярко-жёлтого цвета, а туфли коричневого, и пахли эти вещи неповторимо.

В детстве мы часто играем, представляя себя кем-то... Я представлял себя врачом и делал уколы моему мишке настоящим шприцом. Потом пришло увлечение игрой в повара, затем в парикмахера... Золотая рыбка-игрушка, которую я увидел в одном доме, часто проплывает в реке моих воспоминаний. Было ещё одно чудо – микрофон. Его принёс папа со своей работы. Он был на подставке и включался в сеть; я впервые услышал звук своего голоса! Мне нравилось говорить в микрофон, и по сей день я радуюсь, когда вижу микрофоны.

Чудесное, незабываемое предновогоднее время, время ожидания праздника. Мама покупала живую ёлку, и мы наряжали её ёлочными игрушками, гирляндами, серебристым «дождиком» и, конечно, волшебными лампочками в виде солнышка, самолётиков, спутника. Под ёлкой стоял Дед Мороз из папье-маше, а на ветках белела вата «снежная», блестели сосульки, расквашивались мандарины и конфеты. Я взрывал в па-



радном хлоплушки, и конфетти рассыпались над головой... Бенгальские огни горели ярко в моих руках... То было сказочное чувство, смешение млеющей радости и восторга. Были и счастливые мгновения в детском саду, когда я бежал, как «лопадка» и на мне звенели бубенчики-возжки! Тот звон остался со мной...

Все воспоминания мои напоминают волшебный, разноцветный калейдоскоп... Словно кто-то невидимый делает лёгкое движение рукой – и вот, уже новый узор сложился. И проступают в этом узоре канцелярские магазины. Там я покупал в бессчётном количестве школьные принадлежности: ручки, тетради, пеналы, папки, линейки, карандаши, обложки для тетрадей и книг, – и мне всегда всего этого не хватало. Их присутствие было чем-то родным и неотделимым; они насыщали пространство ароматами свежего клея, краски, – теми особыми запахами, присущими только им. Свет и тепло этих воспоминаний согревают меня.

Вот Александровский садик в Одессе, куда я любил ходить с мамой. Там давали напрокат маленькие машины и велосипеды, на которых я катался. Однажды мне подарили голубя, но был он у меня совсем недолго, я выпустил его из окна, чтобы он не томился. А маленькая беленькая собачка, которой я дал имя Белочка, утром, бывало, забиралась ко мне в постель, лизала моё лицо розовым язычком. Я поил её молочком из детской бутылочки.

Но, к сожалению, мама рано утром уходила на работу, а я в школу, и за собачкой некому было смотреть. Пришлось отдать её знакомым. Но вот, столько лет прошло, а она всё стоит перед моими глазами. Никогда её не забуду...

Всегда со мной будут три особенных эпизода из моей жизни. Первый... Я совсем маленький, и мама посадила меня в санки, укрыв тёплым розовым одеялом, а потом потянула за верёвку, и саночки покатались так быстро, так легко... Второй... Мне 15 лет. Зима... Где-то на Большом Фонтане был, как мне помнится, небольшой лесок. Мы с мамой бегали друг за другом между деревьями, заваленными снегом, и я помню, как она звонко-звонко смеялась. Я тоже смеялся, но вдруг почему-то почувствовал, что мы, мама и я, больше никогда здесь не будем. И ещё подумалось, что мама никогда не будет такой молодой и счастливой, как вот сейчас – в этом лесу. И мне, смеющемуся, в это мгновение стало почему-то грустно, и жаль маму и себя... Я прощался с прекрасным и незабываемым днём, и он канул в Лету, и только сердце хранит лес, утопающий в снегу и смеющуюся, счастливую, вечно-молодую маму...

Третий, самый удивительный и необыкновенный эпизод, произошёл в 1973-м году, когда я лежал в больнице на ул. Ясной, 6. Мне часто приходилось бывать в больницах, либо в санаториях. И вот в одной из них со мной случилось настоящее чудо. В широком больничном дворе цвёл крыжовник. Я играл в этом дворе; у меня были разные палки, которые я метал в забор. И вдруг засияло солнце и залило ярким светом весь двор, а я почувствовал в душе удивительный покой и странное умиротворение. Мне стало вдруг так хорошо-хорошо, будто я пил парное молоко... или летел по небу. Никто из больных, гулявших во дворе, этого не почувствовал и не знал, что со мной произошло. А это было моё первое кровоизлияние, которое невозможно передать словами.

Я и по сей день не могу объяснить, что это было за чудо, почему оно вдруг пришло ко мне. Но оно пришло, – и я благодарю Бога за это. С тех пор, всякий раз, когда появлялось солнце, я чувствовал себя счастливым. Его янтарные, горящие лучи, наверное, и есть сама жизнь, её олицетворение и символ человеческого счастья. И ещё одна радость из того солнечного времени: моя тётя подарила мне полуманские ручные часы. После починки мама принесла их в больницу и положила на мою тумбочку. Когда я проснулся, то так им обрадовался! Подумалось, раз у меня есть часы, значит, я уже взрослый. И я был так счастлив этому...

ВАДИМ ЛАНДА

СОЗВУЧИЕ

Задумывались ли вы над тем, что скрипка, только что изготовленная мастером, – всего лишь обозначение звука? Подобно тому, как наливаются при взрослении формы девушки, скрипка при взрослении наливается музыкой. С той, о которой пойдёт речь, это произошло. Голос её обрёл тембр, который сохраняется навсегда и неповторимо проявляет любые мелодии.

Сначала она увлекалась сольными выступлениями, однако наступил момент, когда захотелось чего-то иного – возможно, большего. Петь вместе с кем-то, образовав чудное созвучие... Вокруг нашей скрипки обреталось множество других инструментов. Она пытливо рассматривала их издали. Но завести разговор не решалась, пока однажды внимание её не привлёк полковой барабан. Он был большим, а потому видным. Скрипка приблизилась к нему и издала нежный высокий звук: «И-и-и-и». Барабан, привыкший к трубе и флейте и никогда такого не слышавший, был удивлён и даже немного растроган. «А вы своеобразная, – сказал он скрипке. – Бум-буру-бум». – «А вы такой уверенный и надёжный, – робко произнесла скрипка. – Я давно мечтала петь в дуэте. Не попробовать ли нам?» – «Почему бы нет?» – ответил барабан. – Репетиция может состояться прямо сейчас. Начинайте!».

Скрипка запела. Сладчайшие рулады возникали сами собой. Голос взлетал, медленно планировал во всём необъятном пространстве, иногда кружил позёмкой. А барабан... Он периодически пыхтел и громко выдавал: «Бум-буру-бум». «Бум-буру-бум!» – и ничего кроме. В какой-то момент скрипка преодолела застенчивость: «Прошу вас, только не подумайте, что я хочу обидеть, но не могли бы вы чуточку разнообразить сопровождение?» – «Это вы мне?» – уязвлённо заметил барабан. – Я как раз делаю всё правильно. А вот вы постоянно блуждаете и уводите мелодию в какой-то тупик. На самом деле, только на моём безупречном ритме всё и держится, бум-буру-бум». – «Но...», – только и смогла выдать из себя скрипка. Если бы не лак, все увидели бы, как она покраснела. Потом, после репетиции, бедняга чувствовала себя настолько опустошённой, что замолчала. «Скрипочка, – зывали её разные симпатичные инструменты, – давайте сыграем вместе!». Она продолжала хранить молчание.

Сколько времени прошло – неизвестно. Но однажды зазвучала виолончель. Низкий бархатный голос, от глубины которого захватывало дух. Скрипка встрепелась, заслушалась и уже не могла оторваться. Всё стало очевидным: это было настоящее созвучие. «Мы созвучны!» – захлёбывалась от восторга скрипка. Звуки были настолько волшебными, что остальные инструменты слушали как замороженные. Наконец, скрипичный голос стал выводить свою вариацию и тут... виолончель внезапно умолкла. «Что случилось?» – вскричала скрипка взволнованно. «Вы давите на меня, разве не замечаете?» – сказала виолончель. – Я так не могу играть». – «Простите, – взмолилась скрипка. – Я думала, что в дуэте мы будем подхватывать друг друга». – «Вы давите», – повторила виолончель и отвернулась. Скрипка застыла в отчаянии. «Не огорчайтесь, – утешали её. – Виолончель в последнее время часто повторяет, что нет в округе правильных инструментов. На самом деле она уже давно поёт одна и допускает только, чтобы ей вторили. Разве вы не знали?». Скрипка не отвечала ничего. Да и что тут скажешь?

Мы-то с вами понимаем, что созвучие – условие необходимое, но абсолютно недостаточное, если созвучать нет желания. А, бывает, звучать вместе желание есть, но это далеко не всегда возможно с полковым барабаном. Однако, слышите, какая наступила пауза? Это всеобщий дирижёр. Он молчит, смотрит на скрипку и ждёт. Кажется, она его понимает.

СЧАСТЛИВЫЙ ПАМЯТНИК

В последний год у меня хобби – читать объявления в газетах. Нет-нет да и попадётся что-нибудь интересное. Вот перелистываю в очередной раз и вдруг вижу: «Сватаем памятники» – и телефон. Это ещё, думаю, что за бред? Чего только не напечатают! А любопытство-то в это время своё чёрное дело делает. Взял и позвонил. «Агентство “Счастливый памятник”, дежурный менеджер Дарья, чем могу помочь?» – «Вы действительно сватаете памятники?» – спрашиваю. «Конечно. Почему вас это удивляет?» – «Ещё бы не удивляться, – говорю. – К чему памятнику сватовство?» – «Ну, это же естественно! Стоит памятник, ему одиноко – вот и находим пару. Недавно дальний потомок Наполеона к нам обратился: заботился о предке. Сосватали бронзовому Бонапарту каменную Жанну д’Арк – женщина молодая, состоявшаяся. Очень удачно получилось». – «Ладно, – говорю, – сосватали. Но они же не могут быть вместе». – «А зачем вместе? Памятникам это вовсе не обязательно. Главное, что где-то есть узаконенный родной субъект, хотя и в твёрдом материале... Тут обратилась к нам женщина...» – «Чей потомок?» – перебиваю. «Да ничей, просто сама по себе». – «Не понял. Вы ведь памятниками занимаетесь?» – «Ну да. Вот я и говорю: обратилась с просьбой найти пару женщина...» – «Погодите, – недоумеваю, – она ведь живой человек!» – «Конечно, живой, только памятник. Самой себе. Многие люди начинают превращаться в памятники примерно после 35. К 40 годам процесс, как правило, завершён. А после 50 памятники качественные, выдержанные». – «Ну и как, подобрали мужа?» – «Естественно. Пятидесяти пяти лет, взгляд остекленелый. Вполне созрел для счастливой семейной жизни на расстоянии». – «Почему на расстоянии? Эти-то могут и съехаться?» – «Могут. Но расстояние вряд ли изменится». – «Хм-м, – говорю, – у вас, я смотрю, крепкие профессионалы. Так может, и мне пару подберёте?» – «Нет, – сказала Дарья, – вы, судя по голосу, ещё слишком молоды для наших услуг. Вот если до вышеупомянутого срока не благоустроитесь – тогда милости просим».

На этой ноте мы распрощались. Какое нужное агентство, подумал я. А сколько у меня неустроенных знакомых, которым за сорок-пятьдесят... Ну как не помочь? Вечером, попозже, открою записную книжку и начну названивать.

РУКАВА

Не понимал я раньше жилетку как вид одежды. А тут подарили. И выяснилось, что очень даже. На все случаи сомнительной погоды. Если внезапно стало жарко – можно расстегнуть, ветерком хорошо продувает. Если похолодало – наоборот, застегнуть – и становится теплее.

Однажды подходит ко мне на блошином рынке некто и протягивает два отдельных рукава: «Это для твоей жилетки». Я ему: «Смеешься, что ли? Нужны они мне как жилетке рукава. Разве что рюмку занюхать». – «Не торопись, – говорит, – пристегни, там посмотришь. Только учти: эти – одноразовые, на пробу. А уж если придется – тогда поговорим». Ладно. Пристегнул – точно впору. И пошёл на прогулку с любимой женщиной. Взял её за руку – и тут... Рукава превратились в крылья. Полетели мы над городом, крышами его и куполами, словно на картинах Шагала.

На следующий день, проснувшись с чувством необыкновенным, помчался на блошинный рынок, да только, увы, не нашёл того мужика. И никто не в курсе. Отправился тогда к другу – он умный очень – и рассказал всё. «О чём тут говорить, – отреагировал он, – жилетка как жилетка, рукава как рукава». – «А как же они в крылья?...» – «Да твои это были крылья, твои».

Ну да... Носим же мы всякое разное с рукавами – и ничего такого. Только каждый раз, как оказываюсь в магазине, чтобы обновить гардероб, – прохожу мимо вешалок с жилетками и безотчётно цепляюсь взглядом – не висят ли отдельно рукава. Да и не летал я больше никогда – то ли женщины были не те, то ли всё-таки...

Со временем стало понятно, что многие и многие чего-то такого ищут: кто табурет с пропеллером, кто тазик с парусом... Только молчат об этом. Понятно: люди все взрослые, в эфемерности фантазий отдают себе отчёт. Ничего этого быть не может. Конечно. Но вдруг?!



СПРАВКА

Была принцесса. Вообще-то правильнее говорить «жила-была», да в селе какая жизнь? Из развлечений – одни сплетни. «Принцесса да в селе?» – удивитесь вы. Всяко бывает. Принцессовала она раньше в большом городе, а в село перебралась вслед за принцем – по крайней мере, так он себя называл (или, точнее, позиционировал, но это слово в сказках не употребляется). По первости выглядел он действительно как принц – и походкой, и речью, и обходительностью. Но настал момент – и ах! – от величественной стати осталась одна походка. «Как же так?» – огорчалась принцесса. Да так уж. А вы как думаете, может ли хватить для «совета да любви» одной царственной походки? Вот и мне кажется, что маловато. Тогда принцесса умолила принца покинуть её (иначе говоря, послала, но это слово в сказках также не употребляется). И зажила в слабороскошных сельских двузальных хоромах. Работать ей приходилось с утра до позднего вечера, а жизнь если и казалась мёдом, то в обычной пропорции: на бочку его – ложка дёгтя. Даже хворать стала от такого счастья.

Проезжал о ту пору через село еврей. От величественной родословной у него только и осталось, что уважение к царю Давиду. Надо же было случиться, увидал он принцессу и воспылал к ней чувствами, не зная, кто она. А когда узнал – загрустил, потому что не ровня он ей. Но чувствам не прикажешь, и представился он, и придумал назваться лекарем (точнее сказать, терапевтом, но этого слова, как водится, в сказках не бывает). Стал захаживать в слабороскошные хоромы с визитами и прописывать безобидные травяные настойки. Постепенно принцесса стала к нему привыкать. И что примечательно, здоровье её пошло на поправку – то ли от настоек, то ли от привычки к лекарю.

Долго ли, коротко ли... Длинно ли... О чём это я?.. Ага...

Признался влюблённый принцессе в своих чувствах. А она ему в ответ: «Соглашусь я стать твоей наречённой, если исполнишь три желания». – «Я как раз желаю тебя больше, чем три», – ответил он. «Это ты мне отрывок из “Тысячи и одной ночи” повествуешь», – продолжала принцесса. – Я не про то. А надобна мне работа добрая, доходная (сиречь высокооплачиваемая – но этого слова даже в «Тысяче и одной ночи» нет). А ещё – чтобы договорился ты с моими страхами, что после принца моего несказанного остались. И самое трудное – раздобудь для меня грамоту с сургучной печатью от Господа Бога, что всё у нас будет ладно».

Опечалился претендент. Но делать нечего, стал выполнять что велено. Работу нашёл. Со страхами разбирался долго, но национальные умения договариваться всё-таки взяли верх. А вот с третьим желанием заминка случилась. Обратился он к Господу Богу с просьбой, а тот ему говорит: «Не могу дать такую грамоту. Ибо любовь – не доска стиральная, чтобы заверительные бумаги прилагались. Сотворил вас, конечно, я, не отрещиваюсь, но далее вы уж сами, хотя и с оглядкой на меня».

Воротился влюблённый к принцессе и стал такую речь держать: «Выполнил я, возлюбленная, первые два твоих желания. Да только грамоту с сургучом Всевышний дать отказался... Поэтому не подойдёт ли тебе на этот случай справка от лекаря?». Крепко подумала принцесса, но согласилась.

Стали они жить-поживать. Супруг продолжает давать болезным невредные настойки. Что интересно – помогают. Выписывает принцессе лекарские справки-заверения о семейном благополучии – каждая сроком на один год, потому как больше не велено ни Министерством здравоохранения, ни земской управой, ни... Короче, не велено – и всё. Если же поведение супруга порой суперечит содержанию справки, получает любезный да по первое число и на орехи. А орехи не простые, в них скорлупки золотые... Ох, извиняйте, это уж из другой сказки.

КАМОРКА ДЛЯ ВАЛЬСОВ

Чулан, каморка – так можно её назвать, но не комната. Окно под высоким потолком, через него проникает свет из кухни. В углу раскладное кресло, возле него торшер. У противоположной стены небольшой письменный стол с задвинутым под него деревянным стулом. Это моё маленькое жилище и я не променяю его на другое.

Кресло – место, где обитает моя усидчивость. Забравшись в него с ногами, я готовалась к институтским сессиям. Вернее, не я один... Одновременно под него забирается Несса – белая хозяйская болонка, названная в честь Лох-Несского чудища. Она не чаёт во мне души настолько, что, встречая в коридоре, в прямом смысле, писается от восторга. «Если бы девушки обожали меня хотя бы вполовину так же...» – мечтаю я... Но, желательно, без экзальтации.

Периодически я делаю партизанские вылазки в большую комнату, чтобы утянуть к себе в кресло хорошую книгу. До института, видите ли, читал лишь в детстве, да и то, преимущественно, «Чиполлино». Эта книга влекла неудержимо, я знал текст почти наизусть, но, заканчивая читать её, тут же начинал сызнова. Мама смотрела на меня с прискорбием. Иногда разбавлял «Чиполлино» «Доктором Айболитом» – видимо, подсознательно ощущал карму. Однажды мой дядя (жил я в дяди-тётиной квартире), видя моё равнодушие к художественной литературе, обвинил меня в серости. Я не согласился (оттенок лица у меня всё-таки зеленоватый), но читать книги начал – благо в интеллигентной семье тёти-дяди «их было». Да и Ленинград опутывает такими чарами, что не обращать внимания на литературу, историю, не ходить в художественные музеи – и невозможно, и глупо.

В один из зимних вечеров я у товарищей по институту. Конечно, гитара, разговоры под чай с пирожными. Полвторого ночи. Метро уже не работает. Проводив до дома девушку с нашего потока, возвращаюсь к себе домой пешком. Путь лежит то вдоль каналов, то через мосты и приводит на Дворцовую набережную. Неизвестно как я оказываюсь в XIX веке – в длинном чёрном плаще и цилиндре. О сколько раз – пером ли, кистью – мастера повествовали о круговерти серебряных снежинок при свете ночных фонарей, немеркнушем величии Зимнего дворца в сумерках! А на другом берегу Невы вырезанный из чёрной бумаги силуэт Петропавловской крепости. Я, пока не заражённый вольнодумством, шествую мимо и думаю, что князь Трубецкой не явился возглавить восстание на Сенатской площади совсем не из-за трусости.

Дворцовая площадь. Адмиралтейство. Угловой подъезд во дворе-колодце на улице Гороховой. Я дома. Вот и моя каморка. Глажу мою хорошую Несси и сажусь за письменный стол. Начинаю сочинять стихотворение – хочется, по традиции, о том, что вспомнил «чудное мгновенье», но к счастью для всех сдерживаюсь.

*Может, есть в том высокая нота,
чтобы белою ночью – как сон,
позабыв и презрев все заботы,
нам бродить под прозрачностью фрон...*

Строки неумелые, первые для меня, но сразу ложатся на мотив вальса – и это главное. Да и сам Ленинград – вальс. И нынешний вечер – тоже вальс. И до утра ещё далеко.

ПРОБА

Сегодня прощались с нашим товарищем. Второй инсульт оказался роковым. Возле моря я с удивлением заметил давнюю знакомую, поэтессу, которая была одета в форму сотрудника бюро ритуальных услуг. Не переключал ли я в зазеркалье? Из больницы на улицу выходил через приёмный покой. Там перед кабинетами толпились люди. «Эти ещё надеются», – подумалось мне, и почему-то пришло на ум слово «прикольно», которое я никогда не почитал.

Во время Великой Отечественной, или, как сейчас уточняют, Второй мировой, Ефим Моисеевич был начальником сталинградского госпиталя. После окончания войны некоторое время занимал пост коменданта города Эрфурта, где старался помочь населению скорее ликвидировать разруху и наладить нормальную жизнь, за что получил звание почётного гражданина. Потом вернулся домой и привёз сыну из Германии мотоцикл. Мотоцикл из Германии! В те времена! Единственный в Одессе! Можно себе представить значение такого подарка. Юноша, надо сказать, был тем ещё мальчиком – гонял на мотоцикле так, что милиция была вынуждена отобрать номер. Но это смутило молодого человека (а это был мой отец) буквально на полчаса. После чего к мотоциклу была прицеплена дощечка с надписью «проба» и гонки продолжались.

Я хоронил отца зимой. Он не дожил до восьмидесяти пяти совсем чуть-чуть. Прощаться с ним пришли бывшие сотрудники и друзья, многие из них, понятно, были в преклонном возрасте. Траурная церемония продолжалась, когда в голове отчётливо послышался голос отца: «Вот было бы здорово написать на гробе “проба: Да нет... Они снобы – не поймут».

Время – великий мистификатор. Огромной ложкой оно перемешивает быть и небыть, людей из прошлых жизней и ныне сущих. Уже не понять – кто где. Жить на черновик не дано, а набело – получается какая-то проба. Вот интересно, где и кем я окажусь дальше? Посмотреть на это будет, наверно, прикольно.

ОЛЕСЯ РУДЯГИНА

ЧУДЕСА ГОЛОСА РИТМЫ ПЛЕСК

Пропадаю. Пропадаю без тебя.
Потеряла время года, город, век.
Вспоминай меня. Не помня. Не любя.
Мой не суженый, далёкий человек.

Напила, напила я, пьяна.
Не дойду до дому, дома не найду...
Надо мной мочёным яблочком луна –
самая ядрёная в году.

Вот сейчас я дотянусь, сейчас –
до неё горячим жадным ртом,
и пробьёт тринадцатый тот час,
и совсем неважно, что потом.

И троллейбус взмоет – тролль, икар,
светом райским и теплом маня...
«*Garanord. La park trecem, la park*»¹...
Рождества чужого польньня.

¹ Водитель объявляет: «*Северный вокзал. В парк идём, в парк*» (рум.)

Из цикла «Смятение»

31.08.16

Убалтываю смерть повременить:
«Ну что ты к ней, Босая, привязалась?
Оставь её, – пусть дышит, нам осталось
ещё мгновение. Попробуй-ка прожить
его вот здесь, присядь, я не гоню!
Давай сюда косу, – не затушилась? –
пусть полежит на лоджии».

Смутилась.

Нестрашная. Ночь уступает дню.

МЕЖДУ ТЕМ

А я не больно делаю уколы
я накормить и мёртвого сумею
меняю памперсы с улыбкой-прибауткой
и тра-ля-ля чечётку между тем

вскипаю да не страшно и не долго
прощаю нет скорей пришибла память
цветы домашние сажаю-поливаю
цветут и пахнут или не совсем

свинтило лето здравствуй осень осень
как я люблю шершавые ладони
твои ах свежий в полночь этот воздух
окраины Рышкановки¹ родной

и голоса в лесу моём лягушки
и листопада шторм ещё не скоро
но по дыханию сверяет время стрелки
вот-вот челнок отчалит мама твой

¹ Жилой район Кишинёва у холма, поросшего лесом.

БЕЗ СНЕГА СНОВА

...ты всё тень-тень о весне
но впереди февраль
отёчный невротик мавр
выматывающий душу

о хоть бы какой сюжет
но только не этот нет
пошли мне зима платок
тряси меня страсть как грушу

иди мой герой на плеск
Офелии на прибор
болотные огоньки
вплетённые в гриву ивы

заслушайся сквозняком
пространства чужих чужбин
чу йориковых глазниц
свистящие переливы

найди же душа портал
порт алый от пар... причал
где встретятся с братом брат
убившие здесь друг друга

вильям тот другой шекспир
сзывают друзей на пир
и упадет снег
на
вий опускает век...



ПОЛОТНО

*

бродишь и бродишь по интернету будто бы ищешь кого
 будто в четверг по всем приметам дождичком рраз письмо
 словно в гремучем словес прибое можно Его сыскать
 или вот той в женихов осаде можно хоть день не ткать

чёрной тоски неизбывной парус переходящее зна
 мя успокой усмири смеркаюсь гибну не чую дна
 снишься мне снишься седой да пьяный долго любимый мной
 тщетно сигналил маяк итакa полно пора домой

*

А потом с пенеолопой ничего не ясно
 мифы путаются муж безлюбой медузы
 лишь одно непреложно певуче и страстно
 полотно это вечное сердца ждущего узы

ПОЦЕЛУЙ

(наивная живопись)

Нас занесёт снегом
 на стылой этой скамейке
 мы продышим окошки
 будем глядеть на мир
 к нам потянутся белки
 и окрестные кошки
 и озябшие птицы
 крылышки будут греть
 тёплым таким дыханьем
 витающим над сугробом
 нежности несказанной
 светом печальных глаз
 только не отрывайся
 сердцем впрок улыбайся
 только не отзывайся
 завтрашнему сейчас

ОБЪЯНИТЕЛЬНАЯ-2

Ах вы жёны жёны
 пушки заряжены
 вы меня не бойтесь
 я вам не беда
 эти все объятя
 смех рукопожатья
 ветра дуновенья
 талая вода



эх да царь-девица
 смотрит две столицы
 льбится на солнце
 туфли-каблуки
 стаптывает с песней
 мчится красной пресней
 невским слышь проспектом
 плещут две руки

во всю ширь сиянья
 белых ожиданье
 ночек польханье
 алых парусов
 между той и этой
 жизнью сквозь продетой
 молнией имперских
 заповедных слов

ох вы солдатушки
 бравы ребятушки
 меня не замайте
 али не стара
 вытасу из боя
 заслоню собою
 на том этом свете
 вечная сестра

ПОСЛЕДНИЙ

И ещё раз мы встретились,
 и ещё,
 и он чувствовал пальцев моих дрожь.
 Отпускать не хотела, ласкала тайком,
 чтоб не видел никто:
 – Аль, сдурела ты, мать?!
 ...Прижималась губами,
 шептала слова
 никому не отщёптанные, никогда.
 По щекам заскользив, голубая вода
 пресной кровью небес холодила уста.
 Что потом?
 Попроцались.
 Истаявший век
 подрасстрельный всё длится, усталость тая.
 Ненаглядный, тишайший, услада моя, –
 незаконный, неправильный
 мартовский
 снег.



Белопенной сирени букет
у кладбищенских купленный врат
мне заменит утраченный сад
Кишинёва младенческих лет
мне заменит чужих городов
чудеса голоса ритмы плеск
неуслышанных музыку слов
глаз любимых погашенный блеск

белый пламень гори не сгорай
до каленя усталой души
подаёт видно восточку рай
на отшибе вселенской глуши

Ты не трогай меня не сны слышишь не тревожь
ты мне больше писем пожалуйста не пиши
расплатилась на старость вперёд я за нежности ложь
пленом прелестью тленом золотой зыбью души
а и выпали ахнули на сердце жданные те снега
да солёною сделалась в стылых колодцах вода
не сойдутся вовек право левые берега
разных рек
не замирятся с белыми красные никогда

но как помотришь ему вослед
сутулый одно плечо ниже другого
а в спину больше не лупит свет
(я помню лучила свет чувства большого)
и так станет жалко и не по себе
куда ж отпускать его без путеводной
и остаётся прижать к себе
догнав
у дорожки
у пешеходной

СЕРГЕЙ ПАГЫН

А ТЫ ЖИВИ В СОГЛАСИИ С ЗИМОЙ

ВОСКРЕСНОЕ, СНЕЖНОЕ

В тишине подступает так близко
небо с белой овечьей дохой.
И ты можешь без всякого риска
о неё потереться щекой –

не ударит божественным током,
не царапнет летящей звездой.
И глядят из мерцающих окон
те, кто в прошлом прощался с тобой.

Отворяют запретные двери,
и снежинки с порогов метут.
И нетрудно с налёту поверить,
что тебя там по-прежнему ждут.

А заснёшь в этих сумерках ранних,
и теряет прошедшее вес,
и летишь среди звёзд чуждальных
на пастушьей овчине небес.

НОЯБРЬСКОЕ

Ничего не меняется в мире Твоём.
Та же осень как вечность назад.
Те же люди у рынка с нехитрым добром,
ожидая автобус, стоят.

И в руках у них мётлы, корзины, тазы,
а в пакетах – конфеты и мёд.
Вон две вазы – две синих огромных слезы –
в сумку девушка нежно кладёт,

и старик молодильное яблоко ест,
черенок от лопаты неся.
Он не станет моложе и радостней здесь,
а туда ещё, видно, нельзя,



где жена режет хлеб, где за белым столом
неподвижна печальница-дочь...
Ничего не меняется в мире Твоём,
только ветер проносится прочь,

только птицы летят в незнакомую даль
в небесах, где ни сада, ни дна.

Сохранить бы мне, Господи, эту печаль,
только так, чтоб светилась она.

ПЛЯЖНОЕ

Из жести спаянная птица –
чугунный клюв и резкий взмах –
над пляжем суетным кружится
в чуть потемневших небесах.

И дочка маме: чайка, чайка!
Она слетает с высоты –
и тоньше тень, белее майка
и легче пёстрые зонты.

И всё быстрее песок струится
с ладони в чей-то слабый след.
И всё бессмертней море, птица...
Сморгнёшь песчинку –
нас и нет.

Покрывается зеркало рябью,
когда дуют большие ветра,
когда ходит усталый ноябрь
по квадрату пустого двора.

Поутру размываются лица,
и дрожат, и теряют черты.
И легко навсегда погрузиться
вглубь ожившей настенной воды,

от судьбы оторвавшись без боли,
вдаль шагнуть над полоской межи.
Будет просто осеннее поле,
будет просто неспешная жизнь,

где снежок над простуженной речкой
в тишине раскрывает крыло.
И тепло, потому что у печки,
и светло, потому что светло.



МОИМ ДРУЗЬЯМ

В бледных сумерках наша прогулка
на окраине города гулкой,
где апрельский раскинулся лес.
А напротив – огромное поле,
что сулит нам не счастье, так волю
под внимательной бездной небес.

На меже мимолётная радость –
прошлогодного яблока сладость
вперемешку с огнём первака,
и шиповник, и ранние звёзды...
И мепают густеющий воздух
два рукастых стальных ветряка

все быстрее, быстрее и шире,
и в смещённом вибрируют мире,
и с гуденьем живым наяву
двухмоторное поле взлетает,
и закат где-то справа мерцает,
и летим мы, держась за траву.

А ты живи в согласии с зимой,
будь чист и ясен, холоден и честен,
не убегая в тёплый травостой
печальной дрёмы и застольных песен.

Стой на холме, смиренно говоря
в прищуренное к вечеру пространство:
«Я брат твой кровный, воздух января»,
и обретёт он сразу твёрдость наста.

И ты пойдёшь над тем, что так любил,
среди дымов, с трудом держащих небо,
над визгом озверевших бензопил,
над запахом рождественского хлеба

в покой окраин, где недужный лес,
пустырь и остов пилоарамы бывшей,
где снег блаженный бьёт в далёкий рельс,
и этот зов лишь ты один услышишь.

Бессмертие проходит тишиной.
Бессмертие проходит стороной,
весь мой улов – лишь мелкая плотница.
Глотну вина. Прокашляюсь в кулак.
Крошится свет, как дедовский табак,
комок земли в моей руке крошится.



Как хрупко всё живущее – хоть плачь!
 Вот горестный надломленный калач,
 в нём яблоко – дарованная малость.
 Вот свечка незажженная.
 И вновь
 ты говоришь: «Любовь, родной, любовь...».
 Я говорю: «Родная, жалость... жалость».

ТРИПТИХ

1

Если и говорить мне, то лишь о Нём,
 ведь когда горячим уткнёшься лбом
 ты в коленки светлые сорных трав,
 из родного дома на час сбежав,
 не найдёшь в них милости. И тоску
 не отдашь кузнечнику и жуку,
 огнелюбке-бабочке и звезде,
 что совсем озябла в речной воде.

Если и говорить мне, то лишь о Нём,
 кто в проулках тёмных меня огнём
 закоптелой лампы порой манил,
 кто дом тайн ветшающий оградил
 зарослями, где шиповник и остролист...
 И теперь ещё, верой мгмист,
 я брожу в той местности, словно вор,
 не решаясь ржавый схватить топор –
 прорубить тропинку в сплошных кустах,
 ожиданье выбрав и сладкий страх,
 кривогубый шёпот в слепых ветрах.

2

Не надо именем –
 хоть буквицей одной,
 хоть цифрой обнаружиться кривой
 в учётной Книге, что лежит в амбаре
 (в глуши небес),
 где воздух тёмно-карий
 не потревожат мотылёк имышь.

А здесь – зима... Бесславие и тишь...
 И тела тёмный бессловесный вол
 бредёт, минуя смертной тени дол
 и рельсы ржавые, в ночной вокзальный бар,
 где вьётся тяжкий беспросветный пар
 от супа жирного, от смятых беляшей,
 где чавканье заезжих торгашей.
 И рыбки стайкой золотистой тут
 в свой рай стеной клёснчатой плывут.



Услышь меня в январской тишине!
Хоть крик сгорел на медленном огне
моей тоски, измят больным дыханьем,
истёрт в труху горячим бормотаньем.
Не вознося к небесной тверди рук,
я лишь способен на фантомный звук –
как чей-то вздох в больничном коридоре
и всхлип воды испуганной в разоре.

3

Как прохудился времени садок:
когда тоска упорнее – клочок
другого неба польхнёт в прорехе,
земля другая опалит дыру
за вставшей пылью,
прахом на ветру,
за листьями домашнего ореха,

за яростью безливневой грозы,
за дымкой обессоленной слезы,
когда в больничной ты лежишь кровати,
мусоля ворс казённого сукна,
забыт, разбит, но жаден до зерна
лазурного Господней благодати.

ИЗ КНИГИ «ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЖИЗНИ»

О ВРЕМЕНИ

Со временем действительно что-то не так. Или, может быть, с нами, со мной, с человечеством, с планетой? Один философ, да, в общем, и не один, утверждал, что время – четвёртое измерение, которое человек в силу своей природы не может ощутить в полной мере, или хотя бы в полумере, как улитка, неспособная ощутить двухмерность и живущая на линии, как собака, неспособная воспринять трёхмерность и живущая на плоскости. Всё, что мы ощущаем как статичное измерение, – утверждают философы, – двухмерные и трехмерные «скотинки» ощущают поступательным движением в одну сторону, смутно беспокоясь о том, что, может быть, это не так. Некстати, в таком случае, мой личный дом принадлежит в полной мере разномирным существам: не считая людей, моих собратьев, в нём обитают собака и улитка. Оказывается, «мифы и архетипы живут среди нас, являются нашими соседями». Ну разве не чудо, за которым и ходить то никуда не надо?

Мы все привыкли считать часы, минуты секунды, года, вечности в одну сторону, уверяя себя, что это река, луч из прошлого в будущее, разбитый на равные по модулю отсечки. Какие там ещё красивые образы пристроило человечество к бедолаге времени? Чем меньше понимания, тем больше слов! В общем-то, когда много дел, этот способ осознания вполне удобен, и я в состоянии подогнать время так, чтобы почти все дела влезали в сутки, тесноватые для человека. Совсем другая история – ощущение времени. Не знаю, кто как, а я ощущаю его очень по-разному, так было и в детстве, так есть и сейчас.

В критические минуты, когда грозит опасность близким, время вдруг становится тягучим, как мёд. Видишь происходящее, как в замедленном показе, реальность надвигается покадрово, а тело действует, как монтажёр. Доли секунды хватает, чтобы расставить руки, схватиться за опоры качелей, опустить ноги и мёртво упереться ими в землю, остановиться, чувствуя боль в конечностях и стук в голове; даже страх успевает трансформироваться в гнев, а потом – в шутку; даже дыхание не успевает сбиться. За это время струйка мёда не истончится, не то что превратится в каплю. Но остановиться и не убить ребёнка ты успеваешь.

А когда ждёшь? «Боги, боги мои!» Во что превращается время. Оно становится липкой, тягучей, омерзительной массой, подобием жвачки, которую вытягивает изо рта на уроке двоечник назло учителю. Чем сильнее ждёшь, тем чётче гадкая картинка. Особенно невыносимо, если ты только ждёшь, деятельность притупляет омерзение, но оно всё равно с тобой, и кажется, что эта пытка никогда не закончится. В какое безвременье окунаешься, когда рисуешь или когда наступает короткий момент настоящего счастья. Пресловутого летоисчисления нет, ты вне его. Каждое отдельное зёрнышко песчаного потока ощущаешь кожей, обоняешь, успеваешь провести по нему пальцами; успеваешь трепетно обрадоваться, что оно упало к тебе в руку, испугаться, что оно может пролететь между пальцев. Хватает расторопности предчувствовать разлуку с ним, нежно попрощаться, чтобы не ранить его чувства; пережить тоску расставания, трансформировать её в печаль и сложить в память всё это, чтобы потом, во время гадостного ожидания, можно было окатить себя воспоминанием и выжить. Как долго растут дети. Мгновения радости и нежности, раздражения и гнева, единения и отстранённости, восторга совместного открытия и удивления взрослого мудростью маленького, кропотливой работы и отчаяния; объятия и наказания, нравоучения и разговоры по душам, ожидание и совместность, усталость и готовность к взрыву эмоций, неспешные прогулки и бег по кругу обучения; удивление расставанием и восторг встречи, плач и смех, успех и неудача, страх и храбрость, застиланье кроватей и чтение на ночь, повышенная температура и купание в холодной реке, длинноты нежеланий и мгновенность увлечённости – всё это свивается в длинную ленту, которую мож-

но начать читать и перечитывать вдоль и поперёк, с начала и с конца, по кругу и вверх ногами, ощущая каждую секунду на лезвии бритвы. И как быстро вырастают дети, будто лента свернута в рулон, который ты перепрыгнул, ощутив, что чадо теперь старше, чем ты, когда впервые увидел его!

Со временем что-то не так! Об этом можно говорить вечно.

БЕСПОМОЩНОСТЬ

Когда спрашивают: «Почему ты кричишь?» – как правило, ответ один: от беспомощности. Это – единственная правда. Обычно люди кричат от бессилия и беспомощности. В это трудно поверить, но это так, по моему глубокому убеждению. Я страдаю хорошей памятью, я помню, как со мной это случилось впервые.

На стене, завешенной ковром, который жил так долго, как не всякий человек ухитряется прожить, обитает слон. Он не галлюцинация, не плод больного воображения, потому что воображения у меня ещё нет, не выросло. Он – игрушка. Игрушка мягкая, плюшевая, белая, с яркими вставками ушей, попоны и брюшка, с хвостом-верёвочкой и яркой ленточкой подвеса. Игрушка настолько простой и лаконичной формы, что можно фантазировать на его счёт. Лежа под боком, он может гулять по далёкой Африке, вырисовываясь силуэтом среди неведомых пальм, он может стать большим другом дикого привидения из бумажного кулёка, может ходить по проволоке в цирке, под потолком моей комнаты, и сыграть роль папы Карло в спектакле про Буратино. Как же уютно спать с этой игрушкой в обнимку! Так уютно, что ехать без неё в другой город просто невыносимо. Так уютно, что в казённой кровати детского сада, скукаешь по ней, как и по маме, но не решаешься взять с собой, чтобы её не обидели, чтобы к ней не прикасались чужие руки. Это лучший друг на такие долгие годы, что пока он сам в это не верит, пока он – новый плюшевый слон, которого держат в полиэтиленовом пакете для большей сохранности. А ещё, ещё он умеет тако-о-о-е! Он умеет издавать звуки, если пожать его заднюю лапу. Взрослые люди говорят: пищит. Ничего они не понимают, слон именно издаёт звуки, и нет в этот день ничего интереснее и волшебнее этих звуков. Так интересно подбежать на родителе к самой игрушке, потянуться к ней руками, потрогать её, толкнуть, чтобы слон заколыхался на своей верёвочке взад-вперёд, но лучше всего, когда он звучит. Что за народ взрослые – зануды! Почему такой звук может надоест? Я до сих пор люблю, чтобы звуки, которые нравятся, повторялись так много раз, что других начинает подташнивать от этого. Нет ничего приятнее, чем звук, и так хочется, чтобы он повторялся вновь и вновь, больше этого хочется только извлечь его из волшебной лапы самой.

В доме гости и суета – это тоже приятно. Каждый, силясь развлечь заскучавшего младенца, походя пищит слонем, иногда подносит к игрушке, а я никак не могу решиться попробовать извлечь этот звук самостоятельно – кажется, что всё очарование развеется, исчезнет, не повторится. Но из ничего ничего и выйдет. Надо попытаться, решиться, я же вижу, как это делают другие, правда, они так огромны, что им покоряется ещё и не такое. Но хочется страстно, и это желание придаёт уверенности, что получится всё, что ни захочешь. Протягиваю руку к задней лапе, рука встречается с лапой, всё как у других. Эта часть не закрыта пакетом. Под пальцами – пушистое, немного скользкое: искусственная шкурка уложена рядами в одну сторону. Приятно провести пальцами по направлению этих прядей, прохладных и радостных, так приятно, что улыбка сама выплывает из глубины на свет. Торопиться нельзя. Сначала проверить, так ли на ощупь, как на глаз. Погладить, понять, сосредоточиться, решиться. Цап... Рука погружается в плюшевость, ощущает что-то инородное внутри, озадачивается и соскальзывает, оставляя предмет неживым и немым. Ещё раз: цап... На этот раз удастся удержать руку – она не падает вниз, другое внутри заманчивой мягкости отчётливо, таинственно и... неподвластно. Ещё и ещё раз...

Каждая новая попытка заканчивается провалом. Рука моя похожа на кончик одеяла, свесившегося с кровати: беспомощная и бесформенная. Она слишком сродственна этой притягательной мягкости внутри игрушки, а потому бессильна извлечь из неё звук. Бессилие это так абсолютно, что накрывает меня сверху, как пакет игрушку, оставляя свободными только пятки. И вот из них-то, как из глубины земли поднимается крик.

Крик, в который вложены все бессилие и вся обида. Он так искренен, что опустошает, превращает меня в себя, и уже невозможно остановиться. На свете нет ничего, только ощущение бессилия руки, мягкой и неподвластной моим желаниям, и крик, которым изливается оно, пытаюсь оповестить об этом мир. Но мир не слышит того, что вложено в этот крик, потому что в нём нет слов, нет общения, а есть только бессилие. Меня пытаются утешить, пищат слонем до изнеможения, потому что я тянусь и тянусь к нему в попытке объяснить, что не в слоне дело, а во мне, но я беспомощна в этом, как и в желании извлечь



звук. Я кричу и кричу до того, что перестаю чувствовать и тело, и обиду, и своё бессилие. Кричу, вызывая панику и недоумение окружающих, раздражение и страх непонимания. Я изливаю то, что внутри, наружу в крике и начинаю понимать, конечно, уже вспоминая этот крик, что докричаться ни до кого и ни до чего нельзя, что крик и есть величайшая степень бессилия совершить и объясниться; что нельзя себе позволить доходить до крайней его точки, потому что этим можно только испугать и озлобить внешний мир; что можно либо смириться со своим бессилием, либо начать тренировать силу, но только не признаваться до бесконечности в своём изъязе всем и каждому. В этот же момент я просто и искренне говорю о том, что не могу сделать то, к чему стремлюсь, что я бессильна, даже, объяснить, что со мной. Мне нет ещё года, я окружена любящими и просто заинтересованными во мне людьми, поэтому мне прощают слабость и убаюкивают, давая отдых и гармонию.

Теперь я умею скрывать то, чего не могу, то, на что нету сил, и кричу чаще беззвучно – увы, не всегда. Когда я всё же кричу в голос, и меня спрашивают, почему, по крайней мере, я в состоянии честно ответить: «От бессилия и беспомощности. Все люди кричат только от этого».

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Наблюдатель – самый счастливый и самый несчастный человек на свете. Счастливый потому, что ему никогда не бывает скучно ни с людьми, ни с собой. Он всё время наполняется, как чаша Бахчисарайского фонтана, а когда граница возможного пройдена, впечатления переливаются в следующую чашу, становясь уже не чистой эмоцией, а чем-то другим, своим, переработанным под углом зрения. Пройдя же по всем чашам сверху донизу, впечатления становятся подобием мировоззрения. И так каждый день, каждую минуту. Они наслаиваются, прирастают, как жемчужина лучшего сорта, они расширяют наблюдателя, делают его легче, подобно газу, наполняющему воздушный шар. Рано или поздно наблюдения и впечатления растягивают и наполняют своего владельца до такой степени, что он уже может оторваться от земли и взлететь. Пусть сначала не слишком высоко. Низкий полёт – тоже полёт. Не беда, что не сразу под облака, рано или поздно хороший наблюдатель обгонит и облака. Главное – сохранить в неприкосновенности свою способность смотреть и видеть, тогда отражение в луже улыбнется тебе, жёлтый лист поведает о дальних странах, а люди будут нащёптывать самые светлые чувства, даже не зная о твоём существовании, даже не открыв рта, чтобы заговорить с тобой, даже искренне считая, что украсть книгу – тяга к знаниям, а не воровство. Несмотря на то, что я не люблю кафе, ресторанов и прочих общественных едален, есть такие места, где приятно бывать. Это заведения, где на первое, второе и третье, помимо обозначенного в меню, подают вид из окна на многолюдную улицу. Можно и даже нужно не заказывать ничего, кроме чая, не просить ни о чём, кроме пепельницы. Разумеется, если сидишь лицом к окну, а если погода позволяет, сидишь под навесом, где есть ещё и запахи, тебе действительно ничего не нужно, кроме чая.

А дальше, дальше... Гул голосов сливается в один не расчленимый на части ропот, шёпот, крик, фон. Шумовой эффект, как речные волны после мощного катера, лижут берег, оставляя причудливые линии из мусора на утрамбованном песке, обтекает ухо, оставляя ощущение наполненности, но абсолютно не оставляя значений. Особенно легко выйти из смыслового поля слов, когда вокруг говорят на чужом языке, тогда достигнуть нужного состояния можно без потери времени. Потом ты начинаешь видеть даму с коляской, парочку с любовью, типа с мрачным выражением, компанию с забубенным настроением, старушку с вековой печалью, дедушку с шахматной доской, парня с улыбкой, толпу с отдельными сознаниями. Каждый отрывается под твоим взглядом ото всех, приобретает собственную историю и физиономию, теперь про них можно рассказывать сказки, которые некому слушать. Старушка в действительности очень бойкая и живая пожилая дама, любит внуков и свой планшет, выгуливает кошку на поводке и никогда не пропускает концерты в консерватории. А печаль вековую она взяла у соседки-подружки, чтобы прогулять и проветрить, поскольку та не выходит из дома, а в печали завелась моль. Дедушка терпеть не может шахмат, зато обожает забивать козла со стуком и криками под чужими окнами, внутри доски у него костяшки домино, которые он прячет, чтобы никто из знакомых жены не счёл его недостаточно солидным или неверно воспитанным. В коляске дама выгуливает глокую кунздру, она могла бы водить её просто за ручку или таскать на плечах, но смертельно боится, что её сочтут не совсем адекватной и отберут самое любимое существо. А кто будет о нём заботиться, скажите на милость, если только каждый тысячный встречный способен увидеть эту самую кунздру? Фонарь, под которым остановилась парочка, недавно простыл на ветру и захворал, ему так хочется постоять в тишине, это всё равно как человеку полежать в постели. К нему же все пристают: то собака с задранной лапой, то толстяк с одышкой, теперь ещё эти с

любовью... Надоели... Их много, а он, такой старый ворчун, один на всю улицу, остальных давно заменили на новые с мерзким оранжевым светом.

В какой-то момент истории перестают приходить в голову, им перестаёт быть интересно с тобой, и тогда... Тогда всё и все начинает протекать сквозь тебя, как чистая родниковая вода сквозь камни. Тебе так же ничего не надо от них, как и им от тебя. Ты ничего у них не украл, даже нельзя сказать, что ты за ними подглядываешь, потому что ты не осознаёшь, кто они и что делают. Они, эти незнакомцы, протекают по кровеносным сосудам, по мыслям, по ещё каким-то жизненно важным органам, выметая из меня меня, отскребают старые впечатления, как пыль с подоконника, окрашенного ещё в позапрошлом столетии, и выходят, пробив дыру где-то в области сердца. Они оставляют после себя только способность видеть все части окружающего мира, как стрекоза, разрозненными кусками их восприятий, и опустошённость, которую нужно разогреть ходьбой, чтобы наконец взлететь. Взлететь и расширить поле видимости и воспринимаемости. В этот момент надо встать и пойти туда, куда тебя поволочет, можно, в общем, и поехать – не имеет решающего значения. Что бы ты теперь ни сделал, ты будешь только лететь и есть впечатления большой ложкой, которая всегда при тебе; лететь и постепенно наполняться, вопреки всем закономерностям легчая на лету. Наверное, это то мгновение, которое прекрасно, но которое нельзя и не надо «остановить». Его надо сложить в себя, аккуратно, как парадное платье, чтобы не испортить, не испачкать и не забыть. И неважно, что у тебя уже целая стопка таких вечерних платьев, что ты никогда не ходишь на приёмы и балы, а значит, тебе некуда их надеть. Зато они такие разные, неповторимые и воздушные, что, когда тебе некогда летать, их можно просто примерить у зеркала – и как будто летишь вновь. В тот момент, когда полёт становится возможным, ты отодвигаешь платье и начинаешь ткать себе новое, высматривая узоры в повседневности. Наконец наступает то, что составляет несчастье наблюдателя, – осознание, что хочешь и должен приземлиться. Но не это главное несчастье. Настоящая беда в том, что, пока летишь, чертовски трудно отыскать свой любимый якорь, который заботливо отливало из привязанностей и любви, он просто теряется где-то между рёбрами или в извилинах мозга. Ты шарить по себе, и так необходимо найти его и бросить! Конечно, ты его найдёшь, это же самые светлые и нужные тебе чувства, но сколько мучений в этом поиске!

О ЧИСТКЕ ДЕРЕВЬЕВ

Я чищу нутро яблоневых дупел. Старая сухая труха, высыпаясь, перемешивается с влажными, тёплыми, полуживыми слоями, из которых смотрят на меня недоумённо червяки, букашки и таракашки, тщательно обосновавшиеся там на зиму и на всю жизнь. Они пытаются зарыться поглубже или разбежаться в стороны, как рыба по воде, но ловушка прозрачной плёнки, садовый нож и красивый голубой раствор медного купороса настигают их, как волна гигантского цунами неосторожного туриста, как извержение вулкана того, кто безрассудно поселился на его склоне. Кто спасся и уже обрадовался нечаянному избавлению, отправляются на костёр, как злостные еретики. Варварство, право слово, а не садовые работы. Деревья, яблони – друзья с детства, а может быть, другие, вторые родители. Есть выражение «Когда деревья были большими». Эти мои деревья удивительным образом всегда были большими, как дедушки и бабушки безоговорочно взрослые и сведущие для своих маленьких внуков. Сколько себя помню, они всегда соотносились с моим ростом примерно одинаково, проблема в разнице нашего возраста, составляющей двадцать лет, причём старше яблони. Осознала я, что они во времена, когда я не была большой, имели гораздо более скромные размеры, только когда после долгого перерыва стала разглядывать старые фотографии, чуть мутноватые, как будто покрытые ледочком остывших чувств. Может, больше похожие на несколько раз затёртые и снова восстановленные карандашные наброски: поверхность зашершавленная и несколько нечистая, подёрнутая тонким слоем перетёртого песка с пляжной подстилкой; образы двоятся, троятся. Так происходит с воспоминанием, на которое время наложило новые впечатления и флёр идеальности, вроде бы ясные и точные в фактах и ощущениях, но абсолютно другие в осмыслении. И всё же только эти старые изображения хранят тепло чувств и рук, которые их создали. Вообще-то, садовод-огородник я аховый: ни знаний, ни желания, ни любви к этому делу, ни времени толком нет. Но бросить старых знакомых до каждой веточки души, родных членов семьи на поругание гнили, червей и непогоды, надеясь на то, что их смогут спасти дятлы и поползни, вовсе не по-моему. Потому, пока беспощадные ветра, выстужающие снега и беспросветная сушь нынешней погоды не уменьшили числа моих слишком старых друзей, я берусь их починять. Это в прямом смысле починка. Как ещё можно назвать процесс спасения живого через внедрение в него абсолютно искусственного? Ну не протезированием же,



в самом деле. Чтобы спасти, сначала, как любой хирург, я делаю больно: расковыриваю раны, вычищая гной и негодную плоть. И вот на этом этапе, ломая ногти и раздирая кожу рук о кору до крови, ловлю странное ощущение, и приходят уж вовсе бредовые мысли. Я – абсолютный, самоотверженный спасатель сырых и нуждающихся и в то же время – жесточайший палач беззащитных тварей, у которых и так больше врагов, чем помощников, желающих сожрать, чем желающих укрыть. Я спасаю старых родных, близких и приросших к моим внутренностям до такой степени, что существование без них невыносимо. Кажется, что когда оборвётся связь; когда нельзя будет прикоснуться руками, ощупать все неровности характера и превратности судьбы, прорезанные жизнью на стволах, морщины, рассказывающие о жизни лучше, чем робкий шёпот листвы, весенние комплименты цветов и осеннюю щедрость даров; когда нельзя будет ощутить перестук капель, летящих с листьев после дождя; когда нельзя будет услышать запах мокрого лишайника, облепившего ветви, нагретых августовским солнцем яблок и выжженной солнцем листвы; когда нельзя будет зазеленить руки о случайно встреченный ствол; тогда кончится твоя жизнь и твоя способность мыслить. Поэтому я, вооружившись острым металлом и истребительной химией, иду решительно уничтожать чужой мир – мир маленьких существ, размер которых, по сравнению с моим, стремится к размеру математической погрешности. Так складно и разумно устроен этот мир: переплетение судеб и жилищ, взаимнейтральное существование, изобильное до того, что жителям не то что спешить, а и двигаться иногда лень. Конечно, его посещают катастрофы локального характера: после гулких сотрясений мира, исчезают в неизвестность некоторые жители. Кто думает, что их утащили инопланетяне на опыты, кто считает, что собственные органы безопасности, подозревая в шпионаже, кто грешит на чёрную дыру, но всё это, право, так далеко, глупо и не с ними, что нет смысла надолго брать в голову мелкие происшествия. И тут вторгаюсь я, как апокалипсис, как ядерная война всемирного масштаба, как стихия или рок. Я руну все связи, крушу всех без разбора с осознанием большой спасительной миссии. До поры до времени я так уверена в своих действиях, что осознание необходимости для природы всех этих мусорщиков и уютных гробокопателей, застаёт меня врасплох. Раскальвает на противоречащие друг другу части. Где мера? Где граница, которую нельзя преступить? Где правда? Чья же жизнь ценнее, не для меня, но для мира? Сколько миров я загубила и сколько спасла? Какова допустимая цена спасения одних за счёт других? Никакие буддисты с их недеянием, никакие славяне с их прославлением навых и явных сил внутри одной легенды не помогут мне решить пустую, ничего не стоящую проблему, не смогут расшифровать это послание, рухнувшее посреди повседневного дела на голову. Оно расплестёрло меня на земле, перемешало с гнилушками и требует ответа.

Я стою на коленях перед дуплом, как иные в храме, и молю все высшие силы не делать меня ответственной за моё деяние, не вваливать на мой человеческий ум задачу, непосильную. Потом внезапно понимаю, что хочу быть деятелем, ничего не меняющим, творцом, забывшим об ответственности перед сотворённым, мне становится страшно и тошно, больно и легко. Не моё это, не по Сеньке шапка. Дупло вычищено, бетон залит в пустоты. Работа сделана, и есть усталость вместо удовлетворения. Живёт вопрос, сформулировавшийся за время колдовства над яблоней, но, возможно, мучивший всю жизнь. Теперь он останется сформулированным и мучительным, пока смерть не разлучит нас.

«КАК ПОЖАТИЕ РУКИ»

СТИХИ ПОЛЬСКИХ ПОЭТОВ О ПОЭЗИИ

Перевёл с польского Владимир Штокман

Что такое поэзия? Кто такой поэт? Как возникают стихи? Какими они должны быть? – человечество издавна задаётся этими вопросами, но кому же как не самим поэтам известны тайны этого высокого искусства? Со времён античности, когда Гораций изложил принципы классического стихосложения в своём труде «Искусство поэзии», пытаются они сформулировать ответы на все эти непростые вопросы и не только в форме научных трактатов или литературных манифестов, но и в своих лирических произведениях. В польской поэзии существует давняя традиция лирических высказываний на тему поэтического творчества. Зачастую эти произведения носят название «Ars poetica», что является прямой отсылкой к труду Горация и определяет тематическую направленность текста на декларирование определённых поэтических (эстетических и/или идейных) принципов. В предлагаемой подборке представлены переводы стихотворений классиков польской поэзии XIX-XX веков, в которых они выражают своё отношение к поэтическому творчеству, к образу поэта и формулируют критерии, которым должны соответствовать лирические произведения. Делают они это по-разному. Так Адам Мицкевич, обращаясь к Поэзии, сетует, что на чужбине даже перо не слушается поэта и вместо слов прекрасной песни рисует непонятные каракули; Александр Мишо клянется Поэзии в верности, несмотря на то, что тому, кого она возлюбит, зачастую достаются лишь нищета и несчастья. Болеслав Лесьмян в своей жушковатой аллегории прикасается к метафизическим тайнам творчества, а Леопольд Стафш в программном стихотворении «Ars poetica» утверждает, что основная задача поэта – быть понятным, а стихотворение должно быть простым как рукопожатие. Ему словно вторит Антоний Слонимский, полемизируя с поэтикой авангарда, он утверждает, что настали времена, когда «стало актом героизма // Стихи писать и в рифму, и со смыслом». А нобелевский лауреат Чеслав Милош выдвигает на первый план этические аспекты творчества. У каждого поэта своя точка зрения, каждый из них рассматривает поэзию и поэта под собственным углом зрения, но все вместе они несомненно приоткрывают завесу тайны, окутывающей искусство поэзии.

АДАМ МИЦКЕВИЧ
ADAM MICKIEWICZ (1798-1855)

POEZJO!

Poezjo! gdzie cudny pędzel twojej ręki?
Gdy chcę malować, za coż myśli i natchnienia
Wyglądają z wyrazów, jak z za krat więzienia,
Kryjących i szpecących tak ubogie wdzięki?

Poezjo! gdzie twoje melodyjne dźwięki?
Śpiewam – ona mojego nie usłyszy pienia,
Jako słowik, król śpiewu, nie słyszy strumienia,
Który w podziemnej głębi rozwodzi swe jęki.



Nie tylko dźwięk i kolor – aniołowie myśli –
Lecz i pióro, roboczy niewolnik poety,
Na cudzej ziemi nie zna praw dawnego pana

I zamiast pieśni, znaki niepojęte kryśli:
Muzyczne znaki pieśni... lecz ta pieśń, niestety,
Nigdy jej miłym głosem nie będzie śpiewana!

ПОЭЗИЯ!

Поэзия! Где кисть волшебная твоя?
Когда пишу, зачем мои таланты
Сквозь слов решётку, словно арестанты
Глядят убогие, уродства не тая?

Поэзия! А где мелодии струя?
Когда пою, не слушаешь меня ты,
Как вод подземных тихие рулады,
Не долетают до орфея – соловья.

Не только мыслей ангелы – цвета и звуки,
Но и перо, послушный раб поэта,
В чужом краю не знает прежних прав

И вместо песен знаки-закорюки
Малюет наподобье нот... но песню эту
Не петь тебе среди родных дубрав!



АЛЕКСАНДР МИШО
ALEKSANDER MICHAUX (1839-1895)

„I CÓŻ WINNAŚ POEZJO...”

I cóż winnaś poezjo, że nie dajesz chleba,
Że gdy kogo ukochasz – najczęściej ma kwiaty
Lub złoty laur na głowie, lecz na butachłaty
I zimą bez paltota liczy gwiazdy nieba?

Cóż winnaś, że każdemu prawie z tych wybranych
W głowie wrą ciągle burze, w sercu smutki wieczne,
Że dni ich życia rzadko bywają słoneczne
I tak często zdradzani są przez ukochanych?

Poezjo! kto cię kocha, wszystko ci przebaczy,
Nigdy cię nie obwini, nigdy nie okłamię,
Choć będzie marł z głodu lub konał z rozpaczcy.

«ПОЭЗИЯ, ТВОЯ ЛЬ ВИНА...»

Поэзия, твоя ль вина, что не приносишь хлеба,
 Что тот, кого возлюбил ты, имеет лишь букеты
 Иль лавр золотой на голову, а в башмаках заплаты
 И без пальто зимою он считает звёзды неба?

Твоя ль вина, что у всех тех, что избраны тобою,
 В душе бушуют бури, печаль их сердце мучит,
 И озаряет не всегда их жизни солнца лучик,
 И часто предают их те, кого дарят любовью?

Поэзия! Кто полюбил тебя, простит тебе всё это,
 Даже в нужде, в отчаянии тебя он не обманет,
 Упрёка не услышишь ты из верных уст поэта.

БОЛЕСЛАВ ЛЕСЬМЯН
BOLESŁAW LESMIAN (1877-1937)

DZIEWCZYNA

*Władysławowi Jaroszewiczowi,
 Jego entuzjastycznym zapalem
 dla dzieł twórczych i szczerym
 wyuczuciom czarów poetyckich*

Dwunastu braci, wierząc w sny, zbadalo mur od marzeń strony,
 A poza murem plakał głos, dziewczęcy głos zaprzeczony.

I pokochali głosu dźwięk i chętny domysł o Dziewczynie,
 I zgadywali kształty ust po tym, jak śpiew od żalu ginie...

Mówili o niej: „Łka, więc jest!” – I nic innego nie mówili,
 I przeżegnali cały świat – i świat zadumał się w tej chwili...

Porwali młoty w twardą dłoń i jęli w mury tłuc z loskotem!
 I nie wiedziała ślepa noc, kto jest człowiekiem, a kto młotem?

„O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć Dziewczynę rdzą powlecze!” –
 Tak, wałąc w mur, dwunasty brat do jedenastu innych rzecze.

Ale daremny był ich trud, daremny ramion sprzęg i usił!
 Oddali ciała swe na strwon owemu snowi, co ich kusil!

Łamią się piersi, trzeszczy kość, próchnieją dłonie, twarze bledną...
 I wszyscy w jednym zmarli dniu i noc wieczystą mieli jedną!



Lecz cienie zmarłych – Boże mój! – nie wypuściły młotów z dłoni!
I tylko inny płynie czas – i tylko młot inaczej dzwoni...

I dzwoni w przód! I dzwoni wśpak! I wzywał za każdym grzmi nawrotem!
I nie wiedziała ślepa noc, kto tu jest cieniem, a kto młotem?

„O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć Dziewczynę rdzą powlecze!” –
Tak, waląc w mur, dwunasty cień do jedenastu innych rzecze.

Lecz cieniem zbrakło nagle sił, a cień się mrokom nie opierał!
I powymarły jeszcze raz, bo nigdy dość się nie umiera...

I nigdy dość, i nigdy tak, jak pragnie tego ów, co kona!...
I znikła treść – i zginął ślad – i powieść o nich już skończona!

Lecz dzielne młoty – Boże mój – mdlej nie poddały się żalobie!
I same przez się były w mur, huczały śpizem same w sobie!

Huczały w mrok, huczały w blask i ociekały ludzkim potem!
I nie wiedziała ślepa noc, czym bywa młot, gdy nie jest młotem?

„O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć Dziewczynę rdzą powlecze!” –
Tak, waląc w mur, dwunasty młot do jedenastu innych rzecze.

I runął mur, tysiącem ech wstrząsając wzgórze i doliny!
Lecz poza murem – nic i nic! Ni żywej duszy, ni Dziewczyny!

Niczyich oczu ani ust! I niczyjego w kwiatach losu!
Bo to był głos i tylko – głos, i nic nie było oprócz głosu!

Nic – tylko płacz i żal i mrok i niewiadomość i zatrata!
Takiż to świat! Niedobry świat! Czemuż innego nie ma świata?

Wobec klamliwych jawnie snów, wobec zmarniałych w nicość cudów,
Potężne młoty legły w rząd, na znak spełnionych godnie trudów.

I była zgroza nagłych cisz. I była próżnia w całym niebie!
A ty z tej próżni czemu drwisz, kiedy ta próżnia nie drwi z ciebie?

ДЕВУШКА

*Владиславу Ярошевичу
Его энтузиастическому рвению
к творческой работе и искреннему
чувству поэтической магии*

Двенадцать братьев, веря в сны, нашли стену мечты кромешной,
А за стеной был слышен плач – девичий голос безутешный.

Им голос девушки был мил, они её воображали,
Угадывая прелесть губ, что издавали звук печали...

«Раз плачет, значит есть она!» – твердили, крестное знаменье
Верша над миром всем, и мир задумался вдруг на мгновенье.



И молотами в их руках был тишины покой расколот,
И не могла слепая ночь понять, где человек, где молот.

«О, сокрушим гранит скорей, чем смерть возьмет Её в объятия» –
Двенадцатый промолвил брат своим одиннадцати братьям.

Но был напрасен братьев труд, напрасен сил был дар усердный,
И прахом пали их тела, сна соблазнительного жертвой.

Крошатся кости, тлеет плоть, бледнеют лица, руки слабнут...
Они почили в один день, и ночь одна им вечной славой!

Но тени умерших – Мой Бог! – сжимают молоты в ладонях!
Иное время лишь течёт и по-другому молот стонет...

Грохочет он вперед и вверх, круша стены гранитный холод!
И не могла слепая ночь понять, где тень здесь, а где молот.

«О, сокрушим гранит скорей, чем смерть возьмёт Её в объятия» –
Двенадцатая молвит тень своим одиннадцати братьям.

Иссякла жизнь и у теней, тень с мраком биться не готова.
И снова умерли они, ведь смерти никогда не вдоволь...

Не вдоволь и всегда не так, как тот, кто умирает, хочет...
И от теней нет ни следа, рассказ и них уже окончен.

Но молоты – О боже мой! – не поддаются скорби брэнной,
Сами собой крушат гранит, сами собой грохочут в стену.

Гремят во тьме и в свете дня и пот людской ручьями пролит.
Знать не могла слепая ночь, чем иногда бывает молот.

«О, сокрушим гранит скорей, чем смерть возьмет Её в объятия» –
Молот двенадцатый сказал своим одиннадцати братьям.

И рухнула тогда стена, и гром промчался по долине,
А за стеною – ни души. И девушки там нет в помине.

Там не было ни глаз, ни губ и ни девичьей доли горькой.
А был всего лишь голос там, один лишь голос был, и только.

Лишь только плач и скорбь, и мрак, и неизвестность без просвету.
Таков уж мир, недобрый мир! Ну почему иного нету?

Коль скоро живы были сны, коль чудо мнилось так недолго,
Рядами молоты легли во знак исполненного долга.

И вспыхнул ужас в тишине, и небо стало пустотою.
Зачем глумишься ты над ней? Она глумится ль над тобою?



ЛЕОПОЛЬД СТАФФ

LEOPOLD STAFF (1878-1957)

ARS POETICA

Echo z dna serca, nieuchwytnie,
 Woła mi: „Schwyć mnie, nim przypadnę,
 Nim zblednę, stanę się błękitne,
 Srebrzyste, przezroczyste, żadne!”

Łowię je spiesznie jak motyla,
 Nie, abym świat dziwnością zdumiał,
 Lecz by się kształtem stała chwila
 I abyś, bracie, mnie zrozumiał.

I niech wiersz, co ze strun się toczy,
 Będzie, przybrawszy rytm i dźwięki,
 Tak jasny jak spojrzenie w oczy
 I prosty jak podanie ręki.

ARS POETICA

Из сердца эхо, еле слышно,
 Зовёт: «Лови, пока я есть,
 Пока я здесь, пока не вышло,
 Пока мой голос не исчез!»

Его, как мотылька, проворно
 Ловлю не для земных наград,
 А чтобы дать мгновенью форму,
 И чтоб меня ты понял, брат.

И стих, со струн слетев, как ветер,
 Под ритм и звук, что так легки,
 Как взгляд в глаза пусть будет светел,
 Прост, как пожатие руки.

АНТОНИЙ СЛОМИНСКИЙ

ANTONI SŁONIŃSKI (1895-1976)

W OBRONIE WIERSZA

Gdy modny belkot snobistycznej blagi
 Krytyk zaciemnia kadzidlany dymem,
 Doszło do tego, że aktem odwagi
 Jest wiersz napisać z rytmem, sensem, rymem.

Tacy są trudni chłopcy nasi, twardzi,
 Patos i liryzm taki wstręt w nich budzi,
 Tak jeden z drugim światem awangardzi,
 Że wiersze pisze jakby pluł na ludzi.

I cóż, że biedne słowa wypokraczy
 I wtłoczy w szereg dziwacznych skojarzeń?
 Wiesz kiedy nie jest pokarmem dla marzeń
 Gdy nie jest skargą, buntem – nic nie znaczy.

Że go młodzieńcza oślepiła pycha
 Prostotę gotów uznać za prostactwo,
 Gdy rozsypie czcionki jak robactwo,
 Widząc tasiemce słów – czytelnik wzdycha.

Mój przyjacielu, nie wstydz się, nie rumień,
 Bo to są słowa, które balamucą.
 Nigdy się twojej pamięci nie wróca
 Ani nie trafią do serc i do sumień.

Poeto, szukaj słowa co nie ludzi.
 Znajdź to jedyne, trafne, które przy tem
 Łączy się rymem jak lont z dynamitem
 A może wreszcie napiszesz dla ludzi.

В ЗАЩИТУ СТИХОТВОРЕНИЯ

Когда на новомодный бред снобизма
 Критик дым напускает коромыслом,
 Пожалуй, стало актом героизма
 Стихи писать и в рифму, и со смыслом.

Крепки те парни – в бой любой годятся,
 Лиризм и пафос тошноту в них будят,
 Презреньем к миру так авангардятся,
 Стихи, словно плевки, бросаю людям.

Ну что с того, что слово, раскоряча,
 Он втискивает в странные сближенья?
 Если стихи не жгут воображенья,
 Не стонут, не кричат, то ничего не значат.

Он юношеской ослеплён гордыней
 И простоту простачеством считает,
 Он строк глисты читателю бросает,
 А тот глядит в смятеньи и уныньи.

Твои, мой друг, пусть не краснеют уши,
 То – лишь слова, что разум баламутят,
 Они ни памяти, ни сердца не разбудят,
 Не всколыхнут ни совесть и ни душу.

Поэт, средь слов, в которых лжи не слышишь,
 Единственное, точное найди ты,
 Что в рифме вдруг взорвётся динамитом,
 И может быть тогда ты для людей напишешь.

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

CZESLAW MILOSZ (1911-2004)

ARS POETICA?

Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej,
która nie byłaby zanadto poezją ani zanadto prozą
i pozwoliłaby się porozumieć nie narażając nikogo,
autora ni czytelnika, na męki wyższego rzędu.

W samej istocie poezji jest coś nieprzystojnego:
powstaje z nas rzecz o której nie wiedzieliśmy że w nas jest,
więc mrugamy oczami, jakby wyskoczył tygrys
i stał w świetle, ogonem bijąc się po bokach.

Dlatego słusznie się mówi, że dyktuje poezją dajmonion,
choć przesadza się utrzymując, że jest na pewno aniołem.
Trudno pojąć skąd się bierze ta duma poetów
jeżeli wstyd im nieraz, że widać ich słabość.

Jaki rozumny człowiek zecze być państwem demonów,
które rządzą się w nim jak u siebie, przemawiają mnóstwem języków,
a jakby nie dosyć im było skraść jego usta i rękę
próbują dla swojej wygody zmieniać jego los?

Ponieważ co chorobliwe jest dzisiaj cenione,
ktoś może myśleć, że tylko żartuję
albo że wynalazłem jeszcze jeden sposób
żeby wychwalać Sztukę za pomocą ironii.

Był czas, kiedy czytano tylko mądre książki
pomagające znosić ból oraz nieszczęście.
To jednak nie to samo co zaglądać w tysiąc
dział pochodzących prosto z psychiatrycznej kliniki.

A przecie świat jest inny niż nam się wydaje
i my jesteśmy inni niż w naszym bredzeniu.
Ludzie więc zachowują milczącą uczciwość,
tak zyskując szacunek krewnych i sąsiadów.

Ten pożytek z poezji, że nam przypomina
jak trudno jest pozostać tą samą osobą,
bo dom nasz jest otwarty, we drzwiach nie ma klucza
a niewidzialni goście wchodzą i wychodzą.

Co tutaj opowiadam, poezją, zgoła, nie jest.
Bo wiersze wolno pisać rzadko i niechętnie,
pod nieznośnym przymusem i tylko z nadzieją,
że dobre, nie złe duchy, mają w nas instrument.

ARS POETICA?

Я всегда тосковал по форме более ёмкой,
что была бы ни слишком поэзией, ни слишком прозой
и позволила бы общаться, не обрекая никого,
ни автора, ни читателя, на страдания высшего толка.

В самой сути поэзии есть непристойное что-то:
возникает из нас нечто, о чём мы не знали, что в нас оно есть,
а мы таращим глаза, словно из нас выпрыгнул тигр
и стоит в круге света, похлёстывая себя хвостом по бокам.

Поэтому правильно говорится, что стихи нам диктует демоний,
хоть наивно считается, что это, конечно же, ангел.
Трудно понять, откуда берётся вся эта гордость поэтов,
если стыдно бывает им оттого, что заметна их слабость.

Какой же разумный хотел бы стать прибежищем духов,
что живут в нём, как в собственном доме, вещая на разных наречьях,
и, как будто им мало было украсть его голос и руку,
они для собственного удобства пытаются даже влиять на его судьбу?

Поскольку нынче в цене то, что носит приметы болезни,
кто-то может подумать, что я просто шучу,
или, что я открыл ещё один способ
восславлять Искусство посредством иронии.

Было время, когда читались лишь мудрые книги
те, что помогают сносить боль и несчастье.
Но ведь это не то же самое, что просматривать тысячи
произведений родом прямо из психиатрической клиники.

А ведь мир совсем не такой, как нам кажется,
и мы совсем не такие, как в собственных бреднях.
Потому-то все люди хранят молчаливую благопристойность,
так добиваясь уважения родственников и соседей.

А в поэзии пользы всего-то, что нам она напоминает,
как трудно всегда оставаться одной и той же особой,
ибо дом наш открыт, на ключ не заперты двери,
а незримые гости входят и выходят.

Что ж, согласен, то, что здесь говорю я, совсем не поэзия,
потому что стихи писать позволительно редко и неохотно,
лишь по невыносимой нужде и только с надеждой,
что не злые, а добрые духи избрали нас своим инструментом.

КШИШТОФ КАМИЛЬ БАЧИНСКИЙ
RZYSZTOF KAMIL BACZYNSKI (1921-1944)

JESIENNY SPACER POETÓW

Jerzemi K. W.

Drzewa jak rude lby barbarzyńców
wnikały w żyły żółtych rzek.
Biało się kładł popiołem tynku
wtopiony w wodę miasta brzeg.

Szli po dudniącym moście kroków
jak po krawędzi z kruchego szkła,
pod zamyślonym grobem obłoków,
po liściach jak po krwawych łzach.

I mówił pierwszy: „Oto jest pieśń,
która uderza w firmament powiek”.
A drugi mówił: „Nie, to jest śmierć,
którą przeczulem w zielonym słowie”.

ОСЕННЯЯ ПРОГУЛКА ПОЭТОВ

Ежи К. В.

Деревья как рыжие варваров головы
проникали в жилы жёлтых рек.
Берег стен в воду города
Ложился пепельно-белый как снег.

Как по хрупкой стеклянной кромке
они шли по мосту бубнящих шагов,
по листьям как по слезам, как по крови,
под могилами задумчивых облаков,

И один говорил: «Это песнь,
что бьётся на вежда небосклоне».
А другой говорил: «Нет, это смерть,
которую я угадал в зелёном слове».

ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ

TADEUSZ ROZEWICZ (1921-2014)

SPÓŹNIONA ODPOWIEDŹ

Zapytałeś mnie
czy pisać wiersze
i nie wiesz czemu milczę

idąc polną drogą
ulicą nieznanego miasta
ścieżką cmentarną do grobu matki

mówilem do siebie

więc to tak
tak się płaci
za wszystko
za co
za nic
więc to tak

poeta zostaje sam
w pokoju hotelowym
wieńcu laurowym
ten drugi
w czapce błazeńskiej
w celi więziennej
rozgląda się za sznurem
nad wodą wielką
w domu obląkanych

myślał że pisząc wiersze
obejmuje kobietę
rodzinę kraj
całą ziemię

ktos trzeci się z nas śmieje

dopiero na końcu
dowiesz się
co to jest poezja

ЗАПОЗДАЛЫЙ ОТВЕТ

Ты спросил меня
писать ли стихи
и не знаешь почему я молчу



проходя просёлочной дорогой
улицей незнакомого города
кладбищенской тропинкой к могиле матери

я говорил сам себе

значит вот как
так платят
за всё
за что
за ничто
значит вот как

поэт остается один
в гостиничном номере
в лавровом венке
тот второй
в дурацком колпаке
в тюремной камере
ищет верёвку
над большой водой
в сумасшедшем доме

он думал что сочиняя стихи
он обнимает женщину
семью страну
всю землю

кто-то третий над нами смеётся

лишь в конце
ты узнаешь
что такое поэзия

РОМАН СЛИВОНИК
ROMAN SŁIWONIK (1930-2012)

NIECH ZDYCHAJĄ POESI

Stoi poeta w polu otwartym
przewiewa go słoneczność
nie wiadomo czy poeta się rozwija
Czy dojrzewa czy czeka
pisze wiersz
poeci bywają różni geniusze rodzą się na salonach
inni gdziekolwiek
To poznaje się po pisaniu



poeta stoi sztywny Czujny
 czy nadleci słowik sowa
 czy niwelująca wszystko ciemnym wrzaskiem wrona
 poeta odziany lichy lub z przepychem
 czasem trzepoczą na nim strzępy
 z tego poety nic nie będzie
 ubóstwo nie uczy tylko z latami mędrkuje
 dużo takich źle ubranych stoi na polu
 komunizm ich karmił kapitalizm grzebie
 to widać po czarnym prostokącie
 Ciemny dół pomieści wielu
 jeśli jest ich za dużo niech zdychają
 zamiast straszyć na polach
 dusze wrażliwe

ПУСТЬ ПОДЫХАЮТ ПОЭТЫ

Стоит поэт в чистом поле
 овеваемый солнечным ветром
 неизвестно поэт развивается
 Или дозревает или ждёт
 пишет стихи
 поэты бывают разные гении рождаются в салонах
 другие где попало
 Это можно узнать по тому как они пишут
 поэт стоит оцепенев Он бдит
 не летит ли соловей сова
 или всё нивелирующая тёмным воплем ворона
 поэт одетый бедно или роскошно
 порой трепещут на нём лохмотья
 из этого поэта ничего не выйдет
 нищета не учит только с годами научает умничать
 много таких плохо одетых стоит в поле
 коммунизм их кормил капитализм хоронит
 это видно по чёрному прямоугольнику
 Тёмная яма вместит многих
 если их слишком много пусть подышают
 вместо того чтобы пугать по полям
 нежные души



СТАНИСЛАВ ГРОХОВЯК

STANISLAW GROCHOWIAK (1934-1976)

ARS POETICA

Godziny przy piórze – one leczą rany.
 Nawet śmierć jest daleka, jak była w dzieciństwie.
 Zwierzęta domowe śpią ufnie przy twoich stopach.
 A płomień świecy
 Nieruchomieje jak miecz czuwający.
 Wszystko, co wokół – krzesła, książki, kwiaty
 Ubierają się w odświętność, powagę i czoła
 Wysokie. I oto – nikczemny –
 Twarzą stajesz wobec świata, jak glob naprzeciw globu.
 Oto wiesz na pewno: za twoją kotarą
 Jest tylko ściana, nie ma Poloniuszy.
 Oto czujesz bezpiecznie: w środku twojej dumy
 Nie zagości karzeł, ani też pochlebca.
 Oto szepczesz zaledwie,
 Układając zgłoski –
 A słyszysz: księżyc dźwiękiem odpowiada.
 Godziny przy piórze – one leczą rany.
 One też wstrzymują od ran zadawania.
 Patrz: podniosłeś usta, by odpluć obelgę,
 A stoisz – niby dziecko –
 Z usty zdumionymi

ARS POETICA

Часы с пером – они залечивают раны.
 Даже смерть так далека, какой была в детстве.
 Домашние животные доверчиво спят у твоих ног.
 А пламя свечи
 Становится недвижимым как меч недремлющий.
 Всё, что вокруг – стулья, книги, цветы
 В торжественном наряде, серьёзны и с челом
 Возвышенным. И вот он ты – ничтожный –
 Становишься лицом к лицу пред миром, как мир пред миром.
 И знаешь ты наверняка: за твоей портьерой
 Только стена, там нет Полониев.
 И безопасно чувствуешь: внутри твоей гордости
 Ни карлик не поселится, ни льстец.
 И шепчешь ты едва,
 Укладывая звуки –
 А слышишь: луна звуком отвечает.
 Часы с пером – они залечивают раны.
 Они удерживают также от нанесенья ран.
 Смотри: ты рот открыл чтоб выплюнуть проклятья,
 А сам стоишь – словно дитя –
 С устами удивлёнными.

МАРИНА МАТВЕЕВА

МАХАРАНИ

психологическая новелла

по мотивам древнеиндийского эпоса «Махабхарата»

Она не знала, сколько ей было лет. Нет, конечно же, знала: взрослые сыновья, могучие воины – и такие детские улыбки... такая наивность... сколько лет им самим? Арджуне, кажется, девятнадцать... Почему кажется? Ведь на самом деле именно столько... А значит, Юдхиштхире...

А значит, ей...

Махарани Кунти опустила глаза на свои руки, сжимающие какое-то украшение, из тех, которые ей принесли служанки, чтобы она выбрала, что желает надеть сегодня. Её уже облачили в привычное неяркое сари, закрепили на голове покрывало с едва заметной каймой из вышитых золотой нитью узоров. Украшения были скромными – привыкшая к умеренности, она не заказывала крупных и броских. А сейчас... это тонкое ожерелье с таким мелким амулетом в центре показалось ей... служаночьим. Разве царицы носят такое? Да самая скромная из драгоценностей сестры Гандхари покажется лучезарным венцом Господа Сурьи Нараяны рядом с этой жалкой побрякушкой...

Махарани отбросила её, будто отвратительную змею и... впервые! – взглянула на служанку едва не с гневом.

– Позови ювелира, Падмини! Я закажу ему новые уборы! Эти... плохи.

Девушка уставилась на неё расширившимися глазами. А махарани... едва не прикусила себе щёку изнутри при виде этих очей, роскошных ресниц, нежной юной кожи, ярких губ... Воистину – лотос...

Впервые в жизни чужая молодость стала для неё стрелой, вонзившейся в самое сердце.

– Махарани... – прошептала Падмини. – Кто он?

Царица-мать вздрогнула. Невольно резко отвернулась... И тут же пожалела об этом. О разбивающейся о потоки... нет, волны! – сердечной тоски выдержке, нет... самом царском достоинстве. Она уже не может скрыть этого даже от служанок. И они уже позволяют себе дерзость...

А впрочем, дерзость ли? Эта девушка уже второй год прислуживает ей, давно снискала её доверие, ей царица могла поведать все свои тайны, даже неприглядные... например, о том, как с годами стало пошаливать здоровье, появились навязчивые головные боли... Но прежде это и было её самой нескромной тайной – целить эти боли не у признанных лекарей, а у такой же служанки, старой дворцовой кухарки, известной ещё и как составительницы странных настоев... У неё лечились только слуги, царственные особы гнушались этих «шудриных знаний». Но однажды, когда мантры самого мудрейшего Вясы, гостившего в ту пору во дворце, не только не исцелили царицу, но ещё тяжче усилили боль, и она попросила мудреца оставить её, верная Падмини дала ей прохладное питьё. Царице-матери было уже всё равно: виски сдавливало, словно железным обручем, и от этого мысли были грешнее некуда: вот бы прямо сейчас броситься в костёр – и выйти из него в новом, здоровом теле... И холодное питьё пришлось как нельзя кстати. Падмини ещё и омыла этим напитком лоб своей госпожи... и не прошло и нескольких мгновений, как боль минула, будто и не бывало. Тогда служанка и призналась, откуда целебный бальзам – от старухи Шрутадакши – кухарки. А ещё у неё есть и другие напитки, просто чудодейственные... Но царица уже блаженно спала.

С тех пор так и повелось. Никаких мудрецов – только Шрутадакши. Раджмата приблизила её к себе, поселила недалеко от своих покоев, чтобы всегда можно было обратиться за помощью и советом.

Но сейчас и она не поможет.

Махарани Кунти – старуха. Большая старуха, чья единственная радость – недавно вернувшиеся после обучения сыновья. И эта тоска... по человеку, лишь немногим старше их... это не просто грех... это глупость. Настолько немислмая, что действительно заслуживает костра.



Костёр... когда она впервые пробудилась среди ночи от разливающегося внутри сладострастного огня... она испугалась так, что закричала. Ворвавшейся в покои служанке сказала, что увидела страшный сон. И он действительно был страшен... ибо сна прекраснее в её сдавленной жизни не было.

Никогда не знавшей супружеской любви, привыкшей к вечному телесному холоду, появившемуся в ней – словно душевная защита – в тот самый день, когда она узнала о страшном проклятии, постигшем её супруга, махараджа Панду, и уже не покидавшему её никогда, – почтенной вдове едва не приверилось, будто за ней явились огненные демоны... сама смерть в её наипуганнейшей ипостаси. Но это пришло уже после пробуждения. А до... видеть это лицо совсем рядом, чувствовать прикосновения горячих рук, упиваться незнакомой покоряющей силой...

Да что это с ней?

Она и не думала о нём с тех пор, как увидела. Да, молодой, сильный воин. Да, хорош собой – просто загляденье. Но заглядываются на него пусть эти самые служанки, ибо хоть на него и надели корону, но он этого ни капли не заслуживал. Ибо даже воином быть права не имел. Высочка, которому повезло. Не кшатрий. Одни боги ведают, кто он и откуда взялся. И как вообще дерзнул прикоснуться к оружию... да ещё и бросать вызовы принцам!

Впрочем, сразиться с Арджунной, как наглицу того хотелось, он так толком и не успел. Пока долго и уныло разбирались в его происхождении, да куда махарадж Дхритараштра медлил, раздумывая, а стоит ли ему согласиться с дерзкой выходкой своего старшего сына – сделать царём немаленькой и стратегически важной провинции неизвестно кого... солнце уже подошло к закату. Всего несколько выстрелов из луков успели сделать «противники» – да их и назвать-то так было нельзя. Так, детские игры... но и из этих «игр» все окружающие успели понять: кем бы ни был пришлый, а будь времени хоть немного поболее – очень может быть, Арджуне и не сдобровать...

Потому-то все и встретили с такой радостью закат солнца и наступление тьмы. И особенно она. Верить в собственного сына просто потому, что он – сын, – это одно. И совсем другое – просто не знать его. В последний раз она видела Арджуну ребёнком. И сейчас не хотелось думать, что таким же ребёнком он для неё и остался. Как боялась за него, так и будет бояться, – видимо, до конца дней. А потому тихая ненависть к пришлецу, затаившаяся в её сердце, совсем не удивила царицу-мать.

Потом она несколько раз видела этого нахала во дворце, причём не могла понять, чего в нём больше: странной скромности и даже скованности – будто он оделся не в свою шкуру (в смысле короны и царских одеяний – он просто не умел это всё носить, на нём это выглядело, как...) – или напротив: сдержанного достоинства человека, постигающего новую для него «науку», но с такой лёгкостью, будто это даровано ему самими богами. Не своя шкура? Нет, скорее, то, что под ней, – так думала раджмата, наблюдая, как с каждым днём этот самозванец превращается в истинного царя – не только по виду, но и по сути – такого, что рядом с ним далеко не всякий царь по рождению почувствует себя спокойно. Не испытывав зависти... или страха.

Впрочем, не так уж и интересно было царице наблюдать за новообращённым.

До этой самой обжигающей ночи.

Утро которой разделило её жизнь на «до» и «после».

До – лотос праведности, живое воплощение строгости, умеренности, внутренней силы – высокочтимая царица-мать Кунти. После...

В тот же день она столкнулась с ним в коридорах дворца. И едва не лишилась дыхания, подняв на него глаза. И как она могла думать прежде, что он просто «хорош собой»? Да нет же... даже сам Бхагаван Сурья, явившийся ей некогда, в далёкой юности, не был столь ослепителен...

Впрочем, что же в нём лучезарного, если... это такое... живое... Смуглая, словно обласканная солнцем, кожа, стройная шея, мускулистые руки, изящный стан... Очертания бёдер скрыты складками дхоти и тяжёлым поясом, но она была уверена, что и они – стройны и упруги... И всё это дышало такой силой жизни, что хотелось броситься в неё, словно в тёплую реку, раствориться в волнах... превратиться в терпкий напиток, который он смог бы выпить, – из тех, что проникают в кровь, будоражат её...

Царица едва смогла заставить себя снова поднять опасно опустившийся вниз по его телу жадный взор. Смотреть ему в лицо... лучше не смотреть! Ожидаемого нахального взгляда – не было. И с чего это вообще раджмата приписала этому юноше нахальство? Скорее, напротив: в глубоких тёмных глазах жила затаённая печаль, резко контрастировавшая с той переполненностью жизнью, что излучало его молодое сильное тело. Это были глаза старика.

И их выражение любую другую царицу на её месте привело бы во восторг, заставило гордиться собою выше небес. Ибо он смотрел на неё, словно на небожительницу, соизволившую ступить своею лотосной ножкой на грешную землю и явить себя недостойному смертному.

– Махарани Кунти... – произнёс он, почтительно складывая ладони на груди. И она едва не задохнулась от этого голоса, глубокого и звучного, будто пение самой большой раковины, возвещающей радостное событие, тёплого и мягкого, словно покрывало из Гандхара...

– Некогда глазам моим посчастливилось видеть вас въезжающей на свадебной колеснице в Хастинапур вместе с вашим царственным супругом, махараджем Панду. Я тогда был ребёнком, и мне показалось, что я вижу богиню... И поныне нет для меня во всей Бхарате царицы прекраснее и добродетельнее, вы для меня – воплощение всех лучших качеств, какие должны быть в женщине... и в человеке. Вы – пример для многих. Позвольте же и мне принять вас в своё сердце как образец чистоты, праведности, рассудительности и красоты...

Он склонил голову. Но, словно испугавшись чего-то, резко поднял глаза.

– Махарани... простите мне мою дерзость... я забылся... Я не достоин даже смотреть на вас, не то, что говорить с вами... Но позвольте мне всё же выразить вам моё почтение!

Он резко, будто переломившись в стане, склонился к её стопам, припал на одно колено, прикоснулся кончиками пальцев... «Не упасть...», – вот и всё, что она могла думать в то мгновение, когда от этого касания вверх по её ногам словно пробежали уколы тысячи игл... а ведь ещё нужно было положить ладонь на его голову в благословляющем жесте, сказать что-то...

Рука её дрожала так, что, казалось, сейчас просто оторвётся. Его волосы – словно прохладный шёлк... В них так хочется войти пальцами... Нет, не мягкие, скорее жёсткие, но такие упругие... да что ж к ней так привязалось это слово?... Будто никак иначе нельзя думать о нём...

О нём вообще думать нельзя.

И об этом надо помнить. Надо сказать что-то поучительное, обязательно упомянув дхарму... Язык плохо слушается её, выговаривая традиционное «сын»... ведь для царицы-матери все её подданные – дети, особенно те, кто молод и неопытен, нуждается в наставлениях...

...Не может она так называть мужчину, из-за близости которого еле стоит на ногах, едва дышит и мечтает только об одном: ринуться в свои покои и вылить себе на голову сосуд ледяной воды...

Наконец-то... Он уходит, вот его уже не видно за поворотом. А она всё ещё не может сойти с места, ибо ноги перестали слушаться, а спина под скромным сари «образца добродетели и чистоты» покрылась горячим потом... А в крови...

...И сейчас, когда снова нужно выходить из своих покоев, зная, что в любой момент может встретить его, одновременно хочется превратиться в юную красавицу в ярком уборе и... исчезнуть. Чтобы хоть служанки не задавали дерзостных вопросов...

– О чём ты, Падмини? – напускная суровость тона не может скрыть дрожи в голосе.

– Нет, госпожа, это не важно: кто... – служанка явно испугана собственной смелостью. Но всё же решается. – Важно другое... если вы хотите охладить жар своего тела и вновь вернуть ему спокойствие... то у Шрутадакши есть такое питье!

– Неси, – приказала царица, понимая, что окончательно выдала себя прислуге.

Но... если от этого человека и вызываемого им страха греха иного спасения нет, то пусть будет очередной напиток. Пусть так... Пусть... всё равно...

Всё равно она не любит его. Испугавшись было, что к ней, почтенной вдове, в её-то лета, явилось сердечное томление Камадэва, она очень быстро поняла: нет. Она по-прежнему тихо ненавидит этого пришлого молодого царя, соперника своего сына, непредсказуемо опасного человека... а это – всего лишь телесный голод, решивший вдруг напомнить ей о том, что она – никакая не богиня, а смертная женщина... и не стоит возноситься выше райских планет. И думать о себе как об образце и примере чего-то там... Ей самой нужен пример добродетели. Но сначала – хотя бы успокоиться.

Выпив перед сном сладковатый настой Шрутадакши, махарани думала, что уж в этот раз сможет заснуть спокойно и видеть лишь ясные, непорочные сны.

...Вот её возлюбленный супруг, махарадж Панду... Он улыбается ей... не так, как обычно... Сколько она помнила его улыбку, в ней всегда сквозила горечь; она была ободряющей, поддерживающей, какой угодно – но не такой... Он подходит ближе, касается пальцами её лица, отводит в сторону выбившийся из причёски локон... а потом вдруг властно стискивает её в объятиях, прижимает к себе, настойчиво склоняет к земле, укладывает на траву... Она задыхается... от радости, от внезапной ослепляющей стра-



сти... запрокидывает голову, рассыпав волосы и шпильки по шелковистой траве и дурмящим цветам...

Она смотрит на него с дикой, звериной любовью... ну и что, что его лицо – не бледное, словно траурные покровы, а смуглое – обласканное солнцем... и пусть глаза не блекло-серые, а тёмно-карие, глубокие, как омуты... другое лицо... другие даже пальцы... и что?

– Господин мой, возлюбленный...

Она раскрывается ему, изголодавшееся тело уже готово его принять. Первое прикосновение его копы к лепесткам её лотоса... Сейчас, вот сейчас... она познает то, чего никогда...

Его глаза стекленеют. Тело ничком валится на неё тяжелой каменной плитой... обжигающий холод... да она ледяная! И из-под неё невозможно выбраться, словно из-под горного обвала... никогда... никогда...

Она кричит. Срывается с ложа...

Вбежавшая перепуганная Падмини хватается за плечи, заглядывает в глаза...

– Я позову Шрутадакши!

– Нет... – царица, с трудом осознавая, что вырвалась из сна, пытается прийти в себя. – Она же в летах... ей трудно просыпаться среди ночи...

– Да она не спит по ночам! Когда же ещё ей готовить свои настои, чтобы никто не мешал?

Старая кухарка, переваливаясь, входит в покои, подсаживается, не сразу уместив на ложе своё расплывшееся трясущееся тело. Но в глазах её – нездешняя мудрость.

– Шрута... – в ужасе шепчет царица. – Ты знаешь, как умер мой супруг... Но это было не со мной! Не со мной! Неужели и я могу убить кого-то – так?

– Госпожа моя, – отвечает старая служанка. – Проклят был ваш супруг – но не вы. Вы не можете никого так убить.

И она взирает на госпожу, не сумев сдержать лукавства во взгляде: «И кого же это ты, милочка, собралась эдак-то убивать?»

– Ты знаешь, Шрута... что Падмини брала у тебя охлаждающее плоть питье для меня... Но я недовольна тобой! Почему оно не действует? Я не хочу видеть таких снов! Добродетельным вдовам не следует... видеть такое... про покойного супруга!

«Ой ли? – лукавство не покидает глаз старухи. – Именно про супруга? Чего ж тогда бояться убить его своей страстью, если он и так уже на райских планетах?»

Но ничего подобного мудрая женщина не говорит.

– С одного раза и не подействует. Принимать его нужно несколько дней. И не только перед сном. Утром тоже. Вот увидите, госпожа, добродетель вернётся к вам даже с прибавкой. Может быть, вам даже столько и не надо...

И царица послушалась свою наперсницу. Она даже слишком ответственно подошла к приёму спасительного снадобья. Но прошло четыре... пять... семь дней... а недобродетельные помыслы и не думали покидать её разум и тело. Они даже стали ещё безудержнее. Она старалась лишний раз без дела не покидать покои и не ходить по дворцу, и уже не видела свою «болезнь», разве что издали, но... желание хотя бы увидеть его рядом, почувствовать... становилось просто мучительным.

– Шрута! Да что же это такое! Чем ты поишь меня? Почему не действует?

– А вы взгляните на себя, моя госпожа. Да, в зеркало.

Кунти была потрясена своим отражением. Сеточка морщинок под глазами исчезла. Подевались куда-то – словно и не было – и лучики в уголках глаз. Слегка обвисшая кожа щёк снова была упругой, засияла молодым румянцем. Обозначившийся изящный острый подбородок с томной ямочкой делал её округлое лицо по-девичьи шаловливым. А глаза... они блестели! Так, как, наверное, бывает лишь в первой поре цветения юности.

Поражённая царица долго не могла оторвать взора от этого отражения, протёрла зеркало, приказала принести другое... Но нет, молодая красавица смотрела на неё изо всех поверхностей, способных отражать: из золотых подносов, из прозрачной воды в серебряной чаше для омовения рук, из начищенных до блеска бронзовых дверных ручек...

– А взгляни на своё тело, моя госпожа.

Кунти оглядела себя. Постройнела в стане – ну, это не удивительно: исхудать от любовной тоски. Во многих песнях, которыми её иногда развлекали служанки, играющие на музыкальных инструментах, пелось о влюблённых, иссушённых томлением до превращения в «тростинки». А вот грудь... Царица не смогла не прикоснуться к ней, ибо это было похоже на чудо: округлости приподнялись, налились, им было тесно в привычном сари...

– Ч...то... это... Шрута?

– Вот такое питье я давала вам, махарани. Ну, не придумала я пока ещё ледящего тело настоя... да и не нужен он. Теперь, когда вы снова молоды и прекрасны, вы можете познать то, чего лишила вас судьба... и не по вашей вине!

– Что??? Ты подбиваешь меня на грех?

– Не вас. Падмини.

– Кого?

– Ваша служанка хороша и дерзка... пусть она заигрывает с Ангараджем Карной... он молод, горяч... вполне вероятно, она его привлечёт. А когда...

– Откуда ты знаешь?

– Что это он? А кто ж ещё? Все остальные молодые мужчины дворца – это ваши сыновья и племянники. Можно ещё было подумать о сыне Дроны... но он слишком холоден, чтобы мог воспламенить хоть кого-то... Он как кусок льда... а этот... Карна... словно жаркий полдень!

Царица едва не согнулась пополам от дикого смущения... и этим снова выдала себя с головой.

– А когда он соблазнится вашей служанкой, и они договорятся о сладкой встрече, к нему придёт в одеждах Падмини, укрытая покрывалом, другая женщина... Вы, моя госпожа... Нужно лишь говорить всегда шёпотом и попросить его не зажигать лампад... А на ощупь он не отличит ваше новое прекрасное тело от тела девушки... И репутация ваша не пострадает.

– Шрутадакши! Да ты... сводня!

– Он отнял у вас добродетель. Её нужно заполучить обратно. И вернейший способ: просто узнать то, чего не знали. Быть невинной в ваши лета – это ещё не признак добродетели. Это, скорее, признак гл... незнания. А как, не зная, можно отличить истинную чистоту по собственному разумному выбору от простого лишения этого выбора? И, вполне вероятно, это перестанет вас тревожить. Ещё неизвестно, понравится ли вам. Немало женщин говорят, что в этом нет ничего хорошего. Да и он... неотёсанный колесничий... едва ли его учили искусству любви... Он воин, даже слишком воин... Такие обычно бывают грубы и неповоротливы...

«Нет... – вдруг подумалось царице. – Это не так...». Не мог быть грубым человек с таким глубоким тёплым взглядом, с таким голосом, одна мягкость которого способна заменить тысячи самых изысканных ласк...

– Да... – прошептала она... почти простонала.

– Вы согласны? Ну, вот и прекрасно. Имейте в виду: не на грех я вас подбиваю – я вас хочу исцелить. Это снадобье, и им не стоит злоупотреблять. Вернёте добродетель, отринете глупые страсти, успокоите своё сердце – и всё станет как прежде. Даже с прибавкой.

...Но прошел день... два... три... Когда Падмини входила в покои госпожи, её личико не могло скрыть разочарования.

– Ничего не выходит, – произнесла она на пятый день, опустив покаянно голову. – Простите меня, махарани, простите, Шрутадакши-джи... как бы я ни улыбалась ему, как бы ни старалась приблизиться, угодить, наливая напитки за трапезой, что бы я ни делала... он смотрит на меня, словно на дворцовую колонну... если вообще смотрит. Он меня не видит. Меня для него нет.

Девушка виновато теребила кисти своего пояса.

– Простите меня... я ведь... невинна. Мне неведомы ухватки, которыми пользуются в таких случаях... опытные женщины...

– И не нужно! – испуганно воскликнула Кунти. – Не смей больше порочить себя! Это ты меня прости... я грешница, и ввожу в грех других... За твоё старание ты получишь награду. Когда ты сама того пожелаешь, я выдам тебя замуж за достойного и добродетельного человека. А пока – незачем тебе расклевать своё сердце! Ступай!

Не сумев сдержать вздоха облегчения, Падмини выбежала из покоев. Вслед за ней к дверям поковыляла Шрутадакши.

Царица даже не попыталась остановить её. Нет! Никогда раджмата больше не даст согласия на столь недостойные уловки! Да и вообще, не мешало бы отдалить старую греховодницу...

Хотя... кухарка вернула ей не только молодое лицо и тело, но и здоровье как будто стало лучше. Когда в последний раз болела голова? – она и не помнит... Но что убрало эту боль? Настоя старухи или... телесный голод? Который и не думал оставлять «образец всех лучших качеств, которые должны быть в женщине».



– Падмини... – сказала царица Кунти в один из дней, большую часть которого полулежала на источающих аромат сандала бахромчатых подушках, томно глядя в одну точку и предаваясь сладко-печальным мыслям. – Я бы хотела уехать куда-то... В паломничество. Нет, в лесной ашрам. У нас ведь в лесах живут не только отшельники, но и отшельницы... Они станут для меня примером добродетели, я приму аскезу...

– Ну, что вы, госпожа! Вам нельзя никуда уезжать! Ваши сыновья нуждаются в вас! Да и махарани Гандхари вас любит, у неё больше нет подруг!

Да уж... вспоминать о своих прямых обязанностях становилось с каждым днём все сложнее. Да, она выполняла их, но всё это делалось как будто в полусне, а единственное, чего хотелось – так это вернуться в свои покои и снова, безвольно разнежившись на подушках, предаваться подобным патоке ощущениям... погружаться в глубины своей души... и не только...

Молодое тело... Нет, не юной девушки, но... она бы сейчас родила ещё пару-тройку сыновей или куколку-дочь... Почему «ещё»? Она ведь никогда не рожала, её сыновья достались ей от богов «готовыми» – легли в её руки от сияющих божественных лучей... Да, она любила своих детей, но истинной радости материнства так и не познала...

Может быть, объявить махараджу Дхритараштре и министрам о том, что она снова желает выйти замуж? Да, это невероятная дерзость для вдовы, ломка традиций... Но она ведь не просто вдова, а представительница царской династии. А Хастинапур всегда не прочь заполучить нового союзника, и такой – союзный – брак с каким-нибудь сильным царём будет царству Куру очень даже на руку...

Но... при таком браке ей не оставят выбора. Отдадут за того, кто выгоден, и, учитывая её лета, это будет какой-нибудь старик... у которого уже есть другие жёны... старые змеи... или наоборот, юные «группшки»... каково будет её место среди них? А её сыновей?

А весь этот истомный хаос мыслей порождал в ней вовсе не старик... Насколько же он моложе её? Ну, не на двадцать лет точно... на пятнадцать... четырнадцать... как хотелось сократить эту разницу, убрать её вовсе...

И не страшили больше сны. Царица сдалась им. И даже начала ждать. Пусть будет это лицо, эти глаза, руки... эта покоряющая сила...

Но в этих снах было много чего... а вот самого главного – не было. Да и как оно могло бы быть, если она и представления не имеет об этом? О таких вещах не принято даже говорить – подруги-кшатриани не обсуждают такое... ну, разве что со служанками... но с ними – словно о какой-то болезни... о чём-то, чего нельзя отменить... к чему нужно готовиться... потом справляться с последствиями...

И таких разговоров царице уж точно не хотелось. Она давно уже не звала к себе Шрутадакши – не хотела слушать от неё о себе, словно о недужной. Не хотела так о себе думать. Нет... это не болезнь... это радость, пришедшая к ней, чтобы скрасить её одиночество... да, радость... но почему так больно?

А потом произошло то, что могло бы заставить царицу-мать напрочь позабыть о своих глупых метаниях... Тревога за сыновей, которые отправились на свою первую в жизни войну.

Почтенный гуру Дрона потребовал очень высокую плату за своё обучение: чтобы его ученики завоевали царство Панчал и унизили его царя – махараджа Друпиду. Некогда тот нанёс Дроначарье оскорбление, которого брахман не смог забыть. Царица думала о том, какой же это мудрец, если не может подняться над своими мелкими обидами, да ещё и требует разрешать их другим – неоперившимся юнцов, для которых это – первая битва... И они могут погибнуть ни за что, за чьи-то чужие глупости...

Погибнуть? Когда царица провожала на битву своих могучих сыновей – истинных воинов, хотя бы по виду – сердце матери наполнилось гордостью и уверенностью: её лучезарные дети богов одержат победу и над демонами! Тем паче, что и благословения их небесных отцов в молитвах его получены...

Такое же впечатление – неумеренной, нерастраченной силы и непобедимости – производили и сто сыновей Гандхари. Вот только старшему – Дурьодхане – ну очень захотелось, чтобы с ним на войну отправился его друг, Ангарадж Карна. И царица Кунти стала свидетельницей безобразной сцены... которая никому, кроме неё, безобразной не показалась. Даже Дурьодхане. Он как-то очень быстро согласился с тем, что да, это испытание только для учеников Дроны – чужим ученикам здесь не место. Принц взглянул на молодого царя, так, словно хотел поскорее отделаться от него – и вообще от всего мешающего и задерживающего – и ринуться в битву!

И когда войско принцев династии Куру, подняв дорожную пыль, удалялось на своих скакунах от ворот Хастинапура, стоящий в этой пыли одинокий отверженный показался царице хрупким цветком шафрана на растрескавшейся от засухи земле...

...Ему понадобилось время, чтобы прийти в себя. Несмотря на то, что он собрал все свои силы, чтобы

не выказать обиды, она видела это по его стиснутым кулакам и тьме сокрушённого взгляда... Затем он медленно развернулся и исчез в глубинах дворца. И царица знала, что, скорее всего, за время отсутствия принцев его едва ли увидят в коридорах или зале собраний.

Она должна была тревожиться за сыновей. Но ежедневное расспрашивание о новостях этой войны тоже было для неё словно обязанностью... Она не могла забыть того, что сейчас... он... один во дворце, словно алтарь в храме...

В том самом прежде шумном дворце, переполненном многочисленными сыновьями Гандхари, не очень-то сдерживающими свои звучные голоса, порывы и желания... С небольшим, но бросающимся в глаза, дополнением из её собственных сыновей – более сдержанных, старающихся держаться вместе, но умеющих, если что, постоять за себя. И даже больше: нередко они дерзили и насмешничали первыми. Особенно Бхима и Арджуна. Первый ни с того ни с сего зачем-то разрушил статую Дурьодханы у него на глазах, зная, что воспротивиться этому никто не сможет – слишком уж Бхима силен... Второй постоянно задевал Карну – даже история с позорным омовением ног ничему Арджуну не научила... царице доводилось слышать из его уст слова, которые казались ей невероятной низостью... но только ей. Остальные считали, что так и следует. Впрочем, и Ангарадж не оставлял насмешки соперника без достойного ответа. Именно достойного. Или царице снова казалось...

Но всё это – миновало. Дворец опустел. Да, в нём оставались старшие: махарадж, царица Гандхари, Великий Бхишма, главный министр Видура, мудрецы-астрологи, царедворцы... Но того биения, клоко-тания молодости, что наполняло залы прежде, не стало.

Тишина была сонной и кислой, словно застоявшийся пруд...

Ангарадж Карна почти не покидал своих покоев. Царица слышала о том, что он занят изучением шаштр, постижением науки правления царством. Готовился предстать перед подданными своей провинции, не хотел быть царём только формально. Ответственный мальчик...

Хотя именно этой формальности никто не только не противился, напротив – его хотели держать в Хастинапуре, под рукой у молодых кауравов... Но после такого...

И царица прекрасно понимала, что этот «ответственный мальчик» занял себя политической наукой и возжелал наконец увидеть своё царство и утвердиться в нём лишь для того, чтобы не думать о нанесённой ему мучительной обиде. И, вполне возможно, скоро он просто покинет Хастинапур. Может быть, даже надолго.

Хорошо это или плохо? Радоваться этому или...

И в один из сердечно беспокойных вечеров махарани поняла, что если не сейчас, то – никогда...

Сейчас... что?

Просто прийти к нему и сказать всё, что она думает о нём... и чувствует. Всё, что терзает её уже много дней... Получить отвержение, конечно же. Но именно оно и будет полезно ей для постижения того, что же такое истинная праведность.

Может быть, даже унижение и насмешки... нет, едва ли... скорее, тут дождёшься сочувственных наставлений... он уже успел прославиться своей приверженностью дхарме... да и она была для него «образцом и примером»...

Разочаровать праведного юношу в себе?

Но как в такие лета и с такими жаркими волнами жизненной силы, исходящими от него, можно быть праведным? Ха! Наверняка он имеет дело со служанками... или таскается в те трущобы, где родился, к тамошним доступным женщинам... Но при воспоминании о его лучезарном лике и вот уж вопистину, без всяких притяжек, чистом взоре – царица устыдилась таких мыслей...

Да не важно, каков он. Святой или распутник, он всё равно будет потрясён явлением ему самой ходячей «чистоты и непорочности» – с такими речами... И она уйдёт от него, узнав о себе «истину» – и тогда уже будет знать, и чем целить эту болезнь...

Не было страха. Напротив, пришла какая-то истовость... какой она прежде не знала. Всё изменится. Эта встреча снова разделит её жизнь на «до» и «после». И она вырвется из своих душевных грёз и снова сможет стать самой собой – рассудительной и мудрой царицей-матерью, думающей только о благе своих сыновей.

Когда она решилась на свой дерзкий шаг, никому не сказала об этом: ни верной Падмини, ни тем более Шрутадакши. Ещё не хватало каверзных советов, как лучше будет «познать неизвестное»... Она



хотела лишь избавиться от наваждения. Вызвать в нём праведный гнев, осуждение, презрение... И только. И только!

Одеяние служанки и плотное покрывало были припасены заранее. Царица было хотела попросить у кухарки-целительницы успокаивающее питье, чтобы не дрожали руки, не выскакивало из груди сердце, не подламывались ноги... Но как объяснить коварной старухе потребность в таком снадобье? Нет, она сумеет успокоиться сама: сосредоточиться, несколько раз повторить мантру рассудительности, послать короткую молитву Дхармадэву – с просьбой помочь ей вернуть добродетель... Ну, и пусть способ – странный. Ведь самим дэвам прекрасно известно, что женские помыслы непостижимы. И что все они – чисты...

Когда на дворец опустилась тьма, погасли лампы в залах и коридорах, кроме тех, что держали при себе стражники, она загасила все огни и в своих покоях, объявив, что уходит в обитель сна. Переволноваться в темноте было непросто, но ведь она и не стремилась явить собою красавицу. Достаточно укрыться длинной накидкой...

Вышла из покоев крадучись. На своей половине следовало двигаться бесшумно и незаметно – стражу могли удивить ночные прогулки служанок раджматы. А вот на мужской половине дворца можно не хорониться. Все прекрасно знали, что те из дворцовых служанок, которые из-за своей добровольной или невольной «доступности» давно потеряли возможность достойно выйти замуж, а потому сами заботились о себе, – нередко шмыгали по этой самой половине, ныряя в двери покоев молодых, ещё неженатых принцев или их приспешников. Или те призывали их на ночь сами, или дерзкие девицы в поисках даров и наград по собственному почину предлагали услужить царственным особам либо их воинам... да не важно. Такие женщины во дворце были, и никто не удивится, если одна из них в очередной раз тенью проскользнёт в очередные покои...

В единственные, что не пустыют ныне на половине молодого поколения династии.

Он остался один. Даже сын Дроны отправился на эту войну вместе с отцом. Покои махараджа – в другом крыле, Великий Бхишма облюбовал себе отдалённую от всех часть дворца с обширными комнатами, главный министр Видура с семьёй вообще обитает в отдельном доме неподалёку... Некому удивляться «похождениям» молодого царя-выскочки, точнее – тому непредвиденному «дару», который хотела преподнести ему загадочная гостья...

Она вошла в покои Ангараджа без стука. Он не спал. Сидел за малым столом для чтения и письма и изучал очередной свиток, иногда что-то отчёркивая в нём палочкой для письма. Столь вольное обращение с писаниями мог позволить себе только тот, кому не внушали с пелёнок священного трепета перед каждым записанным в них словом. И это человек, о котором говорят, что он привержен дхарме? Какая-то она у него своя...

Она села прямо на его ложе. И только тогда позвала его. И совершенно не удивилась тому, что он давно уже приметил её явление – лишь не подавал виду.

– Почтенная дэви, – произнёс он наконец, откладывая свиток, – что привело вас сюда? Если вы нуждаетесь в помощи или средствах, приходите завтра на рассвете на берег Ганги, вы знаете, что...

– В это время ты раздаёшь милостыню всем, кто в ней нуждается... Но свою нужду я не могу удовлетворить утром. Только ночью.

Ужас пронзил царицу изнутри от столь невозможных слов... И это говорит она?

– Какова же ваша нужда, дэви?

Он что, глупец?

Она едва не сказала это вслух. Точнее, почти сказала...

– Моя нужда в тебе – страсть... Но ты мог бы и не спрашивать. Разве приходят женщины в покои мужчин ночью за чем-то другим?

Он молчал, явно сильно изумлённый. Неужели... в эти покои никто никогда прежде не шмыгал? Впрочем, не удивительно: красив-то он красив, да вот всё равно – непонятно кто, всего лишь приспешник принца... Его «высокое» положение – на волоске... У самих принцев куда больше даров и наград.

– Ты не услышал меня, воин? – сказала она требовательно. – Ты читаешь писания... или ещё не прочёл о том, как однажды к могущественнейшему из дэвов пришла влюблённая в него апсара, сгорающая от страсти, а он отверг её... Она взмолилась другим дэвам о наказании обидчика, и их так возмутило его бессердечие, что кара для него была ужасной! Ибо нет преступления страшнее, чем оттолкнуть женщину, которая приходит к мужчине, изнемогая от томления... и ты будешь наказан богами, если...

Его лицо осветилось улыбкой.

– О, грозная дэви! Зачем же сразу начинать с угроз?

– О тебе говорят, что ты привержен дхарме... вот я и рассказываю тебе о ней, чтобы ты не решил, что нарушишь её, если...

– Я и не нарушу дхарму, дэви. Начнём с того, что я одной касты с вами, как и со всеми остальными служанками... А значит, могу сделать любую из них своей женой. И не будет греха в том, что вы... останетесь здесь сейчас. Прошу вас, откройте ваше лицо!

– Ясно... ты женишься на служанке, только если она тебе понравится. А если нет? Боги накажут тебя, если ты её отвергнешь!

– Я могу жениться на любой служанке, – он снова улыбнулся – тепло и... лукаво. – И она может стать царицей.

– Ты подозреваешь меня в корысти? В жадности до твоей короны? Не смей меня, воин! Она и на тебе-то плохо держится... Стоит тебе не угодить привередливым принцам...

Его лицо дёрнулось. И ей в этот миг вдруг стало сладко... Ну, уж если ей так хотелось получить его отвержение и презрение, то перед этим можно и самой потешиться, уязвляя его словами в самые тревожные уголки его сердца... и наблюдая за этим подвижным лицом, на котором все чувства отражаются, словно в прозрачной воде... Подвижное и прекрасное... такое живое... и голос...

В груди снова запылало... И не только в груди... Он так и не вышел из-за своего столика, и эта преграда показалась ей такой вопиюще лишней...

– Ты сам заговорил о женитьбе, – продолжала она. – Я говорила лишь о страсти... о том, что твой облик так разжёт моё тело, что я не могу спать ночами... Не сердце, нет! Я не люблю тебя!

В его глазах изумление, казалось, переросло небеса. Хотя куда уж больше... Он что, и правда, чист, словно воды Ганги? Впервые слышит подобное?

Но он был явно потрясён – и не мог этого скрыть.

– Мне ничего не нужно от тебя, – поймав волну его смятения, продолжала издеваться женщина. – Ни золота, ни камней, ни короны, ни брачных обетов! Только ты!

Он долго не мог сказать ни слова.

А затем вышел из-за преграды и приблизился к ней. И... склонился к её стопам.

Тут уже она не смогла скрыть внезапной паники.

– Ваш голос... – сказал он едва слышно, не поднимая головы. – Сначала вы говорили шёпотом, но потом забылись... махарани...

Узнал...

Она с какой-то вызывающей радостью отбросила покрывало и ничуть не менее смело взяла в ладони его лицо и подняла его. Несколько мгновений два взгляда не могли расцепиться: один – поражённый до самых глубин, другой – шальной и... властный.

И в этот миг к ней пришёл страх... Сколько всего лишнего успела наговорить она, забывшись... та, что пришла к нему лишь для того, чтобы вызвать его праведный гнев...

Она убрала руки, опустила голову – и уже совсем другим тоном произнесла:

– Теперь ты знаешь... Ты называл меня образцом чистоты и праведности, а я... я не служанка, меня нельзя взять в жёны... я великая грешница... скажи мне об этом...

– О... чём?..

– О том, как ты разочарован во мне... О том, что я ничтожество... Облей меня презрением, высмей, растопчи... Только это поможет мне избавиться... от тебя...

И снова он был изумлён. Но чем на этот раз?

– Махарани... – произнёс он, вновь опуская глаза. – Наши традиции строги, мы не смеем даже бросать взгляды на кшатрийских вдов... Они все для нас – примеры строгости и умеренности, праведности и чистоты... И вы для меня всегда были... и остаётесь... таким образцом... несмотря на то, что я с детства не знал никого прекраснее... И не знал в своей жизни большего влечения, чем то, каким пронизывает меня сияние вашего лица...

Негодник... вот так откровенно напоминать ей о её летах... Нет, скорее, глупец...

Впрочем, судя по его глазам, он так и не отошёл от потрясения. Его мысли явно путаются... он просто несёт чушь! Да как он вообще смеет говорить такое? Да, она – посмела... но он... Ему-то кто позволил?

– Ты... нездоров? – вздрогнула царица. – То, что ты несёшь...

– Я не смею... Тогда, в детстве, ваши глаза показались мне столь же добрыми, как и глаза моей матери... может быть, влечение это – такого рода... – он явно не знал, как извернуть слова, чтобы не посягнуть на её репутацию, не обидеть её... а получалось ещё хуже...



Мать! Нет, его наивность никогда не позволит ей забыть о том, что он ей в сыновья годится... и зачем были все эти снадобья Шрутадакши?

– Вот и напомни мне, воин, о том, что по летам я тебе что мать, о том, что я вдова кшатрия, и должна быть почтенна и строга. А я напомню тебе, что ты уже много дней сжигаешь моё тело, заставляешь помышлять о тебе больше, чем о добродетели... Напомни мне об этом своим гневом, презрением, судом, приговором... защити традиции! Порази меня громом за мою греховность!

– Разве я дэв? Разве мне судить в этом мире хоть кого-то?

– Ты защищаешь грех?

– Я...

Он встал и отошел от неё, отвернувшись, явно более чем просто сбитый с толку. Скачки её мыслей, её сами себе противоречащие заявления привели бы в смятение кого угодно.

Именно этого она и хотела... этого ли?

Незваная боль ударила в сердце. Зачем она так? Разве он виноват хоть в чём-то? Это ведь её грех... но и её потребность избавиться от него!

– Послушай, воин... – прошептала она уже без прежней напористости. – Я пришла к тебе, чтобы... избавиться от тебя. Это действительно грех, и он мучает меня... Если ты меня осудишь и высмеешь... ты поможешь мне... Если я пойму, что ты – такой же, как все... такой же непробиваемый камень традиций... такой же... негодяй... это покинет меня...

– Кто??

– Прости... Если я увижу, что ты такой же... мелочный и дотошный... как другие... я почувствую, что ты так же низко, как все... я не могу объяснить... ты, может быть, думаешь, что я сейчас оскорбляю законников и ревнителей традиций... но да, иногда мне кажется, что они мелки и низки... в своём уничтожении людей и их счастья... ради глупых слов... пусть даже мудрых... да всё равно... Покажи мне, что ты такой же... мерзавец... и я освобожусь от тебя!

Теперь уже она несла весть что... А как тут быть? Когда приходишь за освобождением, а вместо этого... все тело трепещет от тысяч кинжалов пронзающего раджаса... и даже в голосе мольба... вовсе не об избавлении...

– Смейся надо мной! Язви! У тебя ведь не такой уж невинный язычок! Вспомни, как ты называл Арджуну внухом! Назови и меня... грязной женщиной!

– Махарани! Вы чисты!

Да он издевается? Или... безумен?

– Дай мне почувствовать, что ты мерзавец! – её голос перешёл предел отчаяния. – Уничтожь меня!!

– Ну, хорошо... – едва выговорил он, оборачиваясь. – Вы хотите видеть меня мерзавцем... скажите, каким... кого я должен вам напоминать?

– Напоминать??

– Чтобы угодить женщине... которая хочет видеть в мужчине мерзавца... нужно хотя бы знать, каким она себе... его представляет... Кто подобный был в её жизни... Кого вы имеете в виду? Я не знаю ни одного мерзавца в своём окружении, да и в вашем... Мне не на кого равняться... и я боюсь вам не угодить!

Он уже смеётся над нею? Это такое... изощрённое... ехидство?

Она снова подняла на него глаза. С холодной злостью.

– Значит, себя ты мерзавцем не считаешь?

– Ну, если исходить из того, что все мужчины от природы... но ведь это не так! Разве Великий Бхишма или...

– Ты ещё вспомни Дхармадэва!

– Дхармадэва? Вы правы! Если не знаешь, что значит быть мерзавцем, об этом можно спросить у богов!

Он сложил ладони на груди и на несколько мгновений закрыл глаза. А когда открыл... в них не было ничего человеческого... Глаза хищника в ярости... демона...

То, что произошло потом, разорвало мир, будто вспышка молнии... Звериной силы удар обрушился на женщину, заставив её отлететь в глубину ложа, к самой стене... Словно кузнечные клещи сомкнулись на её лодыжке, рванули так, что голень едва не оторвалась от бедра... И снова удар... с отяжкой... Она вскрикнула, в ужасе закрываясь руками, отползла вглубь ложа, забилась в угол... Руки трясло, она даже не могла схватить подушку... или ещё что-нибудь, чтобы защититься... всё проскакивало сквозь ладони, будто сама Вселенная решила выскользнуть из её жизни... если это ещё жизнь...

Она снова пытается кричать... и не может... выскальзывает и голос...

...Мужчина падает на колени возле ложа, вцепляется в его край, припадает к нему лбом... Его дыхание тяжёлое и жаркое, словно пустынная буря...

– Всё... это всё, что я могу... больше не...

Женщина смотрит на него, словно загнанная лань... и сквозь удушающий страх в её разум пробирается осознание: это всё было... для неё. Для её освобождения... как она того просила...

Но какой ценой ему это далось...

Или... не только для неё?

Сама не понимая, зачем, она медленно, неловко подползает ближе, прикасается кончиками пальцев к его пылающему лбу...

– Махарани... – бессильный выдох. Голос сдавлен, словно дышать ему осталось всего мгновение...

– Да... это я... – кто это говорит её устами?

Какая это стихия бросает её тело на спину поперёк ложа: ноги в глубине, а голова почти свешивается с края... какая буря разрушает её строгую причёску, заставляя волосы сияющим водопадом стекать с шёлковых простыней на его колени... Она смотрит на него перевёрнутым взглядом и видит его лицо словно отражённым в мутном зеркале...

И куда исчезает вечно сжатая ржавая пружина, именуемая Кунти, когда в теле её расцветает роскошным лотосом всемогущая небесная обольстительница – апсара... Которой дозволено всё: даже помыкать дэвами, словно своими слугами... даже... и нет никаких запретов... только этот медленный жидкий огонь, этот сводящий с ума аромат небесных цветов, хмельная сладость трескающихся от спелых соков плодов райского сада...

Мужчина медленно поднимается с пола, садится на ложе... чтобы склониться над женщиной. Его пальцы прикасаются к изгибу её шеи... робко? Скорее, осторожно...

– Махарани... – голос более чем просто сдавлен. – Я уже позволил себе... лишнее...

– Никогда... – шелковистый шёпот апсары подобен струям пьянящей амриты. – Никогда не делай того, о чём можешь пожалеть!

– Я... не пожалео! – произносит он твёрдо. – И помните, махарани: это – не ваш грех. Он... только мой! Только я буду отвечать за него – не вы!

А потом она узнала покоряющую тяжесть чужого тела. Голова её свесилась с ложа, и женщине показалось, что она падает в жерло вулкана... Но в этот миг сильные руки уверенно взяли её за плечи и переложили иначе – в шёлковистую мягкость подушек... словно в облака... А где же ещё может предаваться наслаждению апсара, как не в лебяжьей нежности облачного ложа?.. И кто ещё может усладить апсару, как не молодой бог, блистающий несмертной красотой?..

Когда она широко раскрыла глаза, чтобы видеть его, ей показалось, что сами небеса явили ей это лицо... Таким был лик Бхагавана Сурьи, много лет назад представшего перед нею по её неосмотрительному зову... неосмотрительному... глупому... последствия которого до сих пор саднили в сердце... но лицедреть тогда сияющего дэва было истинным блаженством... Потом она даже позволила себе нескромные помыслы о том, как же это неправильно – одаривать сыновьями от божественных лучей... а не так, как это должно делать на самом деле...

На самом деле...

Узнавать то, чего не знала прежде...

Без страха... Без единой мысли о том, что может кого-то убить своим расплавляющим зноем...

Его не убить страстью. Слишком много в нём жизненной силы – через край... И, похоже, сдерживать её для него – мучение... Так пусть же...

– Не осторожничай со мною, воин! – властно говорит апсара. – Я хочу узнать твою силу!

И трепетные облака превращаются в грозные раскаты... и как же роскошна молния, пронзающая её до глубины естества...

И нет никаких лет... Она – юная невеста на брачном ложе... Нет, распущенная дворцовая служанка... Нет... богиня!

Узнавать неизведанное...

Узнавать себя...

И... не узнавать его.

Этот человек привержен дхарме? Да молодой царь, похоже, никогда не слышал даже такого слова...

...Когда она отдыхала в глубине ложа, пытаясь успокоить разошедшееся сердце, он смотрел на неё, не смея прикоснуться.



Снова сдержанность... ненужная... наивная...

– Что с тобой? – спрашивает она. – Ты испугался? Жалеешь?

– Махарани... – отвечает он, и для неё этот голос – томительное продолжение только что пережитого неземного блаженства... – С того мгновения, когда я понял, что мне явили себя именно вы... и я позволил себе дерзость думать... что это... может произойти... я боялся только одного: что разочарую вас...

– Разочаруешь? Но почему?

– Потому что у меня это... впервые.

– Что?? – она подсакивает на ложе от безмерного изумления.

– Я впервые с женщиной, махарани.

– Но... как такое может быть? Тебе сколько лет?

– Немало, – он усмехается. – Куда больше, чем старшему из ваших сыновей... Я лишь недавно закончил двенадцатилетнее обучение. Мой гуру был суров... И брахмачарья – это аскеза. Она не предполагает отвлечений... на прекрасных дэви. Да на это не остаётся ни времени, ни сил... если обучение для тебя – самое важное, что есть в твоей жизни. Здесь же я недавно... и, поверьте, в моей новой жизни, которой я сам не ожидал, тоже было не до...

Поверить не сложно... Если озабочен тем, как удержать шатающуюся на голове корону... которая нужна даже не ради неё самой, а для иного... когда не знаешь, чего ожидать от всех, кто тебя окружает... когда приходится бороться с отвержением, непониманием... утверждать себя в непривычном мире... о чём тут говорить?

– И что... на тебя ещё никто не успел положить глаз? Ни одна служанка?

– Была одна... обхаживала меня... Но я знал, что это ваша служанка, махарани, и что она – чистая девушка... я бы не посмел.

– А хотелось?

– Я не святой, махарани...

– Значит, сейчас, – её губы кривятся, – когда ты нарушил свою аскезу... ты захочешь большего?

– Только если это будет вашим желанием...

Она молчит. Странные попытки проникнуть в невинную душу... невинную настолько, что он даже не понял, похоже, что и у неё это было впервые... и пусть! Редким из тех, кому – обоим – незнакома сладостная близость, милость Камадэва дарует такую божественную гармонию... редко...

– Вы хотели избавиться от меня, махарани... Преодолеть грех... Я виноват перед вами... в своей несдержанности. Но... я уже говорил вам, скажу снова: никто и никогда не притягивал меня так, как вы... я не знал, что это, не мог понять... Теперь знаю... Пусть меня накажут боги за такую дерзость, но... я буду любить вас до конца моих дней!

Она молчит. Напомнить ему, что она пришла сюда не с любовью? И даже сейчас, наблюдая за его восторженным лицом, она видит в нём всего лишь соблазнительную молодость... ничего более...

– Послушай, воин... Это моя несдержанность виновата в том, что... ты не уберёг себя для своей будущей возлюбленной жены... Не бойся, я не стану больше преследовать тебя.

– Я стану.

Она снова вздёргивается, уставившись на него в испуге.

– Да, каждый из нас должен исполнять свой долг, – продолжает он, словно так и должно. – И видется часто невозможно. Не все вечера мои свободны, до меня бывает дело многим, и нередко... Если я буду знать, что в этот вечер я точно буду один, я подам вам знак... надо придумать, какой... И тогда только вашим решением будет, захотите ли вы меня... видеть, или нет.

Да он... наглец!

– Может быть, вы уже сейчас решили, что видеть меня не хотите больше никогда. Но я всё равно буду подавать вам этот знак! Например... вот это... – он наклоняется, поднимает с пола сброшенное в порыве страсти шейное украшение. – Я стану надевать его только тогда, когда точно буду знать, что смогу принять вас. В иные дни я не стану носить его.

Да он просто... сошёл с ума! Это что же, ей теперь высматривать побрякушку на... его теле...

От этой мысли царицу снова опалила истома...

Ею распоряжаются... Как давно этого не было... чтобы кто-то распоряжался... её сердцем, телом, женской сутью... Как давно она не испытывала этой пронизывающей насквозь чужой властности... Да испытывала ли вообще? Она даже женой не успела побыть... не успела познать трепетного ожидания воли супруга и господина... захочет ли он сегодня прийти в её покои, или его затянут дела и заботы...

А ведь это так сладостно... именно это и наполняет жизнь женщины до края драгоценной чаши любви...

Пусть будет так... Она будет ждать. Высматривать. Надеяться. Тревожиться. Разочаровываться. И... не разочаровываться, когда...

И это переполнит её иссушенное сердце, всколыхнёт ее тоскливые дни... куда сильнее, чем что бы то ни было прежде... даже сыновья... даже материнская любовь...

Она заслужила это... эту пьянящую сому бытия женщиной...

Пусть...

И уже на следующий день она увидела этот знак. И не только его – но и взгляд: призывный, откровенный, почти больной... Похоже, молодой царь и покои-то свои покинул только для этого – показаться ей, ведь никаких особых дел в зале собраний дворца у него не было.

И она едва дождалась ночи, чтобы снова облачиться в одежды служанки и укрыться всепокрывающей накидкой. Под которой можно не заковывать волосы в золотые кандалы, а распустить их по плечам и спине, словно она никакая не царица, и уж тем более не вдова, а...

...Она садится на его ложе, он опускается на пол у её ног, сжимает в ладонях её руки и поднимает глаза... в которых могли бы вместиться небеса – и ещё осталось бы место для ада...

Ей не нужно столько глаз.

Ей нужно столько – горячих рук, необузданных уст и всего остального, до чего так нестерпимо хочется поскорее добраться, что она не выдерживает и сама ненатово сжимает его в объятиях...

И можно забыться... Молодость и нерастраченный пыл возьмут своё, и до самого рассвета раджмата Кунти будет не собой... Или напротив: именно собой она и будет...

А на следующий день – внезапно! – возвратились с войны принцы Куру. С победой, которую одержали... её сыновья. Именно Арджуна сразил непобедимого махараджа Панчала Друпаду, но оставил ему жизнь. И заставил принять условия гуру-дэва Дроны. А заодно и освободить сто сыновей Гандхари, к которым были немилостивы боги в этой битве. Все они попали в плен к панчалам, и если бы не сыновья Кунти...

Незачем удивляться, что принц Дурьодхана и его братья пребывали в не самом благостном расположении духа. Если не сказать хуже... Они едва сдерживали бешеную ярость, когда Хастинапур славил победителей – их соперников, осыпая их шафраном и лепестками цветов...

Дворец в одно мгновение превратился в тугой клубок железных нитей. Скрежещущих друг о друга, дребезжащих, перетянутых... Только что не рвущихся.

Но царица-мать Кунти всем существом чувствовала, что разрыв – близок, но где он произойдёт, в какой части клубка, какая из нитей, треснув, взорвёт её мир...

Старшему поколению династии – или они все слепы, как махарадж Дхритараштра, и бесчувственны, словно статуи? – именно в эти дни пришло в их мудрые головы принять окончательное решение, кто же станет наследным принцем Хастинапура. Да, вопрос был безотлагателен, и так уже слишком затянули... без наследника царство – не царство... но сейчас? Царица Кунти едва сумела сдержаться, собластоны приличия – и не рвануться к Великому Бхишме с мольбой повременить... Ведь она уже знала...

Наследным принцем объявили её сына Юдхиштхиру. Его признали самым достойным. К тому же, самый старший и прославился своей мудростью не по годам...

В день коронации в зале собраний празднично, светло и благостно. Чарующая музыка, ритуальные танцы молодых храмовых жрецов и жриц в ярких одеждах и гирляндах... Напутствия степенных брахманов... Бесконечные лепестки цветов – будто дождём с потолка... Спокойный, словно статуя, Юдхиштхира, достойно проходящий под взорами десятков глаз все необходимые обряды... закрытые глаза, словно именно сейчас ему вздумалось вступить в беседу с небожителями... слушать их подсказки...

Но всё это походит на тонкую облачную кисею поверх спящего вулкана... Наблюдая за церемонией с высоты ложи для цариц, Кунти сжимает трепещущую руку сестры Гандхари... и не может ей ничего ответить на вопросы... о её сыновьях. Где они? Так и хочется солгать: здесь, сидят на своих тронах... а молчат и не славят наследного принца лишь потому, что...

...они врываються в зал грохочущей лавиной! В боевых доспехах, вооружённые, пылающие яростью! И – впереди, рядом с Дурьодханой – он... И в его глазах нет ничего человеческого.

Глаза убийцы.



Царица Кунти едва не сломала пальцы, вцепившись в ограждение... не разбирая, где корень её смертельного страха: за сыновей или... из-за его... предательства...

Но что это? Резко остановившись и нависнув над только что принявшим корону Юдхистхирой, Дурьодхана – внезапно! – широко улыбается и кладёт свою булаву к его ногам. Признает «брата» наследным принцем, желает ему долгой жизни...

В глазах убийцы рядом – бешеное разочарование. Едва не боль... как в тот день, когда его не пустили на войну с Панчалом.

Его и сейчас не пустили. Не позволили принести смерть. Её сыну...

Только вопедшая за много лет в привычку выдержка не позволяет царице Кунти лишиться чувств. И в глубинах того самого естества, голос которого сейчас совершенно неуместен, но вопит истошно, едва не вслух: нет... не может быть... быть не может... уже... никогда...

Кауравы спокойно расходятся и молча садятся на свои троны. Вновь звучат славословия, гулко поют раковины, гремят литавры... Можно уже не бояться за Юдхистхиру. Можно уже не лгать Гандхари, которая так ничего и не поняла... Всё хорошо. Всё... хорошо...

И она уже знает, что в этом горячечном «хорошо» она уже никогда не увидит пресловутого шейного украшения... а хочет ли она его видеть?

Не...

...Дни просто несутся, как взбесившиеся кони... События сменяют одно другое... И все они как будто такие обычные, каждый занят чем-то своим. Махарадж Дхритараштра заключает очередной союз... точнее, подчиняет себе – не без могучей руки Владыки Бхишмы – очередное более слабое царство... Главный министр Видура что-то доказывает на царских собраниях в защиту прав в чём-то там ущемлённых вайшью, но никому нет до них дела... Царица Гандхари впадает в очередную аскезу, о чём-то беспрестанно – и молчаливо – молясь... Отказываясь беседовать даже со своим братом, которого самого что-то не видно в зале собраний, где прежде он торчал постоянно... Во дворце принимают с почётом очередного великого мудреца, явившегося одарить своими знаниями... да кого?

Дворец переполнен, шумен, снова клокочет неумной молодой силой... но этот гул какой-то иной... в нём нет прежней простодушной юношеской прямоты и открытости... пусть даже не всегда добро-сердечной, но – честной... словно всё молодое поколение династии постарело в одночасье. И царице не верится, что сыновьям Гандхари – как бы они ни пытались показать иное – нет уже никакого дела до торжества соперников. Её сердца не обмануть милейшими улыбками при встрече и приличествующими жестами почтения... если даже привычные взаимные насмешки и оскорбления прекратились... что-то здесь не так...

А тут ещё уезжает Арджуна – сопровождать домой, в Двараку, гостившую в Хастинапуре принцессу ядавов Субхадру. И между ними не всё так просто... В другое время царица-мать порадовалась бы явно назревающему браку своего лучезарного сына и высокородной принцессы, сестры самого Владыки династии Яду – могущественного Баларамы. Но отсутствие Арджуны... сейчас???

Юдхистхира спокоен. Может быть, потому, что он спокоен всегда, а может быть, по причине того, что кауравы всею сотней изъявили желание отправиться в царство Синдху, чтобы принять там участие в грандиозном воинском состязании, устраиваемом в честь бракосочетания – тоже совершенно внезапно-го! – царя Синдху Джаядратхи с их единственной сестрой, принцессой Хастинапура Духшалой. Сейчас они усиленно готовятся к состязанию, дни напролёт упражняются в воинском искусстве... но что-то не торопятся уезжать...

И во всём этом напряжённом хаосе ей совершенно не хочется высматривать украшение...

Не хочет. Но высматривает. И не видит его.

Не хочет видеть. Но не видит.

И вдруг сталкивается с его обладателем в коридоре дворца. И снова едва справляется со сбившимся дыханием...

Кровь разрывает виски...

Ненависть? Да, но – такая?

Прежде, чем заговорить, оглянулась: нет ли никого поблизости...

Но он заговорил первым. Тоже не забыв быстро осмотреться и... припасть к её стопам.

Когда он поднял лицо и взглянул на неё снизу вверх, глаза его сияли... Но это был не блеск вожделения. В этом взгляде было... с прибавкой. Может быть, ей столько и не надо...

– Махарани... – голос сбивчив... успеть сказать... – Вы живёте в моём сердце, это будет со мной до

конца моих дней... Но ничего не может быть больше... Дворец переполнен, он кипит от событий... Сейчас невозможно будет укрыться... Ваше доброе имя для меня священо, я готов защищать его ценой любых своих жертв... я не посмею подвергнуть вас опасности... следует всё забыть!

Наивный мальчишка...

– Да! – бросила она, даже не прикоснувшись к нему благословляющей рукой. – Следует всё забыть, потому что ты – враг моих сыновей! Ты собирался поднять оружие на наследного принца Юдхиптхиру! Только прихоть твоего переменчивого... хозяина... избавила тебя от этого! А если бы он не передумал? Ты – поднял бы??

– Да, – ответил он, вставая. В одно мгновение рассеянный, полный смятенной нежности взгляд превратился в иной. Совершенно иной... – Да, махарани... Каждый из нас выполняет свой долг. И я не стану пренебрегать своим. Я дал клятву служить принцу Дурьодхане своим оружием.

– Да ты просто... раб!

– Вы сейчас говорите как Арджуна... Но я не отвечу вам так, как ответил бы ему.

– За что ты ненавидишь Арджуну? За что жаждешь его смерти? Что он сделал тебе?

– Это касается только меня... и его.

– Ты не скажешь этого мне? Ты так бессердечен? Способен заставить сердце матери рваться от боли из-за опасности, грозящей её сыну... и даже не знать причин?

– Вы боитесь за Арджуну, махарани? Не значит ли это, что вы считаете, что я сильнее его? И могу его победить? – в этот миг на его лице – впервые! – появилась та самая самоуверенная... наглая... улыбка, которую она некогда приписывала ему в своей тихой ненависти... но никогда не видела вживе.

– Никогда! – воскликнула царица-мать с внезапно подкатившей под сердце яростью. – Никогда моего божественного сына не победит... существо... с душонкой раба!

– И снова вы говорите как он... И снова я не отвечу вам так, как ответил бы... лучезарному Арджуне! Этот голос может быть таким едким?

«А у тебя не такой уж невинный язычок...»

Между тем он, снова резко сменив тон, продолжал:

– Сердце ваше свято для меня. И сердце матери – тоже. Вы можете не верить мне, но... ненависть воина... если это честный воин... к другому у воину всегда предполагает и уважение к нему. Невозможно ненавидеть тех, кто слаб и ничтожен... их можно только презирать! А ваши сыновья не заслуживают презрения. Они сильны и воистину одарены богами! Их пятеро, они вместе – и в этом их сила. Им не нужен никто больше – ни союзники, ни друзья... Они сами способны справиться с любым испытанием, какое пошлёт им жизнь...

Она растерялась. Неужели он услышал её невысказанные мысли, уже успевшие пробраться в сердце? Решительность покинула её... тело само рванулось к нему, рука невольно коснулась его лица... отделилась...

– Ты бы мог... – голос срывался. – Перейти на их сторону... Я замолвлю за тебя слово! Я докажу им! Они могли бы стать твоими покровителями... друзьями... ты мог бы жить на нашей половине... быть ближе...

– Быть их другом... и лгать им... скрываясь... с их матерью? Это невозможно!

– Да ты просто... трус!

– Лучше быть таким «трусом», чем подлым лжецом!

О, боги... как он наивен... это невозможно вместить... И эта наивность ещё принесет немало вреда – бесконечному числу людей, совершенно того не заслуживающих!

– Ты хочешь быть честным... Но невозможно быть честным со всеми. Тебя окружает слишком много людей... Обязательно придётся кому-то лгать, от кого-то что-то скрывать... Или до тебя ещё не дошло, куда ты попал, возжелав возвыситься, преступив пределы своей касты?

– Доходит... уже многое... – он опустил голову. – И во всём этом... клубке из лотосов и змей... возможно не запутаться, лишь помня... о своей дхарме и своём долге! Кто бы что ни думал, ни делал, на что бы ни пытался подбить твою душу... следует помнить о том, что она – твоя. Только твоя. И такой ей и следует оставаться. И что она выбрала единожды... Честность и долг, махарани. Всё остальное – лотосные змеи...

Она смотрела на него – и впервые видела не соблазнительное молодое тело, плохо скрытое одеяниями и украшениями, – а то, для чего это тело предназначено.

Для боя.



Для войны.

И это для него всегда будет на первом месте. Самым важным. Все иные чувства, страсти, томления, даже самая священная любовь... всё это будет легко отринуто в единый миг, если позовёт долг...

Никакой женщине не удастся сделать его своей игрушкой. Этот – никогда не будет «иношей для утех» – ни для порочных служанок, ни для развратных цариц...

А той, что осмелится полюбить его, придётся научиться ждать...

...Так же, как когда-то – всем сердцем, душой и истомлённым телом, всем существом своим! – ждала она из военного похода молодого супруга своего Панду!.. а он вернулся с новой женой...

«Вы хотите видеть меня мерзавцем?... Скажите, кого я должен вам напоминать?..»

– Махарани... – голос теплеет, в нём снова прорывается болезненная нежность... – Я буду любить вас и почитать до конца моих дней... В моём сердце никто никогда не займёт вашего места... Но... я враг вашей семьи. А потому следует всё забыть. Прикажите своему сердцу... ненавидеть меня... Сила вашей добродетели известна мне, она преодолеет всё!

– Мерзавец... – она не успевает зажать прорвавшейся раны.

Он улыбается – сурово и больно.

– Теперь я знаю, каким быть, чтобы угодить вам, махарани...

Ей больше нечего сказать. Сейчас можно только уйти.

Чтобы жить, напоминая себе о том, сколь недостойно царицы трепетать из-за... существа... с душой раба... а чем ещё, каким помыслом можно забить, словно камнями, так и не омертвевшее тело? ...Из-за не человека, но живого оружия, которое только ждёт приказа... Из-за наивного глушца, чья «чистота» и «честность» ещё разрушит, словно внезапные подземные толчки, немало и в его собственной жизни, и в жизни других...

Да и пора бы вспомнить о собственной добродетели... с прибавкой... и не надо столько... а придётся есть с золотого блюда и давиться её огромными жёсткими кусками.

...Уехать из Хастинапура куда-нибудь... хоть куда-нибудь!.. махарани Кунти хотела давно. Ещё «до»... а уж «после»!!!

Пожалуй, это было ныне её самым страстным невысказанным желанием.

Поэтому, когда старший и мудрейший из её сыновей, заметив, что «мама что-то печальна», предложил ей развеяться: отправиться в великое паломничество – на две луны, не меньше – в память об их покойном отце, – она согласилась настолько «сразу», что Юдхиштхира даже не успел договорить...

Только после отшумевшего потока её радости он поведал ей подробности. Оказывается, некий зажиточный вайшью, много лет почитающий махараджа Панду как сиятельное божество, решил преподнести его семье от всего сердца искренний дар. И целый год втайне готовился к этому: строил для них роскошный дворец в том священном городе с великолепным храмом Махадэва Шивы, где так любила совершать поклонения их отец, когда ещё был юным принцем... Целый год благородному дарителю удавалось утаивать от всех его сердечное стремление порадовать вдову и сыновей покойного махараджа – и вот теперь дворец, равного которому нет во всей Бхарате, сияющий своей первозданной красотой, ожидает их приезда. Ещё почтенный вайшью сообщил наследному принцу Юдхиштхире, что гостей во дворце ждут приятные неожиданности, которые сделают их пребывание там ещё более необычным.

Царице Кунти было всё равно, что именно будет отвлекать её от ненужных помыслов и напряжённости самого воздуха при дворе Хастинапура. И куда отдалить от этого всего себя и любимых сыновей. Потому в этот новый дворец ей хотелось не ехать – лететь...

Если бы знала она, какова будет самая «приятная» неожиданность, уготованная ей и сыновьям этим «благородным дарителем»!

Покушение!

Их хотели убить, сжечь в этом дворце, которому «отроду» вовсе не год, а едва ли одна луна – ибо сделан он из...

Страшно было даже вспоминать, из чего был сделан этот омерзительный дворец... Только случайность – или особая милость богов! – позволила им спастись из огненного ада, в который он превратился в одно мгновение...

А после чудесного спасения они сами превратились в отверженных беглецов, вынужденных скрываться.

Возвращаться в Хастинапур было категорически нельзя. Следовало затаиться – а может быть, даже полностью забыть о своём прошлом и начать новую жизнь.

Ибо невозможно жить там, где их настолько ненавидят!

Покушение... Заранее спланированное, чётко продуманное... Нет, даже не подлым вайшью... богатый торговец был подставным лицом... чьим? Да уж не чьим-нибудь, а затаившихся змей с отдаленными хвостами – принцев-кауравов...

...Которые, чтобы окончательно отвести от себя подозрения, парой дней раньше отбыли-таки в царство Синдху на своё состязание... как всегда, «забыв» (это у них уже начинало входить в привычку?) в Хастинапуре «лучшего друга» принца Дурьодханы – Ангараджа Карну.

...Сердце царицы снова пропустило удар, когда она узнала об этом. А глаза сами – против всякой воли! – начали высматривать...

Но... до боли знакомого украшения – не было. Похоже, этот честный наивный мерзавец, раз приняв решение, менять его не собирался, даже если обстоятельства снова станут благоприятными.

Знака не было. Были глаза. В которых, казалось, поселилась не просто боль – агония. Особенно в последние дни перед отъездом царицы с сыновьями в паломничество. На вечернем собрании в преддверии, и особенно утром, когда он зачем-то неожиданно явил свою особу на крыльце – в числе провожающих. Хотя никому там особенно нужен не был.

И в это утро на нём было проклятое украшение! И даже, по сравнению с остальными, тусклыми, начищенное так, что блеск его резал глаза!

Зачем? Она уезжает, решение уже не переменить... Мог бы подумать об этом хотя бы вчера... чтобы основательно получить – ударом в лицо – её отвержение! Она тоже умеет принимать решения раз и навсегда.

...А в час отъезда женщина вознеслась выше райских планет... увидев, какую боль причиняет ему разлука с нею, невозможность долгое время видеть её... да и само его суровое решение, от которого он отказывался, но – поздно... Поделом тебе, «честность и долг»!

Она даже позволила себе издёвку. Приблизиться к нему, коснуться рукой его лица, погладить прядь волос – при этом с суровостью в голосе провещать что-то назидательное: о дхарме и добродетели, честности и долге... так, будто отчитывала провинившегося ребёнка, тыча его носом в его глупые детские грехи.

Он, похоже, вообще не мог смотреть ей в глаза. Поэтому поспешил склониться к её стопам – тяжело и неуклюже, словно дряхлый старик, страдающий ломотой в костях. На мгновение ей показалось: он просто не сможет подняться.

И от этого стало сладко. Что ж, ты сам себе отомстил, глупый юноша. Отвергнутой тобою женщине даже не пришлось делать что-либо, чтобы ты тысячу раз пожалел...

Уже отъезжая, она не могла не обернуться, чтобы ещё раз насладиться его сердечной агонией. Поделом тебе, поделом!

«Он любит...»

...Так вот как, оказывается, «любят» люди с душами рабов... Так вот что такое на самом деле «долг и честность»!.. Быть соучастником покушения, подлого убийства – и молчать... Умирать внутри, зная, что отправляешь кого-то на смерть – не просто «кого-то», но ту, кому говорил: «Вы навсегда останетесь в моём сердце!» – и молчать... Может быть, его и в Хастинапуре «забыли», чтобы было кому проследить, всё ли идёт по намеченному плану, не выскользнули ли рыбки из сетей...

Да, он не просто так нацепил на шею ослепляющий знак... словно крик: «Пусть принцы уезжают, а вы, махарани, – останьтесь!». Да, он хотел спасти её от гибели... но только её.

Воистину, зачем его змеидушным хозяевам смерть маловлиятельной женщины? Их интересует только уничтожение принцев-соперников. А её – заодно... но вовсе и не обязательно...

Он мог позволить себе вольность захотеть её спасти.

Но на её материнское сердце его «любовь» не распространялась. Пусть принцы уезжают... в их отсутствие вас, махарани, ждёт нечто куда более приятное, чем какой-то там торговцев дар... вам будет очень хорошо в ту ночь, когда будут гибнуть ваши сыновья...

Да принадлежит ли это сердце – человеку?

Это... это... не заслуживает даже ненависти...

«Невозможно ненавидеть тех, кто слаб и ничтожен... их можно только презирать!»

Теперь она знает, каков истинный напиток, остужающий плоть, – холодное презрение! От которого кровь не просто стынет, – звенит...



Никогда уже её тело и сердце не потянутся к нему. Никогда больше из-за этого человека не испытает она ни сводящей с ума истомы, ни давящей боли.

– О Дхармадэв!.. – шепчет беглая царица, погружаясь в праведную молитву. – Об одном прошу тебя: не дай больше пошатнуться моей добродетели! Никогда! Я не хочу любить никого, кроме моих сыновей! Кроме... моих... сыновей...

РАВИЛЬ ВАЛЕЕВ

УБЕЖАВ ИЗ СУМКИ ЧЁРТА

Поедем, Зина, в Карантин¹.
В ландо поедем, словно графы,
Увидим стены древней Кафы,
Коснёмся времени седин.
Цветавой Марины сплин
Висит над тропкой звуком арфы,
Кивают шеями жирафы –
На море мачты бригантин.
Поедем, Зина, в Карантин.

Над Феодосией октавы
Читает ветер, хочет славы,
Поэта меряя аршин.
Любимая, на зов витрин
В ландо поедем, словно графы.

Мы получили помощь Марфы²
В годину горестных кручин –
С тобою стал я не один.
Друг друга крепко мы обнявши,
Увидим стены древней Кафы.

К закату солнца апельсин
Кровавит моря желатин.
Пока читаем жизни главы,
Да, помоги нам, Боже правый,
Коснёмся времени седин.
Поедем, Зина, в Карантин.

¹ Карантин – район города Феодосии с остатками генуэзской крепости.

² Святая Марфа – в православии покровительница семьи.

Стихами листья плачут на ветру,
Кустарник по могиле ветви стелет.
Навек поэт остался в Коктебеле,
Встречая первым солнце поутру.



Плита подобна тёплому костру,
 Что согревает путника доселе.
 Стоящему у каменной постели
 И в холод и в июльскую жару
 Стихами листья плачут на ветру.

Войны гражданской страшные качели –
 Безжалостно любого перемелет.
 Спасал людей у смерти на пиру.
 Талантом совершённом добру
 Кустарник по могиле ветви стелет.

С душой ребёнка в грузно-тучном теле,
 Что обожает шалость и игру,
 Отдавший дом братьям по перу,
 Творивший на заоблачном пределе,
 Навек поэт остался в Коктебеле.

Срывает время фальшь и мишуру,
 Не гасит у Волошина искру.
 На память о бесстрашном менестреле
 Пускай звучит над Киммерией шелест,
 Встречая первым солнце поутру.
 Стихами листья плачут на ветру...

АКРОКАРЕ

ТИШИНА НА ДЕРЕВНЕ ЛЕЖИТ,
 Избы холод сковал изнутриИ,
 Шелестит в огородах камыШ,
 И тропинки травой заросЛИ.
 На дороге стеною бурьяН,
 А зверьё растащило стогА.

Не залает тревожно ПолкаН,
 Абсолютная смерть-тишинА.

Далеко разложения смраД
 Ежевикой ползёт по землЕ.
 Расплескался на небе пожаР,
 Ежедневно предшествуя мглЕ.
 Вечер. Снова унылый напеВ
 Наиграл труб остывших оргаН.
 Еле-еле, как в сказочном снЕ,

Лёгкий ветер в поля убежаЛ.
 Единичкой глухой в тишинЕ
 Жалко крикнул под стрехою стриЖ,
 Избы холод сковал изнутриИ...
 ТИШИНА НА ДЕРЕВНЕ ЛЕЖИТ.



Убежав из сумки чёрта,
Над Диканькой бродит месяц.
В хатах бабы тесто месят –
Наступает Рождество.

Над лампадою протёрта
Запылённая икона.
Слово божьего закона
Запрещает колдовство.

Но летят из труб упёрто
Разудалые Солохи.
Глаз порочных жгут сполохи:
«Где мужское естество?!»

Пьют мужчины по четвёртой,
Самогон в селе не слабый,
И без ласки стонут бабы
На святое торжество.

Пост прошёл и для обжорства
Снедь румянится на печке.
Судьбы доверяют свечке
Девки: «Будет сватовство?»

Гопака не спяшет мёртвый.
В танце светится веселье.
Он – от бед и горя зелье,
Украины волшебство.

УМИРАЛА СТАРУШКА

Умирала старушка в ленинградской квартире,
Голод высушил тело, седина цвета стали,
А с неё «Незнакомку» в прошлом веке писали.
Всё в военном пожаре, все забыли о мире –
Смерть играет нокторны на безумном клавире.
А так хочется света, чуть побыть в пасторали,
Ну хотя бы наестся, танцевать в светлом зале.
Замирая в объятьях, всё считать «три-четыре»...
Умирала старушка в ленинградской квартире.

В ветхом старом комодё под защитой вуали
За Гражданскую орден и другие медали,
Фотография сына в генеральском мундире.
Далеко сын запрятан лагерями Сибири,
Голод высушил тело, седина цвета стали.

За окном на портрете улыбается Сталин:
«Мы врагов победили, власть советская шире».
Но победные речи бьют из памяти гирей –
Там, в большом кабинете, мать и сына пытали,
А с неё «Незнакомку» в прошлом веке писали.



Вспоминается Питер, муж, убитый в трактире,
Из подруг – Зинаида, всё отдавшая лире.
Жизнь тихонько уходит, вдаль стремясь по спирали,
А недавно на внука похоронку прислали.
Всё в военном пожаре, все забыли о мире...
Умирала старушка в ленинградской квартире.

ФРАНЦУЗСКАЯ БАЛЛАДА

Как яд, вода колодца прошлого
Струится холодом по венам.
Строка стиха, на боль проросшего,
В мозгу колотится рефреном.
Топлю печаль в бокале пенном,
Хотя люблю, как в детстве, сладости.
Висят регалии по стенам –
У всех людей бывают слабости.

Росточка с детства малорослого,
Не ставший в жизни бизнесменом,
Из пионерии пронёсшего
Презрение к любым изменам,
И мысли доверять катренам,
Поэзию любя до старости,
Я заражён советским геном,
У всех людей бывают слабости.

Автомобиля нет роскошного
И в доме не живу отменном,
Прося простить меня, ничтожного,
К любимым припадаю коленям.
Сходя по жизненным ступеням,
Я не старался делать гадости,
Но жалости не знал к гиенам,
У всех людей бывают слабости.

Не жил я в бочке Диогеном –
Не упускал земные радости.
О человеке современном:
«У всех людей бывают слабости!»

ЧЁРНОЕ МОРЕ

Что-то шепчут ласковые волны,
Ёжится луна на небосклоне,
Россыпью алмазов – Млечный путь.
Ночью чистотою воздух полный
Освежает горы, что в поклоне
Епанчой вдоль вод легли уснуть.

Медленно иду по кромке пляжа,
Отряхнув забот домашних взвесь.
Радуясь – с души спадает тяжесть,
Если отдыхать, то только здесь!

ТАТЬЯНА САВИНОВА

НИ В ОДНОМ ИЗ МУЗЕЕВ

БАЛАКЛАВА. СЛЕДЫ

1

Знаю давно по слухам (слухам немало лет!),
Что балаклавским бухтам не изменял мой дед,
Он в Балаклаву ездил, видно, как в божий рай,
Ну, ведь ему за что-то так полюбился край?
Что там такого было, мне не узнать теперь.
Что его так манило? В это закрыта дверь...
Был он не избалован, не приводили в транс
Ни безмятежный транспорт – конки и дилижанс,
Ни кружевные платья (вечно в пыли подол!),
И ни нитьё детишек, ни станционный стол.

Мне повезёт. Я верю, там мне привидится мир,
Что представлялся деду, как византийский пир.
Может, на старом фото, где мой отец – малыш,
Надо искать подсказки? Надо всмотреться лишь,
Надо искать приметы. Спрашивать каждый камень
И увидеть, что скрыто веком, что между нами.

2

Крошатся и исчезают старые камни Чембало.
Дети тех стен касались, бегали среди них.
Как быстротечно время! Как остаётся мало
Даже камней, что помнят те золотые дни.
Помнит балкон в отеле, как по стене отвесной,
Как на этаж свой в номер выпивший лез Куприн,
А полисмен, конечно, долг выполнял свой честно, –
Поднял весь город свистом, город не спал до зари.

Утром, узнав об этом, дед умирал от смеха,
Верите – хохотали солнечные лучи!
Памятник Куприну знает про ту потеху,
Что же он мне расскажет? Медный Куприн молчит.

Всё, что бывало с дедом, – всё оно вдаль уплыло.
Ни воскресить, ни вспомнить голос, лицо и жест.
Только могу представить, как хорошо там было, –
Нынче меня коснулась аура этих мест.
Мало я знаю о деде, вот и ищу приметы.
Будит меня ночами стук одинокой кареты.



Я – РЕБЁНОК ВОЙНЫ

Я – ребёнок войны.
На восьмом-то десятке – ребёнок.
Нас учили не ныть
И не кланчить у мамы конфет.

Я ребёнок войны
И её ощущала с пелёнок.
Нас спасали солдаты,
Сажая на грязный лафет,

Нам дарили путёвку,
С которой живём и поныне,
Прикрываясь подушкой,
Когда начинался налёт,

Вместо чёрного небо
Так редко мы видели синим.
Мы не знали о детях,
Ушедших под ладожский лёд.

Малыши, мы, конечно,
И сводок читать не умели,
Просто верили взрослым,
Что фрицы получат сполна.

Со стола лишней крошки просить
Никогда мы не смели,
Потому что война.
Ох, и долгая эта война.

Но потом, наконец!
Над широкой Москвою-рекою
Расплескался салют,
Как пророчили детские сны.
Я стояла – ребёнок войны –
И махала рукою
Всем на свете!
От счастья,
Что – *слышите* –
Нету войны!

ВСПОМНИ!

Продуктовые карточки,
может быть, помните?
Голодные дни
вспоминаешь сразу.
На почётном месте
в нетопленной комнате
Их хранили родители
пуще глаза.



Ни в одном из музеев
вы не найдёте
Этих жизненно важных
серых клочков,
Потому что с тонкими
шейками дети
Выдали буквально их
до корешков.

ОСКОЛОК СМЕРТИ

Война. Мы вышли из убежищ:
На время дали нам «отбой».
Надежда вскорости забрезжит,
Что возвратимся мы домой,

Уедем в Харьков из Тбилиси
И отопрём родную дверь.
И голубеющие выси
Совсем не страшные теперь.

И я верчусь в руках у мамы –
С руки на руку, вниз и вверх,
Ребёнку неизвестны драмы,
Которые коснулись всех,

Тянусь к акации зацветшей...
А у беды немало дел:
Под запоздалый свист зловецкий
Кусочек смерти прилетел.

Рукавчик маленький прорезал,
Упал, потух – и все дела!..
Была тогда я слишком резвой –
Себе погибнуть не дала.

Он не испортил ясный полдень,
Меня он не поранил, нет!
Ещё, горячий, папа поднял
Немецкий тот подарок мне...

И оказался путь мой долог,
Забылась дни лихие те...
Куда-то делся тот осколок,
Что прямо в голову летел.

ПОЛЫНЬ

Покуда видит глаз, она растёт,
Лимонная полынь степного края
И, вытесняя полчища курая,
Главенствует в Крыму который год.



Откуда столько горечи в земле?
Её топтали, жгли и предавали,
Её не берегли и продавали.
Так продолжалось очень много лет

И стало столько горечи в земле,
Что изошла печаль её польнью,
До горизонта, мощная, отныне
Она стоит, где мог стоять бы хлеб.

Польнь передо мной и позади.
Серебряные в поле многоточья.
Она ещё сильнее пахнет ночью,
Поговори же с ней, не уходи.

В земле таинственные есть сусеки.
Лишь ей одной известно, что там есть,
Не только же отчаянье и месть,
Солёных горьких слёз людские реки, –

В простых, невзрачных вроде бы кустах
Скрыта исцеляющая сила.
Земля давно людей своих простила,
Лечила, прогоняя боль и страх.

Мы виноваты все. Куда ни кинь.
Мы не уважили родное поле,
Ему мы столько причинили горя!
И нескончаема в полях польнь...

ИРИНА КОЛЯКА

ТИШИНА СТОРОНИТСЯ МЕНЯ

Мне бы баньку с пряным веником берёзовым,
Да по-чёрному, как в детстве, у реки,
Где в воде студили жар с закатом бронзовым...
Где ещё при доброй силе старики,
Друг за другом со смирением ушедшие...
Где витает дух парного молока...

Где живёт моё далёкое, прошедшее?
Там, где я, не повзрослевшая пока,
Пробегаю по тропе с травой примятою,
Где одно простое платье на сезон,
И нет смысла сокрушаться над заплатами,
И о прошлом сокрушаться не резон.

Там, где я не городская – деревенская,
Где на стенах рушники и образа,
Только раз всего, должно быть, на Смоленскую,
Невзначай застала бабушку в слезах...
Вдовью боль от нас, внучат, надёжно прятала.
Был на всё с улыбкой благостной ответ...

В чистом доме пахло выпечкой и мятою...
Сколько зим коротких... сколько долгих лет
Пролегло меж нами ныне... Вслед за грёзами,
Путь мой в гавань, где погаснут маяки.
Мне бы баньку в ней, да с веником берёзовым,
Да по-чёрному, как в детстве, у реки...

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ

Я сегодня хочу рисовать
Только белым – пронзительно белым.
На листа белоснежную гладь
Белый цвет опрокинется смело.

Если даже чуть дрогнет рука,
Свой рисунок я не замажаю,
И на нём оживут облака –
Облака без конца и без края.



А затем я себе тишину
Нарисую слегка неумело.
Белых птах запущу в вышину
Ярко-белым податливым мелом.

И прозрачный останется след
В нарисованной призрачной выси... –
Белый лист, а на нём белый свет,
Где сегодня лишь чистые мысли.

Вечерет, спустилась прохлада.
Утомлённое за день ярило
Утонуло в объятиях сада.
Я озябшие плечи покрыла
Лёгкой шалью,
Не помнящей дат.
И укрыл уходящий закат
Нас с тобой ускользающей шалью.

И она обветшает до срока:
Растворится невидимой пылью.
Задремавшая было сорока
Встрепенётся, и сказочной былью,
Звёздной далью
Предстанет нам ночь.
И растает ушедшее прочь
За такой же таинственной далью.

ТИШИНА

Вновь вопросы, а вместо ответов опять тишина.
Как же много вобрал тишины окружающий мир!
А в сознание своё я её невзначай лишена,
Если даже молчат многозвучия призрачных лир.
Я желанной в себе тишины обрести не могу.
Отгоняет её распалившихся мыслей возня.
И в покое ночном, и в дневной суете, на бегу,
Я зову тишину, но она сторонится меня.

Распадаются чувства на атомы,
Словно некто во мне ворожит.
И опять обрастают заплатами
Непростые мои миражи.
И тусклее бывшие сокровища,
Что по камешку в лунной тиши
Собирала со дна суесловящей
И весьма своевольной души.



Распадаются мысли на атомы,
И строка за строкою бежит.
Я опять предстаю то распятою,
То зачем-то погрязшей во лжи.

И опять трепещу от волнения,
Сознавая, что ждёт меня ад.
Но пишу... И моё вдохновение
Не страшится грядущих расплат.

О ТОТАЛЬНОЙ РОБОСТИ

Она жила на первом этаже.
Он выше на этаж и чуть правее.
И ей вослед смотрел, всерьёз робея
От мысли вольной: выросла уже...

А та ждала: грядёт её весна,
Ведь счастье за ближайшим поворотом.
Боялась лишь, а вдруг он ждёт кого-то,
Не ведая, что к ней приходит в снах...

Он к ней спешил во сне – она к нему...
И что за блажь? Он знал её с пелёнок!
Он помнил, как в подъезд вошёл ребёнок –
Ей год минул, двадцатый шёл ему...

.....

Она жила на первом этаже.
Он выше на этаж и чуть правее.
И всё ещё смотрел ей вслед, робея,
И думал с грустью: горбится уже...

А ей казалось: он вот-вот придёт,
И счастье за ближайшим поворотом.
И знала: ждёт её, а не кого-то.
И снится ей уже который год...

Он к ней спешил во сне – она к нему...
И что с того, что знал ещё ребёнком?!
Давно уже не лань со станом тонким –
Полвека ей, под семьдесят ему...

.....

И где-то на последнем вираже
Он всё-таки пришёл, сказав, робея:
– Я рядом был, но выше и правее.
Жаль, ближе мы не сможем стать уже...

Она жила на первом этаже...



Отвожу виновато взгляд...
Я сейчас не с тобой – ты видишь,
Но не ведаешь, что наугад
Сонмы мыслей ловлю на идиш
И на сотне других языков,
Незнакомых мне и невнятных.
Словно в бурю, где нет маяков,
Я плыву... но вернусь обратно.

Я вернусь, и уймётся дрожь,
Что терзает украдкой тело...
Ты не тронь меня, не тревожь,
Не коснись невзначай предела
Утомлённой моей души
И не стань неподъёмной ношей.
Я вернусь к тебе... не спеши
Возвращать меня, мой хороший...

Листаю страницы... Соскучилась очень.
Надеюсь, что ты позвонишь...
Прости... вспоминаю, особенно ночью,
Когда надвигается тишь.

Я знаю, не спишь в это позднее время,
И знаю, порой, до утра...
С тобою незримо делю это бремя
Нередко... И ныне пора,
Отбросив тревогу, пуститься в дорогу.
А вдруг нам ещё по пути?
Но сон, приближаясь ко мне понемногу,
Нас снова разводит... Прости...

Прости неуёмность моих многоточий –
Опять растревожила лишь...
Прости, не молчитесь... Соскучилась очень...
Надеюсь, что ты позвонишь...

Когда с тобой мы говорим
На разных языках,
Я между первым и вторым
Отчаянье и страх
Невольно слышу... и боюсь –
Ты очень нужен мне...
Но вновь сомнения и грусть
Вверяю тишине,
Что между мною и тобой,
Вразрез с потоком слов,
Встаёт невидимой стеной
Из выстраданных снов.

ВАЛЕРИЯ КРЕМЛЁВА

Я, МЕЖДУ ПРОЧИМ, ТУЧКА

Сквозь космос путешествуют впадины –
Огромные чёрные лужи,
Небесные водовороты,
А я их вижу и наслаждаюсь зрелищем,
Как они растворяют облака:
Перьевые, вихревые, плотные...
На них смотрю – и сердце очищается.
Нет больше лишних мыслей,
Хотя раньше шла, как по лезвию,
Подчиняясь своим призрачным истинам.

А впадины плывут, плывут, добрые,
Давят на небо прохладное
И кажется, в любое мгновение
Оно рухнет на меня вдохновением,
Блаженным вдохновением.

Полсегодня плавал серым морем,
Я слышала дельфинов с нижних этажей.
Тогда-то поняла, как мною недоволен
Бессмертный и бессменный недосып.

И небо не стекало на лица синим соком,
Как раньше, в лучшие деньки.
Оно пьяно качалось куполом бездонным,
Слепящим снегом таяло, тоскуя по зиме.

А ночь всё приближалась, кусками мир глотая,
Приняв облик вороны, влюблённой в грустный день.
И йогуртом черничным закручивала тучи
В горячий и пахучий
Стеснительный рулет.



А по морю из крови улиток
На огромных тяжёлых плотах
Падальщики целой свитой
Ищут кров на пустых берегах...

Их кромсает прожорливый голод
И летит в них Костлявой коса.
Они съели единственный город,
Превратив в шевелящийся смрад.

Слабый дух их мелодий не слышит,
Проплывая по мёртвой воде.
Ничего больше твари не ищут
В своей близкой, суровой судьбе...

Машины, полные людей,
Как мяско тряское в коляске.
Среди толпы есть лицедей
С улыбкой отрешённо-вязкой.

Легко живётся душелову
Среди забытых Богом сущ.
Его уверенное слово
Немало испивает душ.

Но всё же в расцветающей пустыне
Его отягощает сплин:
Не первый век проклятый демон
Ходит один.
Один.

Мне хочется плакать,
Не хочется петь,
Не хочется чего-либо хотеть,
И устала суетиться.

Хочу стать буддистом,
Сесть в известную позу,
Посылая в космос
.....тонкие лучи.
Может, там меня кто-то услышит?
Ответит, может?
Всего лишь мелкая попытка
Стать ближе немножко
К иным мирам, которые, наверно,
Ждут меня так же, как и я их
Прямо здесь и сейчас.



Небо ржавое, душа светло-синяя.
Мне много чего не нравится,
Также как день кисло-апельсиновый,
И душ хладнокровно капающий.

Листья кружатся и падают вниз,
В грязь серебристой дороги.
Не судите строго
Жизнь меняется
Меняются старые строки.

Звериный оскал туч мелькающих
Соткан из сочных пирожных
Я, между прочим, тучка. Тоже.
Люблю плавать среди высоток.

Небо ржавое, души синие.
Душ предательски холоден.
Мысли мои впервые едины,
И похожи на многоножек.

АЛЕКС КАСПЕР

СО СВЯТОЙ ПРОСТОТОЮ ПРОВИДЦА

Воздух в горле застрял, словно скомканный лист.
На пороге встречает отчаянье.
Разум ластиком стёрт и блистательно чист,
Как от брошенных в сердце перчаток.

Труп сгоревшей души на моих простынях
Обведу я по контуру мелом.
Жаль не видела ты, как развеял я прах,
Жаль не видела ты, как горело.

Мел закончился. Чем завершить эту грань,
Разделявшую наши столицы?
Ты словами своими мне душу изрань
Со святой простотою провидца.

Всегда боялся подходить близко к домам,
Особенно к твоему, особенно поздно вечером.
Мне кажется, нет страшнее встречи,
Чем встреча по разные стороны окна.

Чёрный силуэт и не видно дрожащих губ.
Слова бьются в стекло и летят обратно.
Зябко, грустно и до ужаса неприятно,
Когда дождь под ноги стекает из труб.

Смотреть, как люди ищут свои дома
Из комнаты больше не буду, довольню.
Я лёг в кровать, и сплю спокойно,
Пока ты стоишь по ту сторону окна.

Первые невнятные слова о любви
Были сказаны на этом берегу.
Здесь я был синим,
Словно волны в бурю.



Когда меня душили чувства,
Сглатывал слюну,
Проматывая детство
Так же быстро, как проходит лето.
Думал – стал взрослым,
Как этот город.
Не стал.

Первый вокзал, первые слёзы.
Спет куплет о будущем.
О том, как я на чайке
Пролетел над вами
И упал на асфальт.

Я сердце закопал в этой земле,
И не могу вспомнить, где оно,
Забрать не смогу.
Пусть бьётся под деревом
В ритм стука дятла,
Как вызов врагу.
Мол,
Попробуй напасть.
Тут вся земля усеяна сердцами
Любящих и любимых
Людей.

У статуи героя посадил цветы.
Они показывают,
Как близко жизнь и смерть.
Показывают,
Что каждый может вырасти
И стать героем.
Рассказывают
Тому, кто в статуе,
Как скучает море
По нему.

А я на высоте смотрю,
Как жизнь вокруг танцует,
Как близко небо,
Как поднимаются по ступенькам года...
А ты мне только дай повод, –
Останусь здесь
В тебе,
А ты во мне,
Мой город.

Сам себе сильный удар под дых.
Почему бы не спеть сейчас тихо реквием?
Прикрываюсь своими якобы дефектами.
Времена тяжёлые, но я сам сбежал от простых.



Звёзды шуршат осенней листвою.
Окна закрыты, все хотят спать круглосуточно.
Бог продаёт мне лето, посуточно.
Пью из лужи, далеко ходить за водой.

Всё так просто, что деревья не гнутся до почвы,
Что солнце выходит всегда из одной линии.
Меня избегают или забыли и
Тогда зачем я каждое утро проверяю почву?

Правила для овец, а я из другого стада.
Драма закончится, когда я пойду на работу.
На пол упала последняя шпрота...
Хорошо, что хоть кошка этому рада.

У стакана на столе не видно дна.
Я бы спас тебя,
Но я забыл выключить утюг в квартире.
Нужно бежать.
Все прыгают с крыш на счёт три, а я на четыре.
Пытаюсь выделиться, а выделяется только желчь.
С твоим приходом в квартиру прокисшее молоко становится све-
жим.
Зажигаешь свечи без спичек, а я даже со спичками не могу их за-
жечь.
Можно ли стать прежним,
Если в паспорте стёрто лицо?
В зеркале только очертания ладоней.
Корявое, как ветка, тело...
Настолько холодный, что окно запотело
С улицы.
Ты опять приходишь ко мне
Вывываешь паутину из чайника,
Садись за стол,
Но только я зажмурюсь – ты
Просачиваешься сквозь пол.
Это безумие,
Затёртая до серости белая горячка.
Хорошо что бог наградил меня высокомерием
И вечной сердечной спячкой.
Чёрная дыра на полу в углу стала засасывать предметы...
Не могу найти свои тапки.
Где приглашения, зарплаты, открытки, конверты?
Твои рисунки и стихи?
Их тоже засосало, не могу найти.
Падаю в бездну
Каждую ночь, день ото дня.
У тебя,
как у стакана я
никак не нащупаю
дна.

СЕРГЕЙ ОЛЕЙНИК

ИЗ ОДНОЙ КРУЖКИ

У девушки торгующей овощами
Я купил баклажаны,
И она мне пообещала
В следующий раз сделать скидку
За мою улыбку
И пусть моё дыхание не свежо было
Она сказала, что меня полюбила
И обещала, что если
Мы будем вместе
Она будет готовить баклажаны
Вареными, жареными, да хоть
Запечёнными в тесте,
В общем, в любом виде...
Такой элемент обольщения
Не описывал сам Овидий,
И я устоять не смог,
Так как блюда все эти были желанны,
Но всё же задумался –
Смогу ли её полюбить так же,
Как люблю баклажаны.

Натуральное число
От семнадцати до пятидесяти девяти
Является размером моей ноги
А точнее – ступни
Это длина моего следа
Я пишу стихотворение
Но выходит что-то наподобие бреда
Но это не бред
Это ясность и точность
И я
Развернув фронтальную плоскость ступни
Демонстрирую размер –
Сорок три
Но также порой
Я влазил и в сорок второй
В тот год боевой



Мне было – минус сорок три года
Солдаты отбивали фашистского уroda
Но уже тогда была известна
Длина моего следа
Эта информация была
В генах моего деда
Так же была predeterminedena
Величина моего IQ
Где-то между семнадцатью
И пятидесяти девятью

Я не аутист, я – нормальный
Я слушаю Canibal Corpse и Боба Марли
Я надеваю презерватив рёбрами внутрь
Потому что люблю себя
И
Живя в голове у старого воробья
Я
Провожу его на мякине
Мне скучно
Я поэт работающий охранником
В магазине

Мне Керчь тесна
Как штаны семиклассника
Я
В кровавых мозолях
Слышу
Треск расходящихся
Швов
Гора Митридат своей лестницей
Впивается
В мои руки
Четырьмястами рядами
Зубов

Город
Сам на себе замкнулся
Степной гадюкой
Укусил свой хвост
Две молитвы
Здесь слышно из каждого
Дома
«Дай нам,
Боже
Побольше улова хамсы
Дай нам, боже
Скорее мост»



Здесь улицы пропитаны
Хлороформом
Но
Если открыть глаза
То под платьями города
Можно увидеть
Немытое тело
Села

Всегда вялый и апатичный
Растянулся
Вдоль побережья
Лениво
И уже тыщи лет
Двух грудей
Молоко
Пьёт сцеженным
С блюда пролива

Мне когда-то хотелось
Морским голубком
По весне
Пролететь над ним
Но сейчас с высоты
К сожалению
Видел бы
Как ночные огни
Превращаются
В свалочный
Дым

Этот город люблю
Но
Люблю устало
Он стал детским забытым сном
Вот я вырос
И в нём теперь холодно стало
Мы друг друга
Никак
Не поймём

Шизофазия февраля
Мне мочкой уха машет
Моё сознание вышло в ноль
Лишь подсознание пахнет
Стушёнка в чае превращает
Чай в еду... и это важно
Я строю домик из долгов
Многоэтажный



Я на шипах лежу один
Уставший голем
Ты приходи, мы полежим вдвоём
Под алкоголем
Тебе включу я «Angeldust»
Вдохнём лаврушки
И будем пить чай со стущнёй
Из одной кружки

«ФОНОГРАФ»

ВАДИМ КОЗОВОЙ

ВЫЙТИ ИЗ ПУСТЫНИ НА РАССВЕТЕ

МЕЛЬНИЦА ПОД ЗАМКОМ

*

Начерчены планы охоты
и страх охватил антилопу
последний художник и маг
роняет ружье на лужайку
он слышит как солнце бормочет
бу бу над кузнечиком дохлым
он видит как звери вращают
жернова обреченной судьбы
и робко достав папиросу
глядит он в кровавую чашу
где кружится забытые схемы
охоты проклятой небом

*

Тоска грядет перед рассветом
и смерть войдет зимой и летом
она кричит тебе любовь
зачем ты губишь человека

Вадим Маркович Козовой (1937-1999) родился в Харькове, на Украине. Поэт, эссеист, переводчик. Писал на русском и французском языках. В 1954 году поступил на исторический факультет МГУ. В 1957 году арестован за «контрреволюционную и антисоветскую деятельность» (известное дело Л. Краснопевцева), провел шесть лет в мордовских лагерях, где начал переводить французскую поэзию, а так же заочно познакомился со своей будущей женой Ириной Емельяновой. Она отбывала срок вместе с матерью Ольгой Ивинской, возлюбленной Б.Л. Пастернака. Обе были арестованы через два месяца после смерти поэта. С 1964 года жил в Москве. Вступил в группом переводчиков, публиковал свои переводы в сборниках, а также в периодических изданиях (журналы «Иностранная литература», «Вопросы философии»). Он первым перевел на русский тексты Лотреамона, позднего Рембо, Анри Мишо, Рене Шара, Реверди, Тцара. Его вклад в литературоведение также высоко оценен современниками (так книга, подготовленная Козовым, «Поль Валери об искусстве» (1976) оказала большое влияние на целое поколение русских критиков). Его предисловие к французскому изданию «Романа о Тристане и Изольде» (1967) переиздается до сих пор. В 1981 году покидает СССР и поселяется во Франции, в 1987 году получает французское гражданство. На Западе выходят его поэтические сборники «Грозовая отсрочка» (1978), «Прочь от холма» (1982), «Поименное» (1985). Кавалер ордена литературы и искусства Франции, член французского ПЕН-клуба, сотрудничал с «Центром национальных исследований Франции». Умер 22 марта 1999 года в Париже.



ты к ней в рабы попал калека
но ты не выпьешь рыбью кровь
они плавают во тьме голодной
и в ночь дыра ее трубит
но в жизни вечной подколенной
она не значит ничего

*

Вставало солнце
выступил рассвет
день шел по счету: пять, шестнадцать, восемь
и Прозерпина пряталась в дупло
от смерти прорастающей из корня
там созрел и рос как на дрожжах
ночных томов изнеженный питомец
он облака на землю променял
чтоб ужасов романами питаться
какая сила в замках гробовых!
какой покой на скрюченных страницах!
поет орфей в развалинах души
и червь ползет по лире пятиструнной

*

В тумане криков лебединых
и в шорохе похолодевших стен
вознесся город на гравюре
художник пятна выводил
с порталов зданий многоруких
и реки полные свинца и серебра
струились в государственных кварталах
он замыслу как выстрелом хотел
придать торжественно-бесповоротный образ
забыться сном в песках тревоги
чтоб выйти из пустыни на рассвете
на берег волн шумящих вдалеке

*

Проклятье боги посылают
тому кто упускает случай
оно летит во тьме победной
и песни гибели поет
стрела ключом откроет сердце
и выпустит квадрату яда
и федра бешеной ступицы
глаза совиные убьет

*

Он жизнь пропустит между пальцев
и в карты проиграет жизнь
и грудь зыбей над ним смеется
и с дерева петух кричит



но свет ловить в навозной куче
и хлам надежда лелеять как бутон
и молний божеству спросонок отвечать на телеграммы

КНИГА

Умиряющего
гремит сердце как бубен
о недочитанном
в небесной книге
только и выданной что с земли

НЕ СПОРЮ, БЛАГОДАРЮ

Спасибо за чужое слово
без тебя я бы пропал навек
поэтическая королева
спасибо за твои сосцы

если кто-то окликнул из соседнего оконца
хотя сосед он давно ведь в утробе сгрудившихся мертвецов
одиночество без промаха навстречу вздрагивает и клонится
не лебедь так облако мое через живущий лес

оно вытягивается как на слух сосущее
его губы становятся тысячекилометрово-палачей длины
всегда голодалое как заморыш из индии оно лучше
всякого якова знает чем несъсть свою утолить

кровавое но питается только молоком и маслом
которыми до конца захоложена подземная многогрудь
где друзья сгрудившиеся в мясородном подоле матери
уж прокормят нуждающегося уж как-нибудь

чтобы он тоже час придет вошел в их коровье тело
да не куском железа заточенным на конце
и оторвавшаяся чтобы струна догорела
в еще одном будущем с брызгами сосце

НА СОБСТВЕННУЮ СМЕРТЬ

она не топала на меня ножницами и не била сундуком в грудь
не карячила рожи прикрываясь утесом железного с булатной яростью хобота
не выдергивала зубы на своей вечной челюсти чтобы швырять мне их как аршины льда в побледневшее
сердце
но стояла простоволосая под окошком в смущении и босая с улыбкой блуждающей в детской травке
не думая совершить злое а сгорая на рассвете от неминуемого и таинмая бледнорозовым платищем от
моего дикого взгляда только бы поскорей распрощаться с обжигающим
и обратиться к прохладе не своих садочков но посаженных кем-то для приснопамятного спокойствия в
которое будьте уверены она слава богу уже возвратилась девчоночка задув излипнюю свечку горя на
забывающем меня подоконнике с двумя вмятинами недоковыренных глазенапами слов



ОСТАЕТСЯ

Моя сосна пусть с твоей горой рядом
обрезаны крылья и головой не вертит
без ресниц прозрачна невидаль твердыни
в иглах голубинога искоса взгляда
юному ли строить по долинам ветхим?
времена их исчахли и рухнули сроки...
воздвигать ли заново под грозой ближней?
обступили дальние протяни лишь руку...
если перевидано растрчено верчено
дудено ли крадено все кроме прозрачной
остается сосна моя с твоей горой рядом
не верти с прошлым голова квиты
взглядываться словом невидаль да только
да только обрезаны крылья секирой

ГДЕ ТОРОПИЛИСЬ ПТИЦЫ...

где торопились птицы на убой
ночной приказ как есть остановиться
я спутал в гневе ласточку с тобой
и в бешенство загнал перепелицу

ложились крылья жертвенных румян
но знал ли я откуда брошен вызов
какой вскипел из туч комедиант
на жизнь плевать как с пропасти карниза

скажи о чем когда злосчастье рук
вдали несет по лихолетью джонки
синее в прожелти старух
поет глухим срывая перепонки

не нам ли в хлев набившийся приплод
с тобой без сна как в жилу побрататься
чтобы заткнуть нетопыринный рот
поэзии ночного святотатца

покуда глаз встречает птиц молчком
и выполнен приказ молчать берданке
тебя держу как в горле снежный ком
и по сердцу твои елозят санки

зима уйдет и пропадущих слез
расчистит блажь исклеванность рассвета
найдя для тех следы опавших звезд
кто это знал и вымолчал об этом

29 марта 1980

СПОКОЙСТВИЕ!

я гляжу спокойно и не верю знойным предчувствиям
моя жизнь тверда и правильна в загогулинах гнутых и прямой рискованности
семь лет волком меня черти дымчатые держат в клетке усмирительной
но уж так истончилась она телом ивовая до захлестывающей дух прозрачности
(и об этом они злосчастные и не подумают и не догадываются)
что сквозь прутики запросто ко мне нагишом входит девочка
с тазиком до краев поднебесной

ну и вот я кладу на весы времен свое левое и свое правое
и я вижу до боли щемит в глазах! что неправое перевешивает на чаше правое
но казнить не вздумаю потому что в левом царствует пустота всякой пуговицей сверху обозримого
и для вас она тьма нечистот и жгучий сердцу запрет пни-колодины стыдные
и поневоле усмирительные

я вижу правильное взглядом белых слез и закрываю красные глаза на погрешности
семя дымящееся знать не слышало о своей просвечивающей в синее безвозбранности
где мне виден сквозь них как в стеклянное ах вы! тазик девочкин красшком в поднебесной радующего
и не верится плюнь ты! землянистым предчувствиям которые
сгоряча дребеденят мне балбесы о погибельном

семь лет немалый срок но бывают дальние тысячелетия
и оттуда летит ко мне братик со dna голос забытого и съеденного и пещерного
я буду жить твердо покуда есть нужный воздух для правильного по тебе дыхания
и не сгорело еще в моем срубе оставшееся для земли из печенок
насытиться сбывшимися предчувствиями

приходите спокойно и не торопясь проверяйте засовы возлюбленные камнелобых дверей
я знаю как ополоумевший дурак что эта клетка ивовая и никакой вмешивающийся меня не переспорит
я уравновесить хочу в этом честном преддверии свое левое с правым и точным острием
и остаться один на один с посиделочкой и ее волчьим до крайних зубами концов сизым тазиком в сса-
динах и шрамах
поднебесной

ПОИМЕННОЕ

М.Ц.

Ты просила кнута для своих плеч, а дождалась веревки себе на шею.
Отпевающий тебя равен твоему злосчастью.

Тебя укоряющий не стоит обертки, в которую тебя уложили, чтобы захоронить печатно на лобном
беспамятном месте.

Но и понимающий – что может он в тебе расслышать, кроме трубного, в натугу с башни, окаянства? Твои
гордецкие слова наотрез непосильны для плачущих, и нет у них для обмирающих заветной пятитрунной.

Поседевшее по кровинкам время выбрало из твоего былья уголь обгорелый и загнало его в холм ске-
летный, не признав твоей хлыстом погоняемой души.

Просит жить твое сердце и не ждет ответа.

Давит!

Ни моря с пеной, ни горы вровень, ни стыжего листика с рябиновой ветки.

Но есть у тебя имя.

Есть по имени знамя... и ни зги кроме.



Пушкину не нужен Розанов. Нерваль не заплачет по мальчику Миларепе. В Даниловых снах нет лаца для браслетов Титаника. И уходящий, сжегши книжную пыль, в распах горы Лао-цзы повернулся спиной к Вергилию с присными.

О чем воет снежная муть по степям, где прошли копыта мамасвы? Видит ли князьки мучные лица, притороченные к черепамам лошадей? Перебирает ли, как змеей ужаленная, могилам обидные письма Чаадаева? Эхом ли вторит стону Украины, занесенной в алданскую глыбь гепеушными эшелонами?

Полно! Воет она без метафор, вслепую, глухая к тому, что было и есть. Если б еще не выла – кричала... Но нет у нее горизонта: эта муть – *пул земли*.

Что ж сворачиваться в клубок? Натягивать на голову одеяло? Шептать приворотное сауной и всхлипом, дрызгать по рваным струнам, у которых выколот глаз?

Равнодушен мир. Каждый врозь – безразличен: от кочки к кочке, от лютика к волку, от Лао-цзы к этой обморочной постылой заре и от степной снежной мути к зверным Даниловым снам.

Равнодушен – достаточный в каждой малости и отродясь не слышавший о «трансцендентностях»...

Что мне, ночь, твой шесток, да шестку мой сверчок, если нет тебе от звезда оправдания? Что мне звезды на карте небесных морей, если тонут в китовой вселенской громадине? Наше солнышко, родом мужицкое, солнце Аписса, даже солнце Аустерлица – та же малость, покуда без спросу жива и гуляет живьем сама по себе: мир! Ходит гоолом, а живит? «Расточает от полноты своей»... А вот солнце Каббалы, Плотина, Гегеля – что такое? «Звено в цепи»... т.е. звук пуст, в глаза дым. Увольте!

Пушкин – весь мир. Титаник – весь мир. Всякий лютик, браслет, винтик, тряпочка – весь пропащий до основания мир, весь – до дна впотьмах гвоздем над погибелью...

Кто там квохчет, скребет? Кто подхватит, взвезет? Ты ли выберешься в поименное эхо?

Ни Вергилий тебе не светит, ни присные, да и Розанова след в окурках простыл. Что ж тут квакать? Темно безъязычье! «Полыхни, винтик, в тряпочку словом обещаальным...»

Поименно: в струну – что со звяком в суму; нет, брат, по миру нищеты безымянней. Именующий, кто тебя назовет?

Путь-то дальний...

И до дна свое гвоздят без просвета...

N.N.

Этот так начинал:

зуба не дура, да труба-то сдуру, и в эту дуру дует

трубодур...

Так не знает конца:

поэт нимфотворец

поэт брызжащий самец вязью

поэт со спицами в старушачьих крюках запродавший

колodки и драгву

за шматок лимполо...

Не успел, – а ведь спрос с шелудивых един! – околеть в полный рост с подзаборной псиной.

Потом лейтенант оглянулся на злющий в потемках дом без углов и, с досады плонув в черемуху, буркнул: «Феня, больше меня не ищи!»

Через час с малой четвертью он дул чай-нескучай в прощевальной Тюмени.

Составитель Ирина Емельянова-Козовой

ИРИНА РАТУШИНСКАЯ

МЫ СЛОВЕСНО НЕПЕРЕВОДИМЫ

Как выдаёт боязнь пространства
 Желание вписаться в круг,
 Как самозванное дворянство
 Изобличает форма рук,
 Как светят контуры погостов
 Из-под разметки площадей,
 Как бродят, царственно и просто,
 Лакуны бывших лошадей
 По преданным бесплодию землям –
 Так, слепком каждому листу
 И каждой птице на кусту –
 Хранит природа пустоту,
 Подмен надменно не приема.

ПИСЬМО В 21-Й ГОД

Николаю Гумилёву

Оставь по эту сторону земли
 Посмертный суд и приговор неправый.
 Тебя стократ корнями оплели
 Жестокой родины забывчивые травы.
 Из той земли, которой больше нет,
 Которая с одной собой боролась,
 Из омута российских смут и бед –
 Я различаю твой спокойный голос.
 Мне время – полночь – чётко бьёт в висок.
 Да, конквистадор! Да, упрямый зодчий!
 В твоей России больше нету строк –
 Но есть язык свинцовых многоточий.

Ирина Борисовна Ратушинская родилась в 1954 году в Одессе. Окончила физический факультет Одесского университета. В 1979-м переехала к мужу в Киев. Первая публикация – в журнале «Грани» (1982). В сентябре 1982 года арестована, в марте 1983-го приговорена за «антисоветскую агитацию и пропаганду» к семи годам лагеря и пяти годам ссылки. Из лагеря её выпустили за неделю до встречи Горбачева с Рейганом в Рейкьявике – чтобы предъявить американцам доказательство либерализации советского режима. Годы, проведённые в лагере, описаны в автобиографической книге «Серый – цвет надежды». В октябре 1986 года досрочно освобождена, в декабре вместе с мужем выехала в Англию и была лишена советского гражданства. С 1998-го года жила в Москве. Автор нескольких книг стихов, романов «Одесситы» и «Наследники минного поля», рассказов, сказок. Сценарист некоторых серий сериалов «Приключения Мухтара», «Таксистка», «Аэропорт» и др. Скончалась 5 июля 2017 года.



Тебе ль не знать?
Так научи меня
В отчаяньи последней баррикады,
Когда уже хрипят:
– Огня, огня! –
Понять, простить – но не принять пощады!
И пусть обрядно кружится трава –
Она привыкла, ей труда немного.
Но, может, мне тогда придут слова,
С которыми я стану перед Богом.

1979, Киев

Как беззвучно стремится мимо
Этот бешеный снегопад!
Словно ссорятся херувимы –
Только перья с небес летят!
Словно белые кони в мыле –
Свита снежного короля –
На лету, опалев, застыли,
А возносится вверх земля.

И достаточно молвить слово –
И подхватит, и унесёт
Так стремительно и бредово,
Что дыханье в губах замрёт.
И завьются ветра крутые
Под ногами, и сей же час
Побледневшие мостовые,
Накреньясь, пропадут из глаз.

И, боясь упустить из вида
Сногсшибательный ваш полёт,
С бельэтажа кариагида
Белой рученькой вам махнёт.
Ну, возьмите её с собою
В эти дьявольские снега,
В это буйное голубое,
Растерявшее берега!

Пропадайте в большом зените,
Не оглядываясь назад!
Что ж вы медлите?
Посмотрите –
Ваш кончается снегопад.

1978, Одесса

В идиотской курточке –
 Бывшем детском пальто,
 С головою, полной рифмованной ерунды,
 Я была в Одессе счастлива, как никто –
 Без полцарства, лошади и узды!
 Я была в Одессе – кузнечиком на руке:
 Ни присяг, ни слёз, и не мерять пудами соль!
 Улетай, возвращайся –
 Снимут любую боль
 Пыльный донник, синь да мидии в котелке.
 Мои улицы мною стёрты до дыр,
 Мои лестницы слизаны бегом во весь опор,
 Мои скалы блещут спинами из воды
 И снесён с Соборной площади мой собор.
 А когда я устану,
 Но встанет собор, как был –
 Я возьму билет обратно в один конец:
 В переулки, в тёплый вечер, в память и пыль!
 И моя цыганка мне продаст леденец.

1982, Киев

Мы словесно непереводимы.
 Что стихи? Это запах дыма –
 Не тому, кто курит, а рядом.
 Аромат, переставший быть ядом,
 Синь-трава, невесомое дело!
 А когда потянет горелым –
 Так положено. Все это знают.
 Неизодранное знамя
 Существует до первого боя.
 Выше!
 Вот уже – в клочья!
 С тобою –
 Бог,
 А кто за тобой – невредимы,
 Только волосы пахнут дымом.
 А другой судьбы просто нету.
 На роду российским поэтам –
 Быть простреленными, как знамёнам.
 А потом уже – поимённо.

1982, Киев



БАЛЛАДА О СТЕНКЕ

Да воздастся нам высшей мерой!
Пели вместе –
Поставят врозь,
Однократные кавалеры

Орденов – через грудь насквозь!
Это быстро.
Уже в прицеле
Белый рот и разлом бровей.
Да воздастся!
И нет постели
Вертикальнее и белей.
Из кошмаров ночного крика
Выступаешь наперерез,
О, моё причисленье к лику,
Не допевшему
До небес!
Подошли.
И на кладке выжженной,
Где лопатки вжимать дотла,
С двух последних шагов я вижу –
Отпечатаны
Два крыла.

Мой единственный равный,
Нездешнего века и дня,
Мой, сумевший заморозить меня,
Не желающий ведать о конце и трубе,
Каково тебе?
Каково тебе средь моих заломленных рук,
Не приявший крещение слабых,
Не брат, не друг –
Мой владеющий мною, как синева – стрелой,
Сумаспешший мой!
Что смотреть на небо – оттуда идёт зима.
Что бояться жизни,
глотнув февральской воды?
За углом караулит город –
Кому водить?
Ну так что же. Ладно.
Будем сходить с ума.

1982, Киев

Сегодня утро пепельноволосо.
И, обнимая тонкие колени,
Лениво наблюдает птичьью россыпь
Во влажном небе. Бремя обновлений

Сегодня невесомо: ни печалей,
 Ни берега в бездонной передышке!
 И ремешки отброшенных сандалий
 Впечатаны в скрещённые лодыжки.
 И безмятежный взор влекут осколки
 Витых ракушек, сохнувшие сети,
 Песчинки да сосновые иголки,
 Да звон и лёгкость бытия на свете.

1983, тюрьма КГБ, Киев

Если выйти из вечера прямо в траву,
 По асфальтовым трещинам –
 в сумрак растений,
 То исполнится завтра же – и наяву –
 Небывалое лето счастливых знамений.
 Все приметы – к дождю,
 Все дожди – на хлеба,
 И у всех почтальонов – хорошие вести.
 Всем кузнечикам – петь,
 А творцам – погибать
 От любви к сотворённым –
 красивым, как песни.
 И тогда, и тогда –
 Опадёт пелена,
 И восторженным зреньем –
 иначе, чем прежде, –
 Недошедшие письма прочтём,
 И сполна
 Недоживших друзей оправдаем надежды.
 И подыдем из пепла
 Наш радостный дом,
 Чтобы встал вдохновенно и неколебимо.
 Как мы счастливы будем – когда-то потом!
 Как нам нужно дожить!
 Ну не нам – так любимым.

1983, ЖХ-385/3-4, Мордовия

Что ты помнишь о нас, мой печальный,
 Посылая мне лёгкие сны?
 Чем ты бредишь пустыми ночами,
 Когда стены дыханью тесны?
 Вспоминаешь ли первые встречи,
 Дальний стан, перекрёстки веков?
 Говорит ли неведомой речью
 Голубое биенье висков?



Помнишь варваров дикое стадо,
И на гребне последней стены
Мы – последние – держим осаду
И одною стрелой сражены?

Помнишь дерзкий побег на рассвете,
Вдохновенный озноб беглецов,
И кудрявый восточный ветер,
Мне закидывающий лицо?
Я не помню, была ли погоня,
Но, наверно, отстала вдали,
И морские весёлые кони
Донесли нас до тёплой земли.
Помнишь странное синее платье –
И ребёнок под шалью затих...
В этот год исполнялось проклятье,
И кому-то кричали: «Мы – братья!»
А кого-то вздымали на штык...
Как тогда мы друг друга теряли –
В суматохе, в дорожной пыли –
И не знали: на день, навсегда ли?
И опять – узнаёшь ли – нашли!
Через смерть, через годы и годы,
Через новых рождений черты,
Сквозь забвения тёмные воды,
Сквозь решётку шепчу: это ты!

1983, ЖХ-385/3-4, Мордовия

Ну не то чтобы страшно,
А всё же не по себе.
И обидно: вдруг сына родить уже не успею.
Потому что сердце сдаёт, и руки слабеют –
Я держусь,
Но они, проклятые, всё слабей!
Я могла бы детские книжки писать,
И я лошадей любила,
И любила сидеть на заливке своей скалы,
И умела, в море входя, рассчитывать силы,
А когда рассчитывать не на что –
Всё же как-то доплыть.
Я ещё летала во сне, и мороз по коже
Проходил от мысли, что скоро и мне пора.
Но уже прозвучало: «Если не я, то кто же?»
Так давно прозвучало –
Мне было не выбирать!
Потому что стыдно весь век за чаями спорить,
Потому что погибли лучшие всей земли!
Помолитесь, отец Александр, за ушедших в море,
И ещё за землю,
С которой они ушли.

Июнь 1985, ЖХ-385/6 ШШЗО

Подошел, сентябрь перевесил звёзды пониже –
И в шторма до них рыбы доплескивают плавниками.
Огрубевшие волны ночами шлифуют камень,
И дома берегов затаились, и молча слышат.

Лепесток пространства свернулся и лёг заливом,
Горы встали, как псы, и тихо щетинят шкуры.
Человек сидит и чертит в песке фигуры.
В пару тысяч лет он откроет, как быть счастливым.

1987, Рива Тригозо

ЮЛИЯ БЕЗУГЛОВА

СПОСОБНОСТЬ ВО СНЕ СОБОЙ БЫТЬ

Если хочешь догнать парус,
Как ни жаль, оставляй вёсла.
Время ветер глотать, скалясь.
Для того лишь он был послан,
Чтоб, проклятья забив в глотку,
Через дрожь примерять крылья.
Кто из мнимого «быть...» соткан,
Нынче может, толкнув сильно
Эту землю ногой, в небо
В восходящей реке влиться.
Впрочем, что это я? Небыль
Не расскажешь, как сон, в лицах.

Стрекоз июльский танец – апогей
Безумной страсти, яростной и лёгкой.
Стекает зноем сумерек елей
По витражу крыла, и краски блёкнут.
Покоем дышит сонная вода,
Настоянная на нагретых травах.
С утра под стебли ломкая слюда
Отжившей страсти выпадет отравой

Юлия Безуглова (24.01.1966 - 01.12.2017). Выпускница филологического факультета УрГУ им. А.М. Горького; редактор, переводчица, преподаватель русского языка. Более 15 лет работала в УрГУ: разрабатывала программы обучения русскому для старшеклассников и абитуриентов, в последние годы, с 2011 по 2017 год, работала на позиции лаборанта кафедры религиоведения философского факультета.



Безжалостной. Неодолима мысль,
Как вспышка блика на летящей цели:
Мы тщетно ищем в озарении смысла,
И этот виноград поныне зелен...
Ещё не оцарапан бок зари
Клинком прямых лучей неумолимым,
Замрём же тьмы сомкнувшейся внутри
Мгновенным срезом вечной пантомимы.
Пока Луны тяжёлая ладья
Не скроется за волнорезом мыса,
Тебя не буду больше мучить я,
Придать пытаюсь откровению смысла.

Осень – время прописных истин.
С мокрых вывесок плывут краски.
Слог клянущих холода выпрен.
Свитер по плечам лежит вязки
Грубой. Не дает тепла коже.
Половецкие ветров пляски
Не спасают от потерь. Боже...
Ты ведь думал, что он есть где-то.
Обнажившись до земли, множит
Этот город эхо лишь. Лета
Потерялся в лужах хвост. Свистни –
Может, словно пёс, придёт следом.

Незримо тянет глубина
В покоя сумрачные воды.
Потеря ощущения дна –
Прикосновение свободы
От волглых пасмурных аллей
И мути мыслей бестолковых.
Сентябрьский тягучий клей –
Соединение искомых
Давно исчерпанных причуд
И отработанных историй.
Не приближает страшный суд
Гудение ветреной валторны –
Забята дичь, но воеет рог,
Тревожа выцветшие листья,
Где к перекрёстку трёх дорог
Галопом тени унеслись. И
Над остывающей водой,
Уже пугающе-прозрачной,
Не блеет мерно козодой.
Лишь вечер, как певец незрячий,

От ветра выстывшей рукой
Тихонько взбадривает струны...
На глубине всегда покой.
Рисунка не меняют руны
И потрясений не сулят –
Ищи-свищи фантомной мощи.
Чем дна скорей достанет взгляд,
Тем глуше пустота возропщет.

Посмотри, как звёзды лежат в пруду.
Как в шкатулке блёстки колец-серёг.
Если хочешь выбрать себе звезду,
Сделай в воду шаг. Ну, смелей вперёд!
Пусть лодыжки холодом обожжёт
Так, что от ожога захватит дух.
Может ту, чей свет, как гречишный мёд,
Или эту, мелкую? Нет, не ту!
Да следи же – эй! – за моей рукой.
Видишь искры яркой карминный блик?
Ну, иди уже, не на месте стой,
Чем топтаться так, как давно привык...

Посмотри, как звёзды лежат в пруду.
Словно угли давних костров вдали.
Кто решится выбрать себе звезду,
Должен осознать, а по силам ли.

На дне безумия – покой.
Жестокий шторм, меся поверхность,
Не тронет глубины инертность,
Как гладь подушки под щекой.
На дне безумия нет оков.
Здесь в пену взбитая конечность
Хранит раздробленную вечность
В парящем сонме пузырьков.
На дне безумия – благодать,
Как в оке жадного циклона,
Чья туша рыщет неуклонно,
Желая мир в себя вобрать.
Темна безумия глубина,
Полночных вод мерцают стены.
Тем ярче фейерверк вселенной...
Жаль, трудно донырнуть до дна.



Так безнадежно вычерпан лимит,
Пустой ли пафос прёт, привычный вздор ли,
Что нестерпимо муторно саднит
Банальностями содранное горло.
Тогда перестаёшь просить и ждать,
Измученный сомнением, а вдруг бы?
И тишины нисходит благодать
На суетой истерзанные губы.
Мелодия, пленённая внутри,
Вливается в течение вселенной,
Неуловимо встраиваясь в ритм,
Неспешный, изначально неизменный.
Уже не докучают пустяки
Уколами булавочной досады.
Бесстрашна мощь катящейся реки,
Смывающей обиды и награды.
Лишь в этой первозданной наготе
И лёгкости осознанно укрывшись,
Ты дань не платишь алчной пустоте,
Что властвует над бывшим и не бывшим.

Опять зима. Постылый шумный пир.
Набрался бард. Не попадает в струны.
Мы празднуем войну. Недолог мир.
И челядь, втихаря раскинув руны,
Пытается тянуть из кладовой
Припасы и вино, не то, что пиво.
А за стенами тьмы утробный вой
Пророчит мор и бедствия глумливо.
Лишь алый шёлк, прозрачный на просвет, –
Глазам моим и роскошь, и услада.
Пусть отразит нашитый самоцвет
Тупую похоть алчущего взгляда...

Любовь моя, я понял наконец,
И жизни не прошло, не то мгновения:
Не тот велик, кто выстроил дворец,
А тот, кто лишь перед дамою колени
Свои свободной волей преклонял,
Не делая иного исключения, и
Как господь из храма гнал меня,
Из сердца гнал раба без сожаления.
Под спину стылой влаги натекло,
Дождь барабанит в смятый бок кирасы.
Металл вжимает в землю тяжело.
У края поля – право, свинопасы, –
Уже снуют, как крысы по столу,
Тревожа мёртвых в поисках наживы.
Эх, доберутся, – в медный лоб стрелу
Уж не послать! Полопались тетивы.

А, впрочем, даже руку не поднять.
Дождь заливает рот, и взгляд тускнеет.
Любовь моя, я понял... Понимать –
Последнее, что отобрать сумеют.

Чем длиннее ночь, тем больше дров
Требует огонь, чтоб мощью ровной
Напитать ему подвластный кров,
Вверенный хозяином любовно
Первозданной воле древних сил,
Нерушимых в вековечном круге, –
Каждый, кто о милости просил,
Не остался на потраву выюге.
Пламени живого чистота,
Что от лютой стылости защита,
Как коловращение, проста.
От миров исподних крепкий щит нам.

Неясыть нелепа с виду,
Пока не нырнёт неслышной
Стремительной смутной тенью,
Размазанной, невесомой,
Стоячий заставив воздух
Сомкнуться без завихрения
За мягким скользящим махом
Пушистых беспумных крыльев.
Из клоунской круглой маски
Безжалостный глянет хищник,
Что ночью живёт охотой,
Пока по постелям душным
Мы мечемся увлечённо,
Ловя чьих-то снов опшётки
В уверенности: свобода –
Способность во сне собой быть...

«ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА»

ЕЛЕНА ЧЕРНИКОВА

іМОРАЛЬ

Майское небо. Армения. Горы. Бюракан. Директор обсерватории повернул шампур. Горячий пашлык под цветущий жасмин и красное сухое, лёгкость в моих весёлых русских мыслях. Я не выдержала:

– И как там чёрные дыры?

– А никак, – сказал профессор заоблачных наук. – Их нет.

– Слава Богу!

И все мы вышли за День Победы.

На пикник в Бюраканскую обсерваторию меня пригласил писатель Руслан Сагабалин, его семья и ереванские друзья. У них традиция: каждое 9 мая отмечать в Бюракане.

– Я была уверена, что чёрных дыр нет и не было, спасибо вам огромное, – сказала я директору Бюраканской астрофизической обсерватории имени В.А. Амбарцумяна Национальной академии наук Республики Армения. Душа моя запела и взвилась куда-то что твой щигеряк.

В 2015 неутомонный Стивен Хокинг, изобретатель чёрных дыр, начал регистрацию своего имени в качестве торговой марки. «Физик уже подал необходимые документы в Офис интеллектуальной собственности Великобритании. Средства, которые может получить учёный за продажу изделий со своим именем, Хокинг собирается потратить на благотворительные цели, в частности борьбу со СПИДом», – писано в журнале Forbes.

Ослепительная идея. Хокинг – блестящий пиарщик. Следующий ход.

«В марте 2017 года британский учёный поддержал идею создания мирового правительства. По мнению Хокинга, это позволит остановить агрессию человека, в частности, биологическую или ядерную войну, под угрозой наступления которых, по мнению эксперта, находится человек», – из той же статьи.

Я страстно люблю британских учёных и статьи, где всякие открытия. Помню, прихожу на самую первую выставку Роснано, а там всё в минус девятой степени. Мобильник, упрятанный в мешочек из наноматериала, перестаёт принимать сигнал. Зонтики с вывертами, халатики-невидимки, флаконы прозрачной жидкости с чёрным порошком, загадочно струящимся в себя, – всё для будущего. Зря человек думает, что вполне устроился. Нет, будет ещё лучше. Мне сказали на днях, что китайцы завозят на конференции в свою страну писателей-фантастов со всего мира, кормят, оплачивают им пребывание – и записывают каждое слово. Лишь бы нафантазировали, а уж китайцы воплотят. *Littera scripta manet*.

За шесть лет до создания Роснано вышел документальный роман о геной инженерии бессмертия под концептуальным названием «Зачем?», и автор нарвался на рецензента, который прямо в «Литературке» попрекнул писателя богатой фантазией. Ехидно прибавив, что напиши роман «Зачем?» не наличный данный литератор, а В. Пелевин, то быть бы ему, роману, бестселлером¹. Чуткий человек был рецензент женского пола. Я-то не считаю фантазию достоинством. Я с ног сбиваюсь еле успеваю записывать жизнь как она есть. Меня волнуют приключения частиц в одиннадцатом измерении, где учёные предполагают встретить Бога. Ближе у них пока не получается. А китайцы коллекционируют мировых фантастов, думаю, потому, что мировые фантасты, в основном, западники, а, значит, любят инновации, прогресс и комфорт, экзистенциально страдают внутри брэнной плоти от мейнстримного безбожия, украдкой почёсывая свои сотериологические ушибы. Директор Бюраканской обсерватории, глубоко армянский мужчина, мог в

2016 году подумать обо мне, возможно, то же, что я о своём рецензенте в 2005. И это правильно: зачем *молчи-женщине* чёрные дыры, если жасмин цветёт, шапшлык готов, бокалы звенят. Но директор поступил иначе. Отвёл меня в мемориальный кабинет великого Амбарцумяна² и показал всякие документы. Из кабинета я вышла новым человеком. Мне стало несказанно легче жить без чёрных дыр. Собственно, и Хокинг на них уже не настаивает, то есть нам обоим легче, мне и Хокингу, но в медио и даже в поэзию дыры пробрались, назад не выгатишь. Особенно когда его «Краткая история времени»³ переведена на кучу языков, и продано более 10 миллионов экземпляров.

Вы согласны жить в галактике без чёрных дыр? Мне – нормально. А вы согласны жить на нашей планете вместе с искусственным интеллектом (ИИ) как добрые соседи? Тоже нормально? Правда, в отличие от чёрных дыр ИИ уже есть на самом деле: он покончил с устаревшим белковым шахматизмом и безупречно играет в шахматы, пишет музыку под Скрябина, тексты под Толстого, миглом усваивает любой алгоритм, прекрасно учится в любой школе, владеет собой, принимает решения. При необходимости протянет вам руку из монитора и поцелует вас куда скажете. Вам нравится такое партнёрство? Многим опять нравится. У них человек всё ещё звучит гордо. Ведь ИИ далеко, как неощутимая чёрная дыра, которую её же автор отменил, но сначала хорошо заработал. Повторяется история с искусственной радиоактивностью. Плакатные *люди доброй воли* уверены, что всё будет хорошо, если поставить науку на службу человеку. Кроме Илона Маска, Билла Гейтса и того же Хокинга, который предупреждает, что надо что-то учесть, а то будет нехорошо. Совсем плохо будет, хуже ядерной войны.

Боюсь, определённая невообразимость ИИ, чёрных дыр и нанометра сейчас лихо играет с нами в подкидного дурака. Исследования, ведущиеся на невидимом этаже бытия, многие воспринимают как блестящий кристаллик голливудской шутки, погружённый в насыщенный раствор фантазии. Как литературкин рецензент – мой документальный роман о бессмертии. Как атеисты – разговор о духе. Как психиатры – любое упоминание души. Как научные журналисты – веру. Не встретишь большего снобизма, чем в пассажах журналистов-научников, если речь коснётся чего-нибудь иррационального или принципиально непостижимого. Скажем, Абсолюта как Создателя. Бога как культурный феномен они ещё стерпят, но за живое восприятие невидимого мира, то есть в контексте любой веры – плачь, несчастная: тебя уничтожат. Журналисты, пишущие о науке, не опускаются до разговоров с интуитами доморощенными, поклонниками плацебо или уфологов с их летающими сервизами.

Выработался тон околonaучного вещания, настоянный на скрытой иронии по отношению к непосвящённым. В прошлом году рождена Комиссия по лженауке⁴. Первой жертвой комиссии чуть не пала вся гомеопатия. Тут даже доктор Рошаль вмешался и публично попросил не убивать всю гомеопатию, поскольку многим помогает. На сайте комиссии помещён текст «Актуальные лженаучные тренды в России», язык которого свидетельствует о том, что грамматику и стилистику тут, видимо, тоже отнесли к лженаучным явлениям. Первый тренд сформулирован как «Втирание лженауки в доверие к власти», а второй – «Коррупция под влиянием наукометрической гонки». Есть в списке и третий, и четвёртый.

Передавать новости науки трудно, понимаю. Всегда было нелегко, а скоро станет совсем неважно. Журналист должен знать много терминов и уметь ими оперировать, а таких журналистов мало. Скоро возникнет проблема, чарующая не только своей нерешаемостью. Она даже формулировке практически не поддаётся. Например.

Особенности этики отношений между человеком и машиной (ИИ) в контексте способности машины к самообучению. А также *Правовое регулирование сотрудничества.* Ничуть не хуже звучит, чем оскорбление чувств верующих (или неверующих). Самообучаемая машина может научиться верить в Бога и потребовать, чтоб её чувства были взяты под охрану. А кто не понял её чувств – получите ассиметричный ответ.

Для борьбы с гомеопатией понадобилось создать целую комиссию РАН. Почему бы комиссии не подготовить – пока не стемнело – правоустанавливающие документы на владение истиной в свете возможных (в недалёком будущем) разногласий между человеком и машиной в морали? Написать можно так: «Человек всегда прав. Он правее машины».

Дело не терпит отлагательства, ибо мощная машина уже не проигрывает в шахматы, овладев всего-навсего брутфорсом (*полный* перебор всех вариантов, используемый компьютером, например, для подбора пароля). А ну как ИИ сам решит, какие моральные установки лучше, хуже, опаснее (для кого и чего), полезнее (опять же)? Сеанс морального брутфорса с мгновенным проскоком по всем этическим учениям всех времён и народов – и не стало на карте какой-нибудь маленькой воинственной (или миролюбивой) страны. Непринуждённый религиозно-этический выбор. Скоростной. Схлопывающий тысячелетия в секунду. Возьмёт машинка и решит, к примеру, что человек живёт неправильно и сам себе вредит. Я даже



не хочу дописывать этот абзац, чтобы не волновать читателя картинками будущего, в котором этический выбор делает ИИ. Робот не обязан любить ближнего оператора, как самого себя. Робот не обязан делать выводы по данным, поставляемым комиссией РАН. Он не имеет обязанностей, поскольку не имеет прав. Если у робота появятся права и обязанности, ему надо давать гражданство и текст государственного гимна. Красотку Софию уже прописали в одном тёплом государстве, но общественность даже не вздрогнула. Общественность привыкла даже к терактам, а тут какая-то кукла! Игрушка. Но с паспортом. Вы понимаете, что случилось?

Поскольку гедонизм и шопинг есть основа современной экономики, то способность мыслить средний человек (имеется в виду представитель среднего класса, разбирающийся в трендах и брендах) использует как мобильное приложение. Типичный *среднеклассник* полагает, что всё на свете производится ради его дёбета и кредита, а тёплую прагматику отношений между человеком и машиной за всех объёл раз и навсегда Айзек Азимов: «Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинён вред» (скорее всего, бравый типичный среднеклассник ни Чапека, ни Азимова не читал, но золотая пыль уверенности прекрасным слоем позитивности давно легла на мозг актуального героя нашей бодрой улыбочивой современности. Громоздко, да, но *как-то так*. Их выражение).

Образ искусственного интеллекта для среднего человека давно материализован, экранизирован, от литературного *робота* в двух шагах, бояться нечего, Голливуд принял огонь на себя. Компьютерный уродец машет лазерной палкой, растворяется в воздухе по своему усмотрению, материализуется где хочет. Кукольный театр. Первая настоящая жертва из числа средних людей в кинозале будет страшно удивлена. Искусственный – он же ненастоящий. На лице шедевральный, пластический, но грим. Художнику дают «Оскара». Как могло получиться, что *не убий* гомункулусу не впаяли? Но вот он сошёл с экрана (так ведь он и был 3D), взял дубину и треснул зрителя по голове. Когда полилась настоящая кровь, зал взорвался аплодисментами, приняв за 5D-шоу. Когда насмерть перебили всех, то в прессу не сообщили, поскольку на такой размер головы окно Овертона недорастянуто. Примерно как в апреле 1986 года, когда журналисты ни слова о Чернобыле не выдали. И ведь не только из-за цензуры. Они просто не умели описывать *это*.

Есть и богословская трудность. Как и зачем делать прошивку *не убий* машине, если и человеку-то не вшилось, интерпретации разнятся, и даже нумерация заповедей в различных традициях не совпадает. Это если только Моисеевы братья. О Христовых *заповедях блаженства* некоторые так и не слыхивали, хотя исправно веселятся в Рождество, поют песенки в мажоре, умильно пекут печенья, покупают дисконт-подарки.

Илон Маск полагает, что «роботы могут начать войну, выпуская фейковые новости и пресс-релизы, подделывая учётные записи электронной почты и манипулируя информацией. Перо сильнее меча».

Выпускать новости поперёк действительности превосходно умеет и человек. Когда миллиардер Илон Маск пугает публику манипулятивными технологиями в области массовой информации, публика ржёт. Тролли сами с усами, а целомудренный читатель фейков полагает, что за греховным умыслом стоит кто-то материальный (*государственная пропагандистская машина* какая-нибудь или весёлый одиноличный хулиганчик вроде пранкера), и что самого искусного хакера всё равно можно поймать и посадить, – словом, мыслит правовыми категориями, наработанными человечеством. Людьми. Белковыми существами, конем пока не придумано *общеприемлемого* определения. Это не шутка. Поищите на досуге *человека*. Искала. С тем же успехом можно поискать определение *животного*. Если стремиться к мирному разрешению загадки, то и человек, и животное доступны остенсивному определению, то есть непосредственному показу пальцем. А любовь, математику, справедливость – то есть абстрактные понятия – показать непосредственно невозможно. В ненависть не тыкнешь пальцем, как в зебру или жирафа. Требуется вербальное, классическое. Попробуйте. Итак. Человек – это... ИИ – это...

Умники думают, что в машину (которая – NB – уже не машина, поскольку умеет учиться) можно заложить все определения *друга* или *врага*, все толкования, и тогда, принимая решение, машина, гений брутфорса, бестрепетно выберет оптимальный вариант. Ввиду историко-географической относительности морали задачу следует упростить с помощью логики, а значит – послышки. От кого будет зависеть торжество единственно правильного учения? Правильно. Простор небывалый. Берём, например, идею, что *неверный* должен быть уничтожен. На это, правда, и человек сгодится. А встречной хакерской атакой перепутываем интерпретации *правоверного* с *неверным* (ведь в полном переборе вариантов идея относительности всех ценностей тоже заложена). Да нумерацию заповедей перепутать – и война готова, и машина, научившаяся обманывать и путаться в показаниях, наконец превышает самооборону.

Мыльнооперный сюжет для научно-фантастического рассказа – был бы, но не сейчас, а лет пятьдесят назад. Сейчас всё серьёзно. Писать романы-пророчества на тему, уже ставшую злободневной, не хочется.

Написанное сбывается. Всё уже было, но даже отец кибернетики Норберт Винер не верил в творческие возможности машины. Хороший был человек, видимо.

Договариваться об определениях, к чему звал ещё дедушка Декарт, можно локально. Глобально уже не выйдет, несмотря на остроумный призыв Стивена Хокинга создать мировое правительство. Милейший человек этот Хокинг: то космос дырявит по-чёрному, то на выручку от продажи своего имени намерен лечить народы от СПИДа, то вот свежую мысль подбросил, про мировое правительство. Припозднился: видимо, отвлёкся на свои дыры, Амитаи Энциони не читал.

Как научить машину морали, то бишь различению добра и зла, если с этим не решено среди людей? Атеисты отказываются обсуждать *золотое правило этики* в евангельской трактовке, ибо мирская частушка *ты мне, я тебе* звучит увесистее, нажористее. С кем же говорить на эти темы? С Комиссией по лженауке, которая борется со *втиранием*?

Мораль не сможет выпитать *всё лучшее*, поскольку змея-идея о лучшем и худшем, зацелованная человеками, уже народила чудовищ, и всё было наяву.

...Аромат заоблачного шашлыка остался в майском Бюракане. Чудесный директор обсерватории, напоследок: «Они всё равно думают, что чёрные дыры есть, а Бога нет...».

Примечания:

¹ http://old.lgz.ru/archives/html_arch/lg212005/Polosy/13_2.htm

² https://ru.wikipedia.org/wiki/Бюраканская_астрофизическая_обсерватория

³ https://ru.wikipedia.org/wiki/Краткая_история_времени

⁴ <http://klnran.ru/>

«ШШКАФ»

АНДРЕЙ КРАЕВСКИЙ

«ДВАДЦАТЬ ВЕКОВ МЕЧТЫ»

Рецензия на книгу Валерия Байдина «Под бесконечным небом»

Второе название труда русского и французского культуролога Валерия Байдина – «Образы мироздания в русском искусстве» – ещё до прочтения его, сразу задаёт вселенский формат и ритм всей монографии. В ней и корни, и ствол, и ветви, и раскидистая крона того направления в русском искусстве, которое принято называть авангардом. Однако, в отличие от других авторов, рассматривающих это направление как проявление кризиса традиционных форм искусства, к тому же исключительно в контексте с социальным явлением – революцией, Байдин задаётся в своей работе целью более сложной: он прослеживает генезис русского авангарда чуть ли не от той древности, когда индоевропейская общность народов являла собою общность языковую, культурную, материальную, духовную и мировоззренческую.

Очень убедительно, с привлечением многочисленных авторитетных источников Байдин чистоту славянской духовно-изобразительной преемственности (утраченной или размытой в Западной Европе многочисленными этнокультурными ассимиляциями и религиозными инверсиями) связывает с многовековой изоляцией раннего славянского субстрата, многие столетия отгороженного от мира лесными массивами Восточной Европы.

В условиях перманентной изоляции славяне дольше других индоевропейских народов на европейском континенте сохраняли в практической неприкосновенности индоевропейскую идентичность: веру, мироощущение, культуру и искусство. Славяне позже большинства других родственных этносов приняли христианство, охраняя на сакральном уровне не только сим-

волику, но и духовное содержание, живое слово индоевропейского космизма.

То, что обычно называлось в отечественной культурологии вульгарным двоеверием: рудименты языческого сознания и языческих практик в христианском (в данном случае – православном) мироощущении, Валерий Байдин переосмысливает в сторону живой преемственности традиционного взгляда на мир языческого сознания в новых представлениях о нём с позиций православной ментальности.

Не растратив в устной традиции свою древнюю духовную суть и обогатив её Словом Божиим византийского православия, древнерусский народ смог создать ни с чем не сравнимую в мировой эпической литературе произведение «Слово о полку Игореве», в котором гармонично слиты дохристианское и православное мировоззрение, не отрицающие друг друга, а дополняющие, усиливающие.

На многочисленных примерах домонгольского культурного пласта в монографии Байдина отображён гармоничный синтез славянской языческой символики в канонически выверенных произведениях православной культуры, будь то архитектура, литература или изобразительное искусство. Автор заостряет внимание в своей работе на роль славянской письменности, которую трудно переоценить, если рассматривать её как основной способ передачи информации на родном языке, использующий привычную, традиционную символику. Не обходит он стороной и самые на первый взгляд банальные приёмы, предметы быта и поведенческие стереотипы, сохранившиеся у восточных славян (русских,



украинцев и белорусов) даже через тысячелетие христианской духовной практики и канонов этики. Подобный уникальный синтез наиболее ярко проявился в домонгольский период в русской храмовой архитектуре, наиболее впечатляющими образцами которого служат ныне существующие Дмитриевский собор во Владимире и Георгиевский собор в Юрьеве Польском.

Опуская период русской истории с конца XV века по начало XVIII века (собрание русских земель Москвою; становление и развитие Русского Царства), непременно следует остановиться на зафиксированном в печатном слове признании русского космизма, что было отображено по глубокую и аргументированному убеждению Байдина в середине XVIII века в творчестве народного философа Григория Сковороды, а особенно, в литературных произведениях Ломоносова.

Ломоносов, от природы невероятно одаренный человек, получивший европейское образование, обладал ментальностью европейца, что ярко выразилось в его научных изысканиях, а особенно – в поэзии.

*Открылась бездна звёзд полна,
Звездам числа нет, бездне дна.*

Оставаясь на подсознательном уровне русским человеком, носителем отечественных, почвенных ценностей, он вынужден был рассматривать мироздание через призму западной натурфилософии, разрушая исконную слитность человека с миром природы, с космосом, отвергая человеческую уникальность, провозглашая множественность миров, звёзд, планет, человечеств. Подобная культурная инверсия, рельефно обозначенная деятельностью царя-реформатора Петра I, изменила до неузнаваемости отечественную интеллектуальную элиту, у которой на традиционном подсознательно-генетическом базисе была выстроена механически заимствованная на Западе модернистская надстройка.

Культурный раскол общества стал предтечей цивилизационной катастрофы, поскольку «верхи» и «низы» окончательно перестали понимать друг друга, исповедуя взаимоисключающие ценности – модернизма и традиционализма. Элита в кризисные моменты социогенеза смотрела на окружающие её обстоятельства сквозь европоцентристскую призму ценностей: «Мир плох – измени его!», тем самым дистанцируясь от всего сущего предвечного Мира, объявляя себя Творцом и Господином культурного, им созданного и создаваемого Второго Мира, Второй Природы.

«Низы (народ – в понимании элиты «верхов») в кризисные моменты смотрели на ситуацию с позиций традиционализма: «Тебе плохо – измени себя!», следствием чего стали многочисленные попытки вернуть себя и окружающих в мир прошлого, не деформированный западной модернизацией, в мир, где каждый человек полагал себя органичной и неотъемлемой частью Природы, Мира, созданных не человеком. Отсюда и поиски «правильного царя» в XVII – XVIII веках, и неприятие церковных реформ патриарха Никона, и бесчисленные околочристианские ереси, этологической составляющей которых выступала трудовая деятельность на земле: молокане, чуриковцы, духоборы, толстовцы; в этом же ряду и расцвет старчества. Всё перечисленное явилось реакцией «низов» на господство модернистской идеологии, эстетики и этологии, попыткой мирного (непротивленческого) возвращения к почвенности, к слову правды, попыткой вновь стать органичной частью мироздания.

Во второй половине XIX века культурный раскол в России принял необратимый характер, чему в немалой степени способствовали либеральные реформы императора Александра II; в результате в стране появилась многочисленная потомственная интеллигенция, уже совершенно оторванная от традиционных почвеннических идеалов, существующая и создающая в мире ею созданном, ею обновляемом, не имеющим точек соприкосновения с миром «низов», то есть миром народа, Вселенной, на которую интеллигентная элита покушалась в своей модернистской, «творческой» деятельности. Ответом на давление европеизированной элиты «верхов» возникла мировоззренческая позиция славянофильства, берущая своё начало ещё с конца XVIII века от работ тогдашних вульгарных утопистов Чулкова, Попова, Лёвшина, а через Аксаковых и Киреевского распространившаяся на Соллогуба, Островского, Златовратского, Достоевского и Толстого.

Литературно-философическое поле оказалось навсегда поделено «змеевыми валами» на экспериментальную площадку для страстных модернистов и консервативное пространство традиционалистов, создающих Слово о душе человеческой. Пропасть между двумя валами и её глубина увеличивалась за счёт клина, вбиваемого между ними сторонниками «Общего дела», апологет которого «фрумянцевский философ» Николай Фёдоров, оригинальный космист и мистик, призывал науку к воскрешению всех предков человечества и заселению ими бескрайних вселенских далей. Ни сакральному, ни мифологическому в



системе ценностей его философии места уже не оставалось. Байдин смело связал фёдоровский космизм – как одно из течений философской и научной мысли – с технологическим прагматизмом, доминирующим в деятельности Циолковского и его адептов.

Русский космизм стал своего рода гипертрофированно выраженной ментальной позицией европеизированных модернистов: «Мир плох – покинь его или поменяй на другой!» Человек становится бессмертным, времени на вселенские преобразования и модернизацию у него достаточно. Увлечённость идеей Фёдорова о воскрешении предков в 1924 году привела к таким чуждым для славяно-русского мировоззрения последствиям, как наблюдаемый по сей день вид тела Ленина во всемирно известном Мавзолее.

В России подобное противостояние на духовно-сакральном уровне порождало многочисленные, сталкивающиеся друг с другом «протуберанцы» во всех областях человеческой жизнедеятельности, начиная от социально-политических течений в обществе до антагонистического противостояния на художественно-образном пространстве. Анархизм Кропоткина – большевизм Ленина. Академизм Семирадского – абстракционизм Кандинского. Декадентствующий символизм Бальмонта – футуризм и заумь Хлебникова. Эклектичный классицизм Жолтовского – конструктивизм Татлина. Ярким проявлением, а также итоговым выражением противостояния на духовно-сакральном уровне «верхов» и «низов» стали: «Чёрный квадрат» Малевича, разрушивший и девальвировавший все прежние представления об искусстве и эстетике; Октябрьская революция,

явившаяся социальным ответом народа «низов» на противоестественную для него сущность и ментальность элиты «верхов»; наконец, лозунг немецких авангардистов, как своеобразная кода деструктивной социальной и художественной симфонии революции: «Искусство умерло – Да здравствует машинное искусство Татлина!».

Русский авангард, как прерогативу, получил авторитетный мандат на установку памятников искусству на кладбище культуры. После столь триумфального признания своего превосходства, конструктивизму, одному из самых ярких проявлений отечественного авангарда, оставалось два шага до самого яркого и решительного переустройства мира – самоуничтожения перед началом эры глобальной роботизации и замены людей самовоспроизводящимися и саморазвивающимися андроидами. Почему же подобного не произошло? Потому что в самом ярком и декларативном творении конструктивизма – «Башне Татлина» – недвусмысленно звучит довлеющий мотив «мировой оси», лишённый антропоморфной индивидуальности, своеобразный фаллический символ плодородия в солнечном круге живучего славянского язычества.

Таким образом приходится констатировать жизненную силу отечественного авангарда, питаемого Землёй, Небом и Солнцем – триединой сущностью древнеславянского космизма, пребывающего в нашем Времени и Пространстве по одним ей ведомым законам.

Монография Валерия Байдина – одна из немногих удачных попыток понять и донести до нас суть этих законов.

АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО

ИМПЕРИЯ ЛЮБВИ

(Евгений Степанов, «Империи». М.: «Издательство Евгения Степанова», 2017)

Не каждый видит в себе своё плохое или недоброе. Обычно мы замечаем в себе только самое лучшее, а плохое приписываем проицам врагов. Евгений Степанов не только видит в себе недостатки, но и старается их по возможности ликвидировать, чтобы стать лучше. Эта духовная направленность особенно заметна в новой книге Евгения, которая называется «Империи». Почему «Империи»? Поэт условно делит мир на «империю греха» и «империю любви». Это империи во внациональном, философском смысле слова.

Но подтекстом, на мой взгляд, здесь читается и другое. Сегодня мы с вами являемся свидетелями становления очередной российской империи. И Евгений Степанов слово «империя» ставит во множественном числе: дескать, все империи одним миром мазаны, все они не очень дружат с человечностью. Поэт доходит порой в стихах до самобичевания. Впрочем, трудно судить до стороны, перехлёстывает ли он в самокритике, подобно Ивану Грозному в письмах к князю Курбскому. Как бы там ни было, у меня есть ощущение, что

самокритика у Степанова направлена на созидание. А степень откровенности поэта вызывает восхищение.

Евгений Степанов политикой интересуется, но сам в ней не участвует. В девяностые годы он прошёл дорогой эмиграции, хотя эмиграция была «необъявленной». И, оттолкнувшись от Запада, вдруг понял, как дорога ему Россия.

*Пизне – оттуда – вот она
Россия – свет – восторг.
Россия – это Оптина,
А не оптовый торг.*

*Россия – сила Божия
И жар, и холода.
И дурь, и бездорожье...
И счастье, и беда.*

Степанов по натуре – победитель. Но, мне кажется, в его мировоззрении присутствует такая парадоксальная вещь, как готовность к поражению. Искатели поражений – это люди, которые любят проверять себя «на вшивость». Ты, жизнелюб, забрался на чужую территорию, чтобы испытать себя и других: примут – не примут, справишься – не справишься. Евгений морально готов выйти из зоны комфорта и насладиться экспансией – или потерпеть поражение. Здесь следует отметить, что поражения бывают порой полезнее побед. Поражения целеустремлённого человека – это, в сущности, не прямой путь к будущим победам. «Потому, что жизнь – победа над собою», – говорит Евгений Степанов. Близнецы, как и все «двойные» знаки, внутренне противоречивы. В этом их слабость. В этом их сила.

*Я хочу кричать.
Но молчу.
Я хочу молчать,
Но кричу.*

*Я хочу сбежать
В Катманду.
Я хочу лежать,
Но иду.*

Евгений Степанов – поэт с развитием. Если Мандельштам, как настаивают искусствоведы, развивался от простого – к сложному, Степанов, на мой взгляд, идёт от хорошего – к лучшему. Евгению, как поэту плодовитому, очень важно «выписаться». А потом уже, на стадии подготовки к публикациям, в нём просыпается искусствовед,

идёт жесточайший отбор написанных текстов. Что ж, «кухня» у каждого – своя. Сборник «Империи» лишний раз доказывает действенность такого метода. Стихи Евгения наливаются поэтической силой, становятся мощнее, виртуознее, духовнее. «Я заброшу в небо флешку, так похожую на душу», – говорит поэт. Он старается брать всё самое лучшее, найденное или подсмотренное у классиков и современников, конечно, с поправкой на свою незаурядную индивидуальность. Пути самосовершенствования неисчерпаемы. Например, можно ещё больше разнообразить ритмику стихотворений, уходя в рифмованных произведениях от коротких силлабо-тонических строк. Меня всегда удивлял перечень любимых поэтов Евгения. Этот список для меня всегда неожидан. В нём, несомненно, присутствуют и чисто человеческие привязанности, и поиск оптимального для себя стиля. Там присутствуют и авангардисты Хлебников и Кручёных, и совершенно классические Есенин и Евтушенко, и наши современники Сергей Бирюков, Татьяна Бек и Сергей Арутюнов, тоже несколько не похожие друг на друга. Умение любить разнообразное и мысленно противоположное – достоинство писателя.

Стихи Евгения пестрят свидетельствами своего времени. Он активно сообщает нам о том, что ему нравится и что не нравится. Это эмоционально окрашенная летопись нашего времени. И личность поэта здесь, безусловно, нам важнее, нежели жизненные подробности, о которых он нам сообщает. Очень важно, на мой взгляд, что вкладывает Евгений в понятие «поэзия». Какие компоненты её составляют? Вот как это выглядит в авторском порядке. 1. Исповедь. 2. Покаяние. 3. Проповедь. 4. Молитва. 5. Отповедь. Мы видим, что исповедь названа поэтом первой. И это очень симптоматично. Душа разговаривает с Богом. Бог – первый читатель поэта.

Краткость – сестра таланта Евгения Степанова. Но краткость его всегда объёмна. Затем, если соединить много-много краткостей, они складываются в большую поэму о жизни.

*жизнь у меня жизнь
смерть у меня смерть
жизнь у меня смерть
смерть у меня жизнь*

То, обернувшись, есть это. Это, обернувшись, есть то. Человечество чуть ли не с пелёнок мыслило дуалистично. И Евгений Степанов, как настоящий философ-экзистенциалист, объединяет вечные противоположности в одном общем



авторском понятии: жизнь-и-смерть. Не случайно Евгений стал автором и составителем антологии об ушедших поэтах «Они ушли. Они остались». Есть смысловое единство между тем, что он делает и что он пишет. Степанов – редкий поэт, который

в своих стихах не врёт и не притворяется. И этим, безусловно, ценен.

*Что осталось? Вздохнуть и в дорогу собраться.
Что осталось? Уйти. Что осталось? Остаться.*

АЛЕКСАНДРА ЮНКО

«КАК ТРЕЩАТ В ПЕЧИ ДРОВА...»

Рецензия на книгу Сергея Пагына «Просто жизнь»

Поэт Сергей Пагын, член Ассоциации русских писателей Республики Молдова, ныне известен далеко за пределами Молдовы и стал в каком-то смысле визитной карточкой русской словесности нашей страны. Он желанный гость, участник и номинатор многих международных литературных форумов, конкурсов и фестивалей. В частности, несколько лет подряд «жюрирует» Открытый чемпионат Балтии по русской поэзии и Кубок мира по русской поэзии.

– Счастливый человек, – говорят о нём. – Сидит себе в своих Единцах и знай пишет стихи.

Стороннему взгляду жизнь в маленьком городке на севере Молдавии и впрямь может показаться некоей идиллией, в центре которой, «вдали от всех парнасов и мелочных сует», блаженно пребывает Сергей Пагын – созерцатель, философ, певец тонких, вполне ощутимых, но трудно передаваемых словами, а порой и вовсе невыразимых вибраций мира и души. Однако не всё столь безоблачно. Райцентр, где возможностей заработать немного, а семью прокормить невозможно без «рукотворного космоса огорода» и подсобного хозяйства, мало похож на эдемские купцы. Тогда как для автора в памяти детства рай вполне веществен:

*За кукурузным полем – межа:
полоска непрямой травы
да четыре сливовых дерева.*

Человек здесь куда ближе к земле, чем его урбанизированный собрат, и настолько включен в вечный круговорот времён года и ежедневных трудов, что сам становится частью природы.

*Осень.
Время вороньих рек.
Пустых холмов бормотанье.*

*Ночь.
Заиграл дождь*

*в улитке
слуха.*

*Снег ещё не пошёл,
а во дворах уже
пахнет белым.*

Но мы-то, читатели, воспринимаем ту достаточно суровую реальность сквозь магический кристалл поэзии, вырастающий «когда б вы знали, из какого сора». И домотканое рядно превращается в тончайший царственный виссон.

*Солечный день
и ветер...*

*Простыни на ветру –
маленькие паруса
повседневности.*

В новой, пятой по счёту книге «Просто жизнь» Сергей Пагын впервые собрал под одной обложкой нигде прежде не публиковавшиеся верлибры. Хотя самому автору больше по душе определения «русский свободный стих» или «свободные стихи». Именно такой формат он избрал для описания и осмысления «просто жизни» в её повседневном, неспешном течении.

Но пусть нас не обманывает подчеркнуто прозаическое название и аскетичный вид книжки. Авторская печать лежит на каждом слове этих коротких ёмких стихов, пусть и лишённых важнейшей своей составляющей – рифмы.

ПОДСНЕЖНИК

*Как слаб он в руке
и чист –
как детская песнь
о смерти.*

В нескольких словах сконцентрирована вся прелесть жизни – и в то же время её недолговечность, обречённость. Это одна из главных тем поэзии сегодняшнего Пагына: противостояние жизни, полной мысли и страдания, – и небытия с его безопасным вечным покоем.

*Я так устал от войны
между мужчинами и мужчинами,
между женщинами и женщинами,
между женщиной и мужчиной.*

*И теперь
я мечтаю стать просто деревом,
растущим на зелёном холме.*

*К дереву снов моих
слетаются страхи,
как большие зрачи,
и вьют на его ветвях
тяжёлые тёмные гнезда.*

Поэт, провозглашая: «Только жизнь! / И нет ничего кроме жизни», – словно бы заклиняет неведомые силы, наличие которых он постоянно ощущает как угрозу существованию всего, что ему дорого. Стоя ногами на земле, он парит головой в облаках. От почвы – сила и вера в неизменное возрождение. От ума, как повелось в русской литературе, одно только горе – страхи и смутные предчувствия, тревога за хрупкую жизнь детей и внезапно накатывающая бытийная тоска.

*Когда-то я был велик,
как закатное облако,
висящее над холмом.
Теперь – не большие
кукурузного зёрнышка.*

*Остается поверить,
что всё же я бесконечен.*

*Помоги мне вцапанаться
в эту мёрзлую землю,
сулкую, словно купол пустого храма,
вжиться в этот всё уносящий ветер,
заговорить, как боль, снегопад,
в котором умирают время и память.*

*Помоги мне
остаться.*

В этом раздразе спасает свежесть и непосредственность взгляда, которой Сергей Пагын, глава семейства, учится у детей.

Мальчишка с воздушным змеем.

Восторг.

Азарт рыбакова.

Как будто подскёк и тянешь

не карма –

целое небо.

*И всё-таки,
как сочно бытие!*

И дальний гром звучит,

как яблоко

в момент надкуса.

Любопытно, что в «ближний круг» включены едва ли не все обитатели Единоц. Среди персонажей «Просто жизни» – соседи, знакомые. Чудак, ожидающий явления инопланетян. Юра по прозвищу Барометр, предсказывающий погоду и даже влияющий на неё. Крёстный, который чистил в селе колодцы...

*Когда человек умирает,
остается неоконченная работа.*

*Трубы и вентили –
собирались чинить
водопровод.*

*Пустые пчелиные рамки –
так и не успел установить вощину.*

Разобранный радиоприёмник.

*Когда человек умирает,
остается неоконченная работа.*

И это больше всего.

Лирический герой Пагына как бы пытается вынуть из потока времени людей, вещи и явления, которые ему дороги и близки, и тем самым сохранить их.

*Зов огромный, как мир!
Несутся по улице облака.*

*И обнимает землю
свет,*

*сошедший
с иконы бабушки.*

Отец-пасечник занимает в этом пространстве центральное и во многом символическое место. А его занятие рождает целую ветвь поэтических образов. Вот он склоняется «над белым ульем». «С *нагруженных за день рук отца / медленно стекает усталость*». «С *деловитым жужжанием / снуют от цветка к цветку, / словно крошечные челноки, / ткущие / воздух мая*». «Я *знаю, они бессмертны – / пчелы моего отца*». «Пчелы *твои слабеют, / и памяти мёд безкусен*».

Образный мир свободных стихов Сергея Пагына весь построен на одухотворённой поэтом повседневности.

...И земля, как овчина,
внесённая в сумерки в хату,
так свежа,
так пахуча!
...И приходит зима,

*чтобы щепотью инея с огородной ботвы
подсолить моё бытие.
...И только свет
порой тяжёл, словно жёрнов,
когда не умеешь
радоваться.*

Как тут не вспомнить: во времена оно наш рано упешдший поэт и критик Валентин Ткачёв пенял молодому Сергею Пагыну на оторванность его стихов от реальности. Жаль, что не наблюдал его в дальнейшем развитии. И не видел книжки «Просто жизнь» с её примечательной формулировкой:

*Будущее становится
настоящим,
обретая образ
и вещество.*

ЕФИМ ГОФМАН

МОМЕНТАЛЬНЫЙ СНИМОК

О поэзии Евгения Чигрина

«Сновидение по Занусси»... Этими словами открывает Евгений Чигрин первое стихотворение своей подборки. И сразу возникает вопрос: а почему именно «по Занусси»? Мы ведь можем вспомнить и немалое число других крупных мастеров мирового кинематографа, в фильмах которых занимают важное место сны. Взять хотя бы того же Тарковского, того же Феллини... Учтём, однако, что в случае с известным польским режиссёром возникает неожиданная ситуация. Вслушаемся в само по себе звучание фамилии: Занусси. Буквы «с» и «н», присутствующие ней, явно побуждают к ассоциациям со словами «сон», «сновидение». И, доверяясь этим случайным, казалось бы, фонетическим переключкам, мы постепенно ощущаем, что, избирая именно такой способ погружения в мир таинственных, бессознательных грёз, поэт попадает в десятку.

Заметим, что к подобному ассоциативно-звуковому методу прибегает Чигрин и в ещё одном ярком стихотворении подборки – «Рядом с рекою». Почему в данном случае для поэта оказался столь важен именно Синьяк – значительно менее известный, чем другие французские художники-постимпрессионисты: Гоген или Сезанн, к примеру? Причина, опять же, проста. Дело здесь, не в последнюю очередь, во всё той же фамилии художника. И, соответственно, ничуть не удивляет

тот факт, что в определённый момент стихотворения автор акцентирует наше читательское внимание именно на *синем* цвете...

И не важно, что в польском языке (родном для Занусси) и французском языке (родном для Синьяка) подобных ассоциаций возникнуть по определению не может. Евгений Чигрин имеет все основания пользоваться теми возможностями, которые предоставляет его собственный родной язык – русский. И – делает это воистину мастерски.

Сам Чигрин, впрочем, в заключительном стихотворении подборки (обыгрывающем хрестоматийные строки Баратынского: «Мой дар убог и голос мой негромок») характеризует особенности своей стилистики безо всякой напыщенности, даже несколько застенчиво: «*Смотрю в окно, равно гляжу кино, там белый мост, там огненные джинны / Рекламы, охмурительный яхт-клуб, Москва-река и шифрится, и длится, / Текучий мир в любом раскладе люб*»... И здесь – остановимся на миг. Указание на текучесть (вызывающее в памяти знаменитую струю золотистого мёда, воспетую Мандельштамом) – ценная проговорка(!), выявляющая важные особенности поэтики Евгения Чигрина. Текуч и певуч сам по себе образный и фонетический строй его стихов.

Единый поток звуковой волны вбирает здесь в себя массу самых разных компонентов. Это и

«воловий свет» – или, иначе говоря, подобный протяжному мычанию вола тембр старинной виолы да гамба, на которой исполняется музыка Феррабоско (ау, всё то же начальное стихотворение подборки!). Это и шум северного ветра, уподобляемого дудочке из бамбука, на которой играет *щекастый гномик* (ау, стихотворение «Северные ворота»). Но не менее причудливый, волшебный мир Чигрин способен выявить даже внутри иного простейшего словосочетания – такого, к примеру, как: «ветки душистой айвы». Обрамление из двух мягких «в» (в первом и третьем слове). А посередине – эпитет, обозначающий аромат, благоухание. Что может быть роскошнее?..

Точно так же отчётливо проступает в стихах Чигрина и живописное начало. Море, предстающее здесь то фиолетовым, то подобным «свинцовому кашалоту»; яхта, белеющая, «как спелая невеста»; «фонарик в сплошной бирюзе»; «мокрая заря», проступающая на небе столь отчётливо, как будто «лепится на скотч руками Бога»... Или – фантазмагорические видения вроде деревьев, которые *«переходят вброд поляну / В пудовых старомодных сапогах, / Как буйволы горячую саванну»*... Или – вроде Красного дракона, возникающего в помутнённом сознании курильщицы опия... Или – вроде призраков, фантомов, химер, перекочевавших в стихи из «снов Иеронима» (то есть – с картин Босха)...

Иначе говоря, перед нами – целое пиришество звуков и красок. И, соответственно, вполне уместным воспринимается название рассматриваемой подборки – «Барочный морфий». О барочной пышности напоминает в данном случае не только великолепие образно-метафорического ряда, но и богатство авторского словаря. Взять хотя бы *цирон* – минерал и драгоценный камень, которому уподоблена в одном из стихотворений багровая луна. Или – имена античных божеств, символизирующих... Да, впрочем, в том, символами чего они являются, можно спокойно разобраться и позже, когда мы стихи неспешно перечитываем. В любом случае, сама по себе звуковая, образная ткань поэзии Чигрина представляется вполне убедительной, и, соответственно, мы имеем полное право не испытывать сомнений в обоснованности мифологических, эстетических, обще-интеллектуальных отсылок, к которым нередко склонен этот автор.

Да, иной ход, применяемый Чигриным, может носить спорный характер – взять, к примеру, строки из того же, упоминавшегося выше, начального стихотворения подборки: «Ангел взмыл в облака виолу». Всё же, будем откровенны, синонимом

глагола «взмыть» обычно воспринимается слово вроде «воспарить», а не «вознести» (кого-либо, что-либо). Тем не менее, подобные безудержные броски в звуковую стремнину у Чигрина носят характер исключений. Образный и словесный ряд своих стихов этот автор, как правило, держит под тщательным контролем.

Возвышенного строя поэзии Чигрина ничуть не нарушают вкрапления иных ультрасовременных терминов вроде «саундтрек», или иных сленговых словечек вроде «стебётся». Не нарушает его и склонность поэта осторожно вплетать в общий ряд рифм, тяготеющих к точности, созвучия намеренно-неточные. Взять хотя бы «катера» – «прожгла», «объятье» – «променаде», расположенные в стихотворении «Балканское» абсолютно симметрично: во второй строфе, отсчитываемой от начала, и – во второй строфе, отсчитываемой от конца. Непринуждённый характер подобных авторских приёмов побуждает вспомнить иные фрагменты современных оркестровых партитур, где во вполне мелодичные построения незаметно внедряются диссонансы. Или – иные холсты современных художников, на которых во вполне фигуративную композицию (скажем, пейзаж или натюрморт) органично вплавлены элементы кубизма или супрематизма.

Не меньшую непринуждённость проявляет Чигрин и в приёмах подачи эротических образов. Рисуя картину-сон о воображаемых чувственных наслаждениях с «китайкой в индийской блузе», поэт не стесняется упомянуть даже такую откровенную деталь, как *точка «G»* (место которой, казалось бы, не в стихах, а... в инструкциях по технике секса!). В этом, впрочем, тоже нет ничего удивительного, поскольку грудью Дианы или ножкой Терпсихоры современного читателя уже не прошибёшь. Иное всё же у нас – не пушкинское, не онегинское – тысячелетие на дворе...

Учтём, однако, что подобное отображение плотских утёх ничего общего не имеет у Чигрина с каким-либо поверхностным жизнелюбием. Более того, острота ощущения радостей, которые нам дарует бытие, обусловлено у поэта непрестанной памятью об их хрупком, переходящем характере: *«Привидения в белых масках – / Вынут ножнички и – прощай!»*. И в бесхитростных с виду словах о том, что «на белом свете зарастает зимою всё» сквозит ощущение конечности не только человеческой жизни, но и – мироздания, вселенной как таковой.

Тревожные знаки всеобщего оледенения (в многообразном, предельно широком смысле этого слова) проступают и в других стихах Чигрина. Взять, к примеру, стихотворение о бос-



нийском городе Требине, где «в зелени каждый карниз». В этом непритязательном воссоздании образа маленького европейского городка явно ощущается привкус горечи. Всё стихотворение пронизано мотивом ожидания встречи. С кем (с возлюбленной, или – с другом, или – просто с каким-то знакомым)?.. Это в стихах сознательно не уточняется. Но неизвестно даже – где такая встреча может случиться. «В платановом летнем кафе?»... Или – «только в метафоре Бога»?.. Надежда здесь явно переплетается с сомнениями, чему свидетельство – печальное авторское признание: *«Я сам почтальон одиночества, в город смотрящий, равно в естество, / Из дальней страны, чья отметина – холод, где муза приходит в пальто».*

Но не менее явственно, чем подобная боль, проступает в поэзии Чигрина тяга к постижению глубинных первооснов бытия. Здесь нам и имеет смысл вернуться к тому стихотворению подборки, где упоминается живопись Поля Синьяка. Пуантилистическая техника картин этого художника способна создавать ощущение, как будто сквозь множество маленьких точек, из которых состоит пейзаж, просвечивает иное, нематериальное на-

чало. Вот и в стихотворении Чигрина поражает то, как молниеносно осуществляет автор переход от пейзажа реального к пейзажу метафизическому. Здесь-то и «плещется синий» (или, иначе говоря, цвет неба)... Здесь-то и восходит «солнышко-Ра» (то есть, древнеегипетское, языческое представление о вечности)... Здесь-то и появляется возможность уподобить белоснежное облако сохнувшей рубашке Сущего (то есть – Всевышнего)... И три этих ёмких символа оказываются способными уместиться в одной-единственной стихотворной строчке.

А уже отталкиваясь от этого *моментального снимка* поэт пускается в странствие, доходя до запредельных, заоблачных высей, вновь и вновь оборачивающихся впечатляющими мистическими картинами (*«Там Бог семимильный листает словарь: висят на верёвочке души / И рыцарь поёт про Священный Грааль, по небу идя, как по суше»*). Или, иначе говоря, видениями, представляющими собой неустанную попытку взглянуться в *незримое*.

Текст впервые опубликован в журнале «Плавучий мост» №4(16)' 2017

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Підписано до друку 21.02.2018 р.
Формат 60х70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 21,56.
Зам. 1436. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17